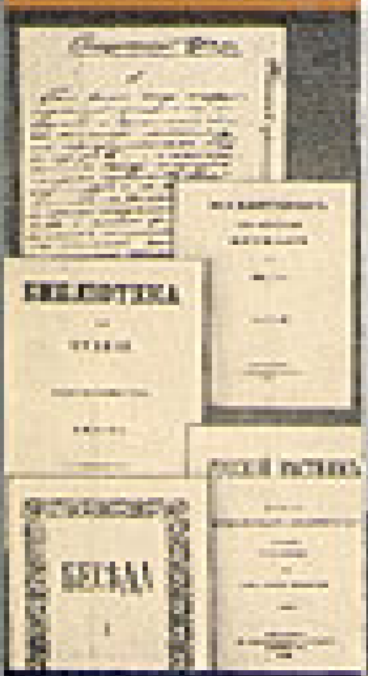
ПИСЕМСКИЙ



Сергей Плеханов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Жизнь и творчество Писемского, автора таких этапных произведений русской литературы, как романы «Тысяча душ», «Люди сороковых годов» и др., тесная дружба со многими корифеями отечественной литературы и выдающимися представителями русской сцены, его общественная деятельность – все это дало возможность воссоздать судьбу писателя-демократа на широком фоне важнейших литературных, общественных и политических событий середины XIX века.

- Писемский
  - Гнездо
  - Чернильные страсти
  - Действительный студент
  - Государственные имущества
  - В поисках героя
  - Литературная экспедиция
  - Время разбрасывать камни
  - Взбаламученное море
  - Ваал
  - Основные даты жизни и творчества А.Ф.Писемского
  - Краткая библиография
    - I. Произведения А.Ф.Писемского
    - II. Литература об А.Ф.Писемском
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24

Писемский

Светлой памяти моей матери

Гнездо

Теперь здесь никаких следов человеческого жилья. Густое мелколесье да непролазная крапива затянули земли, когда-то дававшие пропитание небольшому сельцу, стоявшему у южного края дремучих дебрей – тех, что тянутся на сотни верст в вологодские пределы. Могучие эти леса, непроезжие по сей день, зовут в костромских деревнях раменьем. Так же именуют и подлесные поселья. Видно, и поместье, очертания которого давно потерялись в зарослях черной сорной растительности, нарекли когда-то, не мудрствуя, Раменьем.

Принадлежало сельцо крепкому дворянскому семейству Шиповых. Род был старый, северный, с большой ветвистой родней, давно рассевшейся по костромским поместьям. Раменье считали владением не то чтобы богатым, но, как говорили встарь, изрядным. Потому и предпочел его сорокапятилетний отставной подполковник Феофилакт Гаврилович Писемский своему родовому гнезду, лежавшему отсюда в сотне верст, под Буем. Взял он имение за Евдокией Шиповой, тридцатисемилетней девицей.

Союз этих двух немолодых сердец был бы, вероятно, счастливым, если б не умирали один за другим дети Феофилакта Гавриловича и Евдокии Алексеевны – из десятерых остался один хилый Алексей. Все прочие, родившиеся крепышами, рано оставляли этот мир, что, без сомнения, сообщало жизни дома Писемских привычно скорбный настрой. Если прибавить к этому, что в семействе постоянно обретались две ветхие барышни – незамужние сестры Евдокии Алексеевны, если принять во внимание вспыльчивый нрав экс-майора, то атмосфера в Раменье представится не только печальной, но и нервозно-сдавленной, далекой от ходячих представлений об идиллическом житье-бытье, царившем в дальних помещичьих гнездах...

Говорил Феофилакт Гаврилович отрывисто, часто срываясь на крик. В минуты гнева (а накатывало на него частенько) как бы терял дар речи и, впившись в домочадцев большими, навыкате глазами, нетерпеливо топал ногами, рвал на себе ворот. Дворня боялась барина – старый служака так умел распечь, что наказанный долго потом мышиным манером шмыгал по усадьбе, дабы не попасться навстречу громовержцу. И все-таки меж собой побранивали – голый-де пришел на приданое. Ведомо было, что Буевского уезда сельцо Данилово – вотчина Писемских – и имени доброго не стоит. Другое дело барчук – тот законный владетель и земли, и душ, ее населяющих. Плохо только: добр к мужику через меру. Это уж, конечно, матушкино влияние – мечтательница,

сердцем кроткая.

Батюшка Феофилакт Гаврилыч о таком отношении догадывался – и тем пуще клокотал. Не станешь же мужикам дворянские грамоты под нос совать, где сказано, что Писемские род свой не издалека ведут – коренные жители Костромского Заволжья, и самое их прозвище – от речки Письмы, по берегам которой стояли еще в удельную пору их родовые вотчины – села Костома и Головкинское. Не будешь рассказывать и про то, как галичский дворянин Федор Писемский к самому Грозному за свою многодаровитость приближен был, что он для царя английскую принцессу в Лондоне сватал! Единственным, кто оценить мог древность и почтенную многовековую приверженность Писемских к костромским пределам, оказался местный священник. Познав, что Феофилакт Гаврилович в своей родне числит и святого Макария Писемского («его же память празднуем десятого января» – возглашал он, заглянув в святцы), настоятель храма из недальнего села Сенное поспешил нанести визит новому соседу. Уговорились даже совершить во благовремении паломничество к мощам преподобного Макария, с четырнадцатого века почивающего под спудом в его же имени монастыре на Унже. Но раменской дворне дела не было ни до полиглота-дипломата, прославившего столбовой костромской род, ни до черноризца-подвижника, за пятьсот лет до того спасавшегося в диком урочище на речке Письме. Одно запомнили накрепко из рассказов привезенного в Раменье старого даниловского дворового: отец нынешнего раменского барина сам был неграмотен, ходил в лаптях за плугом, носил домотканые порты и только дворянской спесью да вольной статью отличался от своих сермяжных единоверцев.

Если б не участие богатого родственника – малороссийского помещика, взявшегося устроить судьбу Феофилакта, – исчахнуть бы древу Писемских, пропасть выстоявшейся за полтысячи лет породе. Правда, помощь родича состояла лишь в том, что ребенка отдали в учение дьячку, заплатив за науку пять четвериков овса, а после того, как за несколько месяцев в голову юного Писемского было навечно вдолблено «аз, ангел, ангельский, архангел, архангельский, буки, бог, божество, веди, величество...», пятнадцатилетнего отрока сдали в солдаты и он почти сразу же попал в действующую армию, громившую турок на Перекопе, а затем в степях Крыма. Потом потянулась служба на Кавказе – персидская кампания, должность военного коменданта в Кубе[1]. Жилось на армейское жалованье скудно, и, вспоминая свою военную молодость, Писемский говорил: «С поручичьего чина только говядинку стал каждый день есть, а чаек пить с

капитанов». Выслужив майорство, Феофилакт Гаврилович после четвертьвекового отсутствия посетил свое захудалое Данилово. Ничего почти не было у этого прокаленного солнцем, обветренного вояки – только жалованье да несколько мужиков, давно позабывших барина. Женихом он считался, конечно, незавидным. Так что претендовать на хорошую партию ему не приходилось. Оттого и сладился этот поздний – на последнем для невесты возрасте – брак. Зато будущее предполагаемых детей ветерана было обеспечено – усадьба и около сотни душ примиряли его с мыслью о такой, в сущности, прозаической женитьбе.

Евдокия Шипова, проведшая свое долгов девичество за чтением романов, была во многом полной противоположностью своему суровому избраннику. Впоследствии сын напишет о ней: «нервная, мечтательная, тонко-умная и, при всей недостаточности воспитания, прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собой она, за исключением весьма умных глаз, была нехороша».

Но заключенный по расчету брак оказался крепок, и чувство сердечной привязанности, которого, как можно предположить, поначалу не было, со временем возникло и развилось до степени обожания. На склоне лет Феофилакт Гаврилович заговорил однажды с сыном:

– Скажи ты мне, Алексей, отчего это мать твоя чем дальше живет, тем красивее становится?

– Оттого, папенька, что у маменьки много душевной красоты, которая с годами все больше и больше выступает.

– Так! – согласился отец. – А я так вот, кажется, все такой же остаюсь, каким был.

– Нет, и вы, папенька, делаетесь лучше: вы нынче делаетесь добрее и не так гневливы.

– Гораздо, братец, меньше сержусь! – со слезами на глазах воскликнул старик. – Я столько нагрешил с этой моей гневливостью, что и не отмолить мне грехов моих...

Ежеутренне с восьми до десяти и в те же часы по вечерам становился суровый воин навытяжку перед образами в зале, шепча велелепные слова тропарей и акафистов. Когда Алексей выглядывал из-за портьеры, он видел, как по иссеченному морщинами лицу струятся слезы.

Мальчик поднимался по лестнице в мезонин, где стояла его кроватка, а на плохо выструганном некрашеном полу валялись нехитрые игрушки – вырезанные из липы мужик с медведем, оловянные солдатики, палочка с привязанными к ней бечевками, в которой пылкое воображение Алексея прозревало гнедого

скакуна.

Мезонин и игрушки, стояния отца перед иконами – это уже в Ветлуге, крохотном уездном городишке, куда Феофилакт Гаврилович определен был городничим. Существовало в недрах военного министерства такое учреждение – Александровский комитет о раненых, который пекся об устройстве ветеранов, отслуживших свое престолу и Отечеству. Писемский состоял на той же самой должности и в такой же точно глуши, как и выведенный на страницах «Ревизора» Антон Антонович Сквозник-Дмухановский. И даже время почти совпадает – двадцатые годы. Но на этом сходство кончается. Ибо нет у нас оснований сомневаться в искренности сына Феофилакта Гавриловича, писавшего спустя много лет: «Отец мой в полном смысле был военный служака того времени, строгий исполнитель долга, умеренный в своих привычках до пуризма, человек неподкупной честности в смысле денежном и вместе с тем сурово-строгий к подчиненным».

Огромные светлые дни, медленно вспухающие, громоздящиеся в вышине белые облака, широкая Ветлуга, открывающаяся с берегового откоса, – вот впечатления детства. Большие красные руки няньки, отгонявшей барича от реки. Те же руки, нещадно тискающие Алексея, сидящего в большой кадке, трущие его костлявую спину суровой мочалкой. Еще игры – в охотника-медвежатника (и потому ночные сидения на сундуке, в коем виделся скрытый ветвями лабаз), в пахаря (царапание сучком разрыхленной бабою-кухаркою маленькой грядки, понукания невидимой лошаденки, утирание подолом рубахи несуществующей испарины со лба)...

А потом наступила для Алексея пора учения. Первым наставником его был ветлужский купец Чиркин, человек, по уездным понятиям, весьма образованный – он окончил Коммерческое училище. Когда обучение грамоте и письму завершилось, в доме Писемских стал появляться унылый семинарист Преображенский; его мальчику надлежало именовать Виктором Егорычем. В памяти Алексея остался он только благодаря той нестерпимой скуке, которая сопровождала занятия по-латыни.

Злосчастная латынь не оставила юного Писемского и тогда, когда по выходе в отставку Феофилакт Гаврилович решил перебраться в Раменье. Немедленно к воспитанию наследника был приставлен старик учитель Бекенев, всю жизнь кочевавший из одной усадьбы в другую и обучивший не одно поколение губернских недорослей. Впрочем, Николай Иванович оказался не столько учителем, сколько воспитателем, ибо главным на его

уроках были не латынь или арифметика, в коих он, между прочим, взялся наставить младшего Писемского, но разные забавные штуки, которые он весьма проворно клеил из бумаги – табакерки, подзорные трубы, микроскопы. А раз, принеся с собой несколько осколков стекла, расцвеченных чернилами и акварельными красками, старик на глазах у Алексея соорудил картонный калейдоскоп. Все эти поделки именовались «умно веселящими игрушками», и действительно – уроки проходили весело. Если добавить к этому, что Бекенев по-детски самозабвенно любил рисовать, то ясно, что ему не стоило никакого труда навсегда завоевать привязанность дворянского отрока.

Отец, сам получивший нехитрое образование, не очень наседал на сына и его наставника, хотя и морщился, слыша взрывы хохота, доносившиеся из детской. Старый служака искренне считал, что если уж ему удалось добраться до подполковничьего чина, то Алексею, бойко декламировавшему патриотические оды полузабытого поэта Николева, любое служебное поприще нипочем. К тому же впереди была гимназия – там, полагал Феофилакт Гаврилович, его чадо и на путь наставят, ежели недостанет ему домашней науки.

Иностранцев к своему детищу старик Писемский и в мыслях не допускал. Все эти шатающиеся по помещичьим гнездам французы, немцы в кургузых сюртуках да новомодные англичане вызывали в нем антипатию. Не нравилось ветерану, как понуждали в соседских усадьбах юных баричей обезьянствовать на французский лад, манерно осклабливаться да припадать к ручке. Нет, не по душе ему были заезжие вертихвосты. Если выбирать наставника, то лучше уж запивающий дьякон из ближнего села, чем вчерашний парикмахер из Нанта или Марселя. Хватит уже того, что Алексей французских книжонок наглотался – вон их у него сколько: «Жильблаз», «Фоблаз», «Хромой бес». Ничему хорошему они не научат. Другое дело Вальтера Скотта романы – подполковник и сам увлекся, взяв как-то один из них. Неплохое сочинение «Евгений Онегин» – язык легкий, повествование занимательное, даром что стихи. Конечно, во времена его молодости лучше писали. Вот это – про «громку лиру» – он и Алексея заставил затвердить. В хорошую минуту звал сына в залу и приказывал: «Ну-ка, братец, прочитай нам с отцом протоиереем те стихи, которым я тебя выучил». Мальчик становился во фрунт – как нравилось родителю – и звонко начинал:

Строй, кто хочет, громку лиру,

Чтоб казаться в высоке;
Я налажу песню миру
По-солдатски, на гудке.
Встарь бывали легки греки,
Нынче легок русачок...

Феофилакт Гаврилович не утерпливал и, прервав сына, зычно продолжал.

Ода настраивала его, впрочем, не на воинственный лад, а вызывала воспоминания о полковой жизни, о той поре, когда он служил комендантом в Кубе, пыльном городишке в предгорьях Восточного Кавказа. Был он в те поры таким охотником до хорового пения, что одних песенников держал в гарнизоне около четырех десятков. Один из них, бывший когда-то у него в денщиках, жил теперь в Раменье. Явившись на зов барина, возжелавшего послушать свою любимую, он лаконично отвечал: «Слушаю, ваше благородие» и тут же заливался: «Молодка, молодка молодая...»

Феофилакт Гаврилыч, негромко подпевая, в такт пристукивал по паркету тростью, а едва песня заканчивалась, кричал:

– Валяй развеселую!

Когда раздавалось заветное:

Плавает по морю флот кораблей,
Словно стадо лебедей, лебедей,

все присутствующие, исключая отца протоиерея, пускались в пляс – приседая, далеко выкидывая ноги. А старый солдат тем временем рубил:

Ой жги, жги, жги, говори!..
Словно стадо лебедей, лебедей.

Подполковник отбрасывал трость в угол и, гулко топоча, хрипло выкрикивал: «Эх ты, жизнь-копейка! Голова наживное дело!..»

Обстановка малодостаточного дворянского дома: постоянные молебны по любому случаю – о падеже ли скотском, о бездождии, во облегчение родов супруги, споры отца с мужиками, мнущимися в передней в своих огромных перепачканных лаптях, рассказы кухарки (полушепотом, часто крестясь, о проказах нечистого), толки дворовых ребятишек о кладах, о встающих из

могил упырях, о колдунах, орудующих по лесным деревням, – может быть, именно все это и повинно в том, что Алексей навсегда остался каким-то неисправимо уездным русаком, с недоверием глядевшим на то вертляво-европейское, с чем пришлось ему столкнуться в столицах. Он не скрывал своего отрицательного отношения к Петербургу, к стремлению иных своих знакомых во всем следовать иноземным модам и учениям. Немало язвительных, а иногда и несправедливых замечаний Писемского о Западе, о заезжих иностранцах запомнили его современники. Близкий друг писателя Павел Анненков писал в своих мемуарах, обобщая свои впечатления от встреч с ним: «Многое должно быть отнесено и на обычное преувеличение дружеских разговоров, но все-таки присутствие истинного чувства тут несомненно. Кто же не узнает в таких и им подобных словах Писемского дальние отголоски старой русской культуры, напоминающие строй мыслей прежнего боярства и думства людей московского царства? Вообще, порывшись немного в наиболее резких мнениях и идеях Писемского, которые мы обзывали сплошь парадоксами, – всегда отыскивались зерна и крохи какой-то давней, полуисчезнувшей культуры, сбереженной еще кое-где в отрывках простым нашим народом. Самый юмор его, насмешливый тон речи, способность отыскивать быстро яркий эпитет для обозначения существенной, нравственной черты в характере человека, которая за ним и останется навсегда, и наконец, слово, часто окрашенное циническим оттенком, сближало его с деревней и умственными привычками народа, в ней живущего. От них несло особенным ароматическим запахом развороченной лесной чащи, поднятого на соху чернозема, всем тем, что французы называют „parfum de terroir“ (запахом земли, почвы). При виде Писемского в обществе и в семье, при разговорах с ним и даже при чтении его произведений, я думаю, невольно возникала мысль у каждого, что перед ним стоит исторический великорусский мужик, прошедший через университет, усвоивший себе общечеловеческую цивилизацию и сохранивший многое, что отличало его до этого посвящения в европейскую науку».

«Исторический великорусский мужик» – и это определение относится к представителю пятисотлетнего рода, в котором были и воины, и дипломаты, и церковнослужители, но пахарь только один – дед Писемского! Да и тот не родился им, за плуг вынудила взяться нужда. Но Алексей не застал на свете своего обнищавшего предка, так что в отчем доме ему как будто не от кого было набраться parfum de terroir. Неповинны в этом и благостный забавник – старичок Бекенев, и служака-отец, всю жизнь с

обожанием взиравший на портрет князя Цицианова в золоченой раме, адъютантом которого он когда-то сподобился быть. Не того калибра личности, чтобы сформировать духовный облик большого художника, каким со временем сделался Алексей. Поискать надо на его юношеском горизонте людей покрупнее...

В начале тридцатых годов, когда Писемские перебрались на житье в Раменье, близким соседом их оказался отставной гвардейский полковник Павел Александрович Катенин, к тому времени уже восемь лет просидевший в костромской глуши. Гусар, поэт, «почетный гражданин кулис», по слову Пушкина, один из самых заметных представителей военной молодежи Петербурга, он затворился в родовом имении не по своей воле. После одной вполне невинной выходки в театре («шикал» актрисе Семеновой) последовал приказ о немедленной высылке Катенина и запрещении ему въезда в обе столицы. Будучи большим богачом и вольнодумцем, Павел Александрович вел ту жизнь, которая резко выделяла его среди местных дворян, поглощенных хозяйственными заботами, ничего почти не читавших и не знавших, а из развлечений предпочитавших карты. Нелегко, наверное, было ему найти общий язык с людьми, кои не то что в Петербург, в Кострому-то нечасто выезжали. Он, друг Пушкина, Грибоедова – и вот изволь годами общаться с какими-то уездными книгочеями-почтмейстерами да манерными барынями, страстно желавшими прослыть светскими особами. К своему скуповатому и набожному соседу Писемскому он почти не заглядывал. Это позднее, послужив несколько лет на Кавказе и уже насовсем выйдя в отставку генерал-майором, он стал видеться со старым подполковником чаще – теперь их объединяли кавказские воспоминания. Правда, Феофилакт Гаврилыч опасался дурного влияния, которое мог оказать на сына вольтерьянец, и не часто заглядывал с ним к Катенину. Но иной раз, возвращаясь с Алексеем из Чухломы, заворачивал и в Колотилово, благо усадьба Павла Александровича лежала по дороге, не доезжая трех верст до Раменья. А то и сам Катенин, завидев из окон дома, что чья-то линейка пылит в отдалении, посылал своих молодцов верхами заарестовать путников и тот же час доставить к нему, дабы принять участие в очередном пире, затеянном по самому ничтожному поводу, или просто поболтать, развеять скуку.

Когда Феофилакт Гаврилович и Алексей в сопровождении конных лакеев, одетых в черкески, поднимались вверх на гору к небольшому белому дому с колоннами и куполообразной крышей, Катенин уже ждал гостей на ступеньках. Узнав подполковника и его отпрыска, Павел Александрович

распоряжался приготовить трубки, и когда неказистый экипаж останавливался возле цветника, разбитого перед входом, радушно пожимал руку соседу. Потрепав по плечу Алексея, вводил гостей в залу с изогнутой овалом внешней стеной, сплошь занятой высокими окнами. Усадив Писемских и предложив Феофилакту Гавриловичу курить, он сам затягивался из трубки с длиннейшим черешневым чубуком и янтарным мундштуком, затем подходил к столу с графинчиками и закусками и отпивал глоток водки из рюмки. После этого начинались долгие беседы обо всем на свете – генерал был настоящим кладезем всяческих сведений из истории, литературы и философии. Разумеется, больше всего говорил сам Катенин: намолчавшись за несколько дней, он рад бывал излиться нечаянно подвернувшимся слушателям.

Прохаживаясь по залу в своей светло-коричневой черкеске с серебряным позументом и газырями, набитыми настоящими патронами, Павел Александрович рассуждал о ничтожестве современной российской словесности. Только Пушкин, по его мнению, чего-то стоил, а явившиеся невесть откуда толпы комедиографов и водевилистов просто возмущали его – что хорошего находили все в этом зубоскальстве?!

Литература должна возвышать человека, повествовать о чувствах значительных, о могучих страстях, а не кривляться. Кто таков, скажите на милость, поэт? Балаганный шут или избранник божественного провидения? Впрочем, насчет божества и всей этой чертовщины у него особое мнение.

Он прерывался для того, чтобы отпить из рюмки, и снова принимался расхаживать перед напряженно молчащим подполковником и его сынишкой, который восторженно внимал каждому слову Павла Александровича. Правда, насчет «Ревизора» генерал хватил через край – что ни говори, а Гоголь талант первостатейный, вся Костромская гимназия им зачитывалась. Потом, приезжая в родные места уже студентом, Алексей отважится спорить с Катениным. Но желчный поэт еще больше станет упорствовать в своем убеждении, что вся новая литература с ее усмешками и уколами есть гиль и дрянь. Упало в силе и значении русское дворянство, вылезли из каких-то пыльных углов разные кутейники да канцеляристы – вот и словесность российская упала до Булгариных и «физиологических очерков». И никакие доводы уже не могли поколебать его в этом убеждении.

По окрестным усадьбам то и дело ползли слухи о шумных забавах Катенина. Передавали, например, что в престольный праздник генерал ворвался в одну из своих деревень, сопровождаемый денщиками в черкесках, куражился, переходя из избы в избу, а потом подхватил на седло красивую девку и умчал

в усадьбу Шаёво. Что из этих рассказов вполголоса соответствовало действительности, а что было плодом воспаленной фантазии уездных дам? Сам Алексей ничего подобного не видел. Раз только привелось ему наблюдать, как генерал отплясывал трепака на деревенской улице и при этом швырял в толпу ребятишек пригоршни серебра. А вот насчет юных отроковиц – это ему казалось сомнительным.

Пытался молодой Писемский и сочинения Павла Александровича прочесть. Да только быстро увязал в длиннейших стихотворных монологах Аполлона, Эрмия, Гения, Поэта.

Впрочем, когда Павел Александрович читал свои сочинения сам, Писемскому все казалось понятно, и каждая строка звучала внушительно, звон металла и тяжкая поступь самой судьбы отдавались в ней. Особенно мощное впечатление производили переводы Катенина из Корнеля. В свое время, живя в Петербурге, поэт даже взялся обучать декламации молодого актера Василия Каратыгина, и, уже став великим трагиком, тот всегда с благодарностью вспоминал эту школу. Блестящее мастерство чтеца собственных произведений, которое впоследствии единодушно будут отмечать все знакомые Писемского, несомненно, ведет свое начало от тех вечеров, что провел Алексей в усадьбе своего экстравагантного соседа.

Первое соприкосновение Писемского-младшего с миром театра – пока еще заочное – произошло именно в колотиловском доме. Да и своим приобщением к литературным интересам Алексей был обязан «староверу» Катенину. Хотя если бы юноша целиком доверился его вкусам, ему бы долго еще не пришлось взять в руки сочинения Гоголя и Диккенса. На его счастье, была в соседнем уезде еще одна приметная личность – Всеволод Никитич Бартенев, двоюродный брат матери Алексея. Евдокия Алексеевна нередко езживала вместе с сыном к старому холостяку, который месяцами безвылазно сидел в своем имении, погрузившись в чтение. Библиотека у него была огромная, и Всеволод Никитич никогда не отказывал племяннику взять с собой сколько угодно книг. Случалось, что Алексей оставался у него несколько дней, и на все это время образ жизни мальчика менялся – ни о прогулках на лошади, ни об играх с дворовыми ребятишками не могло быть и речи…

Пробудившись, Всеволод Никитич сразу принимался за чтение и только около полудня звонил лакею, который приходил умывать и брить его. Затем Бартенев появлялся в зале, где был сервирован завтрак, одетый в холстинковый халат, в сафьяновых сапожках и с вязаным колпаком на голове. Закусив, он вновь предавался любимому занятию и только к обеду отрывался от

книги, чтоб привести себя в порядок. Теперь он облачался в широкие брюки и сюртук, надевал надушенный парик и выходил к столу преображенным, таким, каким Алексей рисовал в своем воображении настоящего аристократа. За едой обменивались мнениями о прочитанном, причем Всеволод Никитич высказывался столь непринужденно и глубокомысленно, что племянник часто забывал о стынущем обеде и восторженно внимал речам дяди. А потом снова сидели на террасе, уткнувшись в книги.

Феофилакта Гавриловича, который также изредка появлялся у Бартенева, возмущал такой образ жизни – бывший моряк, и вот извольте видеть: намертво прирос к дивану! Хоть бы уж о здоровье своем подумал холостяк, если недосуг заниматься хозяйством. И что проку от этих сочинении?

Но и этот кремень размягчался и тянулся за платком, дабы утереть внезапные томительные слезы, когда Всеволод Никитич начинал перебирать струны своей блестящей темным лаком гитары, тихо напевая что-то сладко-грустное об ушедшей любви. Когда племянник его вырастет, он припомнит эту залитую лунным светом гостиную, фигуру в халате, полулежавшую на диване, мертвенно-голубые блики на гитарной деке и медленный, как бы задыхающийся голос. Но, будучи человеком несентиментальным, напишет, что вся жизнь дяди «имела какой-то поэтический и меланхолический оттенок: частое погружение в самого себя, чтение, музыка, размышление о разных ученых предметах и, наконец, благородные и возвышенные отношения к женщине – всегда составляли лучшую усладу его жизни. Только на обеспеченной всем и ничего не делающей русской дворянской почве мог вырасти такой прекрасный и в то же время столь малодействующий плод».

Иное дело – Юрий Никитич, младший брат Всеволода Никитича и к тому же его крестник. Также слывя человеком весьма образованным, он не чурался мира, всегда стремился быть на виду, постоянно воспламенялся какими-то идеями. Первые восемь лет его самостоятельной жизни, когда он служил в артиллерии, прошли достаточно бурно. Отечественная война, сходки гвардейской молодежи, опьяненной либеральным духом александровского времени, «заговоры между Лафитом и Клико»... Бартенев в центре коловращения вольнодумной публики, заседает в масонской ложе. Но потом пропадает со столичного горизонта – с 1819 по 1833 год он в Костроме, служит директором училищ. Однако тесные связи с петербургской мыслящей элитой не прерываются. Юрий Никитич то и дело объявляется на невских берегах, и каждый его приезд вызывает искреннюю радость его

друзей, среди которых были Жуковский, Вяземский, многие известные вельможи.

В бытность свою директором Костромской гимназии Бартенев-младший так же ярко сиял на губернском небосклоне, как прежде на столичном. Круг друзей Юрия Никитича складывался не по принципу чиновного или имущественного ценза, а по каким-то личным качествам. В его доме обретались и либеральный чиновник приказа общественного призрения Колюпанов, и запивающий губернский архитектор Фурсов, и старообрядец-миллионщик из Судиславля Папулин, приходивший в гости со своим стаканом (дабы не соприкоснуться с антихристовой скверной никониан-щепотников).

Выйдя в отставку, Юрий Никитич несколько лет живет в своем имении Золотово Галичского уезда, соседнего с Чухломским. А потом перебирается в первопрестольную и снова определяется на службу – чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе...

Алексей Писемский впервые увидел своего дядюшку в костромской деревне. Когда Феофилакт Гаврилович с сыном подъехали к бартеневской усадьбе, на крыльцо вышел только пожилой лакей, всем своим видом выражавший не свойственное дворовому человеку достоинство. Узнав гостей, он объявил, что барин изволят отдыхать в беседке, и вызвался проводить Писемских в дальний угол парка. Великолепные, на английский манер, газоны, раскидистые клены, черные от старости стволы лип, сливающиеся в сплошную стену на главной аллее, поразили Алексея странным сочетанием дикости, первобытности и необычайной ухоженности. Ни обломившихся веток, ни замшелых валежин, ни беспорядочного сплетения молодой поросли, привычных глазу в любой из соседских усадеб. А когда лакей привел их к огромной клумбе, обложенной затейливым глиняным бордюром, впечатление таинственности и дремучести золотовского парка переросло в ощущение какой то незримой угрозы – казалось, эта враждебность исходит от странных знаков, образованных высаженными цветами, от мраморного возвышения с гномоном солнечных часов, видневшегося в центре клумбы. Сотни шмелей и пчел наполняли воздух тревожным гудением. Появление дяди, о чьем существовании Алексей вовсе позабыл, созерцая багровые треугольники, пятиконечные звезды и рогатки, составленные куртинами роз, гвоздик и нарциссов, нарушило атмосферу загадочности. Из зарослей плюща, скрывавших беседку, бесшумно вышел небрежно одетый сухощавый господин с орлиным носом и пронзительно-хищными глазами. Встретившись с опасливо-вопросительным взглядом Алексея, он

расхохотался:

– Ага, жуть взяла от моих эмблем?

Потом, когда Алексей приедет в Золотово уже гимназистом, Бартенев объяснит, гуляя с племянником по парку, что мраморная тумба посреди цветника является копией масонского жертвенника, а странные символы выражают идеи тайного братства, стремящегося к совершенствованию человеческой природы. Впрочем, скажет Юрий Никитич, цепко оглядев отрока, многого ему не понять пока, надо подрасти.

Просматривая в дядином кабинете пухлый альбом с записанными там стихотворными опытами друзей, Писемский-младший с трепетом обнаружил на одном из листов посвящение: «В память любезному Юрию Никитичу Бартеневу», за которым следовал написанный рукой самого Пушкина сонет «Мадонна». Запомнились ему и строки из послания Анны Готовцевой:

В безвестной тишине забытая всем светом,
Я не хочу похвал, ни славы быть поэтом;
Но заслужить стремлюсь ваш благосклонный взор,
И помня ласковый и томный ваш укор,
Беспечность праздную и лиры сон глубокий
Я перервать хочу – фантазией жестокой.
Забытый гений мой в стесненьи исчезал;
Но ваш призывный глас ему жизнь нову дал.
И кто, внимая вам, в порыве упоений,
К добру, к изящному не чувствовал стремлений?

Алексей несколько раз видел эту молодую красивую даму, богатую помещицу Буйского уезда, когда она проезжала по главной улице Костромы в лакированном ландо. Помыслить себя рядом с ней и то было лестно, а тут – «заслужить стремлюсь ваш благосклонный взор...».

Жили в недальнем соседстве и другие родственники Писемских – во многих уездах губернии сидели в своих поместьях дворяне Шиповы – и бедные, и средней руки, и богатые. На весь Чухломский уезд славно было село Богородское, принадлежавшее Ивану Алексеевичу Шипову. На пиры, задававшиеся здесь, собиралось все окрестное барство, и никто не смел проманкировать приглашением на празднество, уж очень обидчива и памятлива на худое была супруга владельца имения – Александра Алексеевна. Она держала себя настоящей гранд-дамой; привыкнув к изящному обращению и тонкому образу мыслей в долгие периоды светской жизни в Петербурге, Шипова, за неимением всего этого в Богородском, старалась окружить себя

феодальной пышностью и всяческими увеселениями. В двадцатые-тридцатые годы еще доживали по большим усадьбам свой век шуты и шутихи из приживалов, какими скандально богато восемнадцатое столетие. Каждый барин поизряднее не мог представить себе полноценного существования без каждодневных развлечений с карлицами и дураками. Александра Алексеевна, отличаясь от окружающих чухломских идальго не только богатством, но и просвещенностью, разделяла тем не менее их увлечения, а может быть, для того следовала обычаям, чтобы приманивать в свой гостеприимный дом побольше соседей. Вот и уживалось в ней французского кроя вольномыслие с приверженностью к грубым дедовским забавам... Особенно знаменит был из всех богородских шутов слабоумный Андреяша Кадочкин, по происхождению мелкопоместный дворянин. Прославился он своим каменной крепости лбом. Главный подвиг его, повторяемый ежегодно в день именин Александры Алексеевны, когда в Богородское съезжался весь уезд, заключался в единоборстве с матерым козлом.

Обычно Феофилакт Гаврилович не брал с собой сына на «тезоименитства» генеральши, но раз Алексей все-таки упросил отца и сподобился лицезреть редкостную забаву...

Ристание происходило на поляне перед господским домом. Из вбитых в землю жердей устроили длинный вольер, на противоположных концах которого появились гладиатор и его бородатый противник, по обеим сторонам толпились зрители. Когда Шипова дала с балкона знак, поводырь спустил козла с веревки, и застоявшееся животное с пронзительным блеянием бросилось вперед по вольеру. Кадочкин помчался ему навстречу, и едва противники сошлись, Андреяша с размаху ударил козла в лоб своим многотрудным лбом, и соперник повалился замертво.

Раз, изрядно подвыпив, друзья Шипова велели Андреяше стоять во фрунт, обвязали ему голову веревкой, просунули под нее палку и стали крутить завертку что есть силы.

В этом опыте принимал, по слухам, участие еще один родич Шиповых – Матвей Юрьевич Лермонтов. По части шуток с приживалами и бедными дворянчиками, прибывшими на зов большого барина, Матвей Юрьевич был редкостно изобретателен. У себя в усадьбе Лермонтов и почище штуки выкидывал. Раз Феофилакт Гаврилыч вернулся от него до нитки мокрый. Чертыхаясь, рассказал, что после двухдневного пира Матвей Юрьевич вызвался проводить гостей до границы своих владений, проходившей по плотине большой мельницы. Там накрыт был богатый стол, и, как ни отнекивались дворяне, неумолимый хозяин усадил-таки их за трапезу. Захлопали пробки, «Клико»

полилось рекой, песельники выступили из кустов и затянули величание. И вдруг в разгар обеда на плотину хлынула валом вода из отворенных кем-то шлюзов верхнего пруда. И стол и гостей смело потоком, закрутило в водоворотах. Но утонуть никому не дали – нарочно расставленные по берегам дворовые Лермонтова кинулись на лодках за барахтающимися господами...

Семейство Лермонтовых также было весьма ветвистым, владело многими имениями в Костромской губернии. Родство с ними у Писемских было очень неблизкое, да и то через Шиповых – в той степени, которая дала поэту основание написать: «дворяне все родня друг другу». Но Феофилакт Гаврилович нечасто виделся со своими столбовыми собратьями, ибо предпочитал больше сидеть в деревне – всякий выезд в Чухлому денег стоил, а отставной подполковник им счет хорошо знал. Выберешься в уезд, рассуждал он в своей гостиной, как раз за ломберный стол усадят, в бостон, в марьяж, в банк, а хоть бы и в мужицкую горку играть заставят. А там глядишь, и шампанское подадут.

Кто-кто, а Писемский-младший знал, что Феофилакту Гавриловичу больше по душе другое – велеть заложить линейку, проехаться по полям, распечь мужиков, ежели заметятся где нестроения, а потом, продрогнув на ветру, выпить рюмку ратафии, убрать жареного чухломского карася фунтика этак на четыре. (Не зря на городском гербе значились две перекрещенные остроги – в озере, давшем название уезду, водились редкостные рыбины – до четверти пуда! А ерши – от одного духа, распространявшегося с кухни, когда варили уху, сердце заходилось.) Отобедав, вздремнув в голубой гостиной, можно было и душеполезным чем заняться. В пристрастиях своих, в слабостях Феофилакт Гаврилович был типичным представителем своего сословия...

Многие из соседей по уезду запомнились юному Писемскому на всю жизнь, кое-кто перекочевал впоследствии на страницы его романов. Но никто из этих людей не похож был на «великорусского мужика». Где же тогда мог набраться Алексей того земляного духа, который даже через много лет учуяли его петербургские знакомые? Тянулся к такой недюжинной личности с ухватками удельного князька, как Катенин, к такому утонченному знатоку тайных мистических доктрин, как Юрий Никитич, а вышел «исторический великорусский мужик»? Что-то не сходится...

Конечно, окружение юного Писемского состояло в основном не из аристократов, а из старосветских помещиков, но мужицкого в этой среде вовсе не было – роднила крестьянский и господский быт разве что простота, даже скудость обстановки, общность

суеверий и обрядов... Мелкопоместное дворянство той далекой эпохи, еще не набалованное комфортом и изысканной кухней, жило представлениями минувшего века, и суровый дух эпохи государственного строительства в значительной мере определял сознание служилого класса. В большинстве своем малодушные (так прозывались они от малого числа крепостных душ в имении) по нескольку десятков лет тянули военную лямку, жили бог знает в каких условиях – войн было много, чуть не каждый год, да и в мирное время стояли на квартирах по мелким захудалым городишкам. Это только родовитое да богатое меньшинство могло устроить своих отпрысков в гвардию, в столицы. А иной армейский майор вроде Феофилакта Писемского за всю службу ни разу не сподобится улицезреть град святого Петра. Когда же в годах уже выбирались в свои бедные гнезда, с той же солдатской неприхотливостью устраивали быт...

Гардероб Феофилакта Гавриловича и его домочадцев не отличался утонченностью. Мебель в усадьбе стояла грубая, жесткая, рессорных английских экипажей Алексей в детстве почти и не видывал, простые и обильные снеди в Раменье запивали домашнего дела щами и квасами. Сыры да всякие там фрикандо и фрикасе только на именинах какой-нибудь соседки-генеральши выпадало отведать. Из развлечений подполковник выше всего ставил охоту – как всякий мелкопоместный дворянин, он являлся и мелкотравчатым охотником, то есть владел небольшой сворой борзых да смычком гончих.

Когда наступал сезон, дворяне Чухломского уезда неделями носились в полях за красным зверем. Так что и выглядели малодушные не очень ухоженно: лица обветренные, волосы, постриженные какой-нибудь бабой-домоводительницей, торчали космами, голоса застуженные, срезанные ножом ногти на руках в трещинах и заусеницах, сюртучишки перепачканы нюхательным табаком, в пятнах от пролитой за трапезой наливки, красные околыши дворянских фуражек тоже захватаны. Велик оказывался соблазн поиздеваться над такими дворянишками у какого-нибудь двухсотдушного, вроде Матвея Юрьича Лермонтова. Но нередко на такую фанаберию нарывался досужий шутник, что впредь и захудалую усадьбишку мелкотравчатого стороной объедет.

На мужика в таких плохоньких поместьях смотрели просто, без сентимента. Это разные стихотворцы про пейзан вздыхали, да и то сказать – могли этих вчера еще воспеваемых пастухов и пастушек и розгами поучить. Алексей Писемский, жадно читавший переводные романы, чувствительные повести российских сочинителей, сентиментальные вирши князя Шаликова, удивлялся тому несоответствию, которое

существовало между окружающей действительностью и ее изображением изящной словесностью. Только с годами к нему пришло понимание неоднозначности, двойственности натуры российского дворянина: умел он в жаркой схватке развалить до седла тяжелой саблей свирепого башибузука, по многу дней мотаться по промозглым перелескам за выводком волков, принять на рогатину медведя и в то же время с какой-то женственной печалью мог упиваться строкой поэта, меланхолически всхлипывать под гитарный перебор. Писали при свече мечтательно-целомудренное послание платонически обожаемой дворянской отроковице и, запечатав конверт, звонили горничной, велели отнесть ту же свечу – свидетельницу «чувств» – в спальню да «посветить» барину, пока отходить станет к Морфею. Сентиментальность и жестокость, практицизм и религиозная экзальтация уживались в душе малодушного. Этот внутренний мир сильно разнился с миром крестьянским.

Но как же быть с «мужиковством» Писемского? Может быть, оно исподволь накапливалось в его облике с юношеских лет, когда он общался со своими умными, но совсем ненатурально живущими родственниками Бартеневыми и опальным поэтом Катениным? Ведь все их существование раздиралось кричащим противоречием с естественностью, обыденностью, царившими вокруг. Как Катенин, одетый в черкеску, ломающий феодальную комедию, сотворил из своей жизни какой-то бесконечный спектакль, так и дядя Всеволод Никитич, гуманист и джентльмен во сермяжной глуши, устроил для себя театр, в котором играл главную и единственную трагико-сентиментальную роль. Юношеский ум Писемского, конечно, не мог еще осмыслить окружающее в таких определенных формулировках, но насмешливо-отрицательное отношение к неистинности, к игре в кого-то сделалось с тех пор твердым его убеждением. Он всегда оставался самим собой – это и производило на окружающих петербуржцев, подчинивших свою жизнь жестким условиям, задаваемым светом (а еще больше полусветом), впечатление изначальности, первобытности его характера.

И все же рассуждения о «великорусском мужике» Писемском будут отвлеченными, если мы пройдем мимо главного: детство, юность, молодость будущего писателя прошли в непосредственном общении с деревенским миром...

Костромская губерния числилась в глухих. Леса, топи, дороги никудышные, города бедные, да и дворянство небогатое. А следовательно, и мужик по деревням дикий. Такое мнение было справедливым в отношении многих уездов, но не для Чухломского. Именно из здешних мест уходили ежегодно в

столицы тысячи «питерщиков» – под таким именем прославились на всю широкую Русь крестьяне-отходники, работавшие вдали от дома столярами, стекольщиками, слесарями. Петербург на добрую часть был выстроен руками костромских крестьян, которые издавна стали подаваться на заработки, твердо усвоив, что меж сохи да бороны не ухоронишься – скудная земля, короткое лето и неустойчивый климат редко позволяли мужику собрать добрый урожай. «Питерщик» жил вдали от дома годами, причем начинал осваивать свою профессию еще в отрочестве – лет с четырнадцати. Потом, поднаторев в ремесле, приходил в родную деревню, где ему уж присмотрели невесту, женился и, пожив несколько месяцев с молодухой, снова отправлялся в Питер. Многие так осваивались в столице, что и там заводили «симпатию», а свои отношения с законной семьей ограничивали присылом гостинцев и денег да редкими наездами по случаю кончины кого-нибудь из родни. Оттого прозвали этот край губернии «бабьей стороной» – не только домашнее хозяйство лежало на женщинах, но они же отправляли все общественные работы вроде ремонта дорог, исправляли должности десятских, сотских, сельских старост.

Дома тех из «питерщиков», которые сохраняли верность деревенским корням (а такие составляли, разумеется, большинство), нельзя было назвать крестьянскими избами в собственном смысле слова. Уже во времена молодости Писемского отходили в прошлое старинные северные хоромы. Исчезали восходящие к седой древности мотивы деревянной резьбы по подзорам и очельям окон. Вместо птицы Сирин и русалки вырезали плотники, насмотревшиеся на господские затеи в городе, античные амфоры и виноградные грозди, обрамляли окно какими-нибудь колонками и портиками, да и в светелку тащили ту же «Грецию». Ясно, что в таких избах трудно было наткнуться на вышепомянутого, ничем не замутненного «исторического» великоросса...

Так, может быть, хранилась «допетровская чистота» в деревеньках, затерявшихся за мелколесьем? Вот уж где, казалось бы, уцелели заповедники старомосковской эпохи – сидел там народ-нелюдим, крепкий в «истинной» вере. Но на заезжего глядели исподлобья, говорили загадками, так что и в этих ревнителях древнего благочестия нелегко было встретить простодушие, сердечность, открытость.

Нет, пожалуй, не у староверов, не у продувных «питерщиков» прошел юный Писемский школу народности. «Исторического великорусского мужика» воспитал поэтический мир, который окружал его с первых дней жизни, – уживались здесь

фантастические представления и предельная трезвость взглядов, суеверия и здравый смысл...

В пору светлых июньских ночей, когда от зари до зари небо жемчужно светится, когда березы, окружающие усадьбу, стоят по колено в тумане, а в призрачной полумгле, укрывшей дорогу, мерещатся всадники, бесшумно проносящиеся в сторону леса, в эту тревожную и восхитительную пору Алексею всегда не спалось. Он мог часами сидеть у раскрытого окна, подобрав к подбородку колени, поеживаясь от сырой прохлады, заползающей под шлафрок. А когда наступала купальская ночь, он обязательно выбирался перед полночью из дома и что есть духу бежал к околице, где его ждали несколько смельчаков. Переговариваясь вполголоса, шли к темнеющему за поскотиной чернолесью. С колотящимся сердцем вглядывался Алексей в переплетения трав и кустов – где-то же должен был заполыхать «Иванов огонь» – все деревенские мальчишки божились, что именно в этом урочище зацветает папоротник в ночь на Ивана Купалу. А может, опять он прозевал полночь?.. Э-эх, хоть бы раз повезло – уж тогда он все клады в округе открыл бы. Или нет ему в этом талану, вот и разрыв-трава, против которой ни один замок не устоит, Алексею не дается? А ведь она тоже в купальскую ночь счастливчику показывается...

Идя в промокших от росы сапогах к усадьбе, Алексей послушно останавливался, услышав повелительное шипение одного из раменских парней. Все всматривались в ту сторону, куда показывал старшой – в пепельном свете белой ночи привидениями казались фигуры в сарафанах на лугу возле ручья. «Умываются купальской росой, чтоб краше быть!» – сдавленным голосом поясняли ребята и, повалившись в траву, подбирались к девкам. Баричу тоже хотелось попугать их, да уж больно знобко было ползти по сырой предрассветной луговине, и, укрывшись за кустиком, он наблюдал, как тянутся по седому от росы травяному ковру черные полосы, как потом с визгом бросаются к деревне девки, завидев явившихся невесть откуда разбойников...

Годы спустя писатель заметит про героев «Взбаламученного моря»: "Если бы пришлось подробно описывать жизнь секунд-майора и пожилой его дочери, то беспрестанно надо было бы говорить: «Это было, когда поднимали иконы перед посевом; это – когда служили накануне Николы всенощную; это – когда на девках обарывали усадьбу кругом, по случаю появившегося в соседних деревнях скотского падежа». Когда он писал это, то вспоминал дни своей деревенской юности...

Чернильные страсти

В гимназию недоросля Писемского отдали только на пятнадцатом году. Знаний, полученных за время занятий с домашними наставниками, оказалось явно маловато – это Алексей почувствовал уже во время экзамена. Когда в холодный сентябрьский день он вышел вместе с отцом из потрепанного деревенского экипажа у подъезда гимназии, по всему телу его прошел озноб – совсем скоро, через несколько минут, ему предстояло узнать, в какой класс он зачислен.

В нетопленом длинном зале собралось около трех десятков мальчиков в новых синих вицмундирах. Возле высоких окон уселись в креслах родители. Алексей, по временам поеживаясь от холода, рассматривал аляповатый плафон, изображавший до неприличия буйное пиршество плоти – олимпийцы и их бессмертные подруги, столпившись на потолке в чрезвычайном обилии, теснили друг друга красноватыми телесами, плотоядно протягивали широкие длани к огромным амфорам и мясистым плодам. Гипсовые бюсты греческих философов, расставленные по шкафам с книгами у длинной глухой стены зала, выглядели как-то партикулярно, невнушительно в соседстве с могучими бедрами Артемиды и марафонскими икрами Аполлона. Рассмотрев во всех деталях зал, Писемский стал искоса поглядывать на будущих однокашников. К своему стыду, он обнаружил, что был едва ли не самым рослым из всех. В душе у него заклубилась досада на отца: держал свое чадо в деревне чуть не до тех пор, когда бриться начнет... Небось эти вон раздушенные барыни да французы-гувернеры не побоялись притащить в ученье своих малолеток. Многим, по всему видать было, только десять лет исполнилось.

Когда в зал вошли директор и инспектор, мальчики как-то разом вытянули руки по швам, а родители оставили разговоры и с напряженным вниманием устремили взоры на гимназическое начальство. Подойдя к стоявшему в центре зала длиннейшему столу, застеленному красным сукном, директор сдержанно и с некоторым даже высокомерием кивнул посетителям, обвел глазами строй синих мундиров и, не глядя, откинул раскрытую ладонь несколько назад к инспектору. Тот проворно сунул в протянутую руку списки принятых. Директор значительно кашлянул и стал читать.

Когда дошла до него очередь, Алексей совсем ослабел от ожидания. Услышав «Писемский!», он едва нашел в себе силы выкрикнуть «Я!». Когда же за сим последовало: «Во второй класс», его разом перестало лихорадить – теперь он, во всяком случае, не

был обречен на то, чтобы коломенской верстой торчать среди маломерков. Во второй класс, как приметил он, уже попали несколько возмужалых и упитанных помещичьих отпрысков...

Всего год назад ушел с поста директора гимназии Юрий Никитич. Порядки, заведенные им, были еще в полной силе; да преемник Бартенева, отставной моряк Павел Петрович Абатуров, и не собирался что-то менять в хорошо налаженном деле. Но время наступило уже другое, и приходилось поспешать за его вездесущим духом. Когда весной 1833 года министром народного просвещения был назначен С.С.Уваров, он разослал попечителям учебных округов указания, где сформулировал основополагающие принципы, на которых должно покоиться образование российского юношества. Алексею Писемскому раньше, чем кому-либо из его сверстников, пришлось услышать об уваровских построениях – их ругательски высмеивал дядя. Когда Феофилакт Гаврилович с сыном заехали в Золотово, Юрий Никитич, только что ушедший от дел, радостно накинулся на гостей с излиянием своих скорбей.

– Слышали, какие пули наш новый министр отливает? – Бартенев резво подбежал к бюро и схватил с него несколько листов бумаги. – Почитайте.

Феофилакт Гаврилович взял бумаги, некоторое время шевелил губами, мучительно морща лоб. Потом с просительно-извиняющейся улыбкой сказал:

– Увольте, Юрий Никитич. Я, знаете, в премудростях сих не силен. Вы нам попроще растолкуйте.

Бартенев глянул на исписанный витиеватой писарской вязью листок и быстро заговорил:

– Вот что его высокопревосходительство открыть соизволили: оказывается, ныне из всех европейских стран только Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить. Что же это за начала? Предписано считать: без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. А посему русский, преданный отечеству, никогда не согласится на утрату хотя бы одного из догматов православия... Второе открытие господина Уварова: самодержавие составляет главное условие политического существования России. Граф обнаружил, что отечество наше живет и охраняется духом самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенного, и это убеждение, по его мысли, должно проникать в народное воспитание и с ним развиваться. В неразрывной связи с этими двумя национальными началами находится и третье, не менее важное: народность...

– Ничего дурного или глупого я в этом не нахожу, – выслушав

Юрия Никитича, проговорил подполковник. – Разве без отеческих преданий, без веры устоит какое-либо государство?

Бартенев саркастически улыбнулся:

– Да полно вам, милейший Феофилакт Гаврилович. Давно пора со всей этой ветхой рухлядью распроститься и всем совместно заняться воссозданием всемирного храма Соломонова...

– Я, конечно, человек малоученый, – запальчиво прервал подполковник, – но замечу вам, что раз уже принимались нечто подобное строить – разумею Вавилонскую башню. Но ведь не попустил господь...

– Эта легенда, сударь, совсем не тот смысл имеет, который вы ей придаете, – снисходительно заговорил Бартенев. И как бы желая подчеркнуть мирно-ленивый характер спора, крикнул: – Ну что там с обедом?

– Не извольте беспокоиться, – пророкотал из столовой могучий бас. – Во единый секунд доспеет...

– Вы мастера подбирать всякие доказательства. Но и мы кое-что читаем, знаем, как отличать вольтерьянские да фармазонские хитрости...

В ответ Бартенев самым искренним образом расхохотался.

Как бы то ни было, Алексей Писемский вскоре понял, что триединая формула существует не только в отвлеченных построениях министра, но и дает о себе знать в учебных программах. Материализуясь, «православие, самодержавие и народность» становились настолько предметной, осязаемой реальностью, что не говорить о них – значит ничего не сказать об истинном содержании гимназического воспитания. Уже во втором классе, куда был зачислен Алексей, во всем строе обучения проявлялись начала классицизма, а не того реального образования, которое когда-то, на заре русской школы, было положено в основу. Инспектор Горский зачитал второклассникам учебный план, составленный по недавно принятому гимназическому уставу:

Закон божий – 2 урока в неделю
Российская словесность и логика – 4"
Латинский язык – 4"
Немецкий язык – 2"
Математика – 4"
География – 2"
Чистописание – 4"
Черчение и рисование – 2"

Позднее к этому списку прибавятся физика (по 2 урока в шестом и седьмом классах) и французский язык (по 3 урока начиная с четвертого класса).

Точные науки занимали, таким образом, весьма скромное место. Не дворянское это дело – костяшками счетов брякать, полагали в тогдашнем обществе. Пусть купеческие да мещанские отпрыски идут в заводские управители, в профессоришки. И это пренебрежительное отношение отражало совершившиеся за сто послепетровских лет перемены: из необходимого «тягла» образование начало превращаться в средство к устройству душевного комфорта, наслаждения искусствами. Даже питомцы военных училищ предпочитали не артиллерийские и навигационные познания, а тянулись к изящной словесности, к светской стороне военной жизни...

Старый особняк, где помещалась гимназия, был маловат для оравы из двухсот человек, и в перемены гимназисты кишели в коридорах, как саранча. Классы с течением времени также сделались тесны. Исключение составляли два помещения – актовый зал с гипсовыми мудрецами и просторный физический кабинет, где висел портрет благотворителя гимназии купца Хавского. Но ни директор, ни даже попечитель Московского учебного округа, куда входила и Костромская губерния, не помышляли о переводе вверенного им заведения в более подходящее место, ибо на весь город было только несколько построек, превосходивших своими размерами гимназический особняк, но то были резиденции губернской администрации и дворянского собрания.

Так бы и ютиться гимназистам в неудобном темном здании на углу Всехсвятской и Борисоглебской улиц, если бы счастливая судьба не занесла в Кострому самодержца всероссийского, который по примеру своих предков решил посетить отчее гнездо Романовых, помолиться в Ипатьевском монастыре, в котором укрывался в 1612 году от польских интервентов родоначальник династии Михаил. 8 октября 1834 года Николай I почтил гимназию своим посещением.

История сохранила две фразы, сказанные монархом по случаю посещения гимназии. Зайдя в первый класс, он воскликнул: «Какой бравый народ!», а во втором классе изрек: «Это будущие мои гренадеры». Надо полагать, основанием для последнего высказывания оказался недетский рост воспитанников, а Писемский был как раз из самых долговязых. Так что «будущий гренадер» относилось прямо к нему. В гимназических анналах отражена высочайшая воля: за неудобством помещения перевести заведение в губернаторский

особняк.

На склоне лет Писемскому, наверное, не раз приходилось с усмешкой вспоминать слова царя. Живя в эпоху стремительного развала дворянского государства, в пору грозных политических потрясений, он мог бы с полным правом сказать: не гренадеров, а критиков николаевской системы воспитала русская школа тридцатых годов...

Вскоре после царского визита состоялось новоселье гимназии – теперь во власть мальчишек перешло огромное двухэтажное здание, едва ли не самое внушительное в городе. Вниз от него уступами спускался к Волге довольно высокий берег. А позади бывшей резиденции хозяина губернии простирался большой одичавший сад с тенистыми аллеями, с затравевшими тропками, вьющимися кругом заросших ряской прудов.

В теплую погоду гимназисты носились по всем закоулкам парка, лазали по деревьям, катались по большому пруду на грузном, разбухшем от влаги плоту, нарочно сбитом для этого несколькими умельцами. Водоем закрывала от глаз надзирателей березовая роща, поэтому выставленная стража из первоклассников заблаговременно успевала дать знать о появлении начальства, и мореходы, поспешно оставив неуклюжее судно, ныряли в заросли боярышника.

Забор, отделявший парк от тихого проулка с мещанскими домишками, по ветхости во многих местах повалился, и во владения гимназии постоянно забредала скотина, привлеченная сочной густой травой заброшенного сада. Мальчишки быстро приспособили смирных животных для своих забав – оседлав несколько буренок, они начинали нахлестывать их хворостинами, воображая себя то рыцарями, то лихими рубаками-гусарами. Перепуганные коровы метались среди берез, оглашая окрестности заполошным мычанием.

Впрочем, не только во время перемен находили иные буйные головы время для забав. У тех учителей, что были послабее характером, и на уроках творился бедлам.

Но такие слабовольные преподаватели составляли исключение – большинство педагогов умели и любили карать. Задавал тут тон гимназический инспектор Горский – гроза проказливых и нерадивых. Каждый день он просматривал классные журналы, в которые нарочно назначенный старший из числа учеников заносил имена шалунов и отмечал суть совершенных ими нарушений. И засим следовало наказание – то ли словесный разнос, то ли поставление в угол на колени, а то и карцер.

Огромного роста сутуловатый господин – учитель

чистописания – обходился с бедокурами по-свойски: велел протянуть перед собой руки и наотмашь бил по ладоням линейкой.

Но это время, когда Алексея вместе с другими нарушителями подвергали разного рода психологическим и телесным экзекуциям, осталось в его памяти связанным со старым гимназическим зданием. В новое он пришел уже учеником высшего класса – так назывались все классы, начиная с четвертого, по той причине, что находились они в верхнем этаже, все же прочие, помещавшиеся внизу, именовались классами низшими. Этим париям воспрещалось появляться наверху в видах соблюдения порядка, высшим же не возбранялось ходить где заблагорассудится, но они, впрочем, не очень-то рвались спускаться с высоты, а буде такое приключалось, с достоинством несли себя средь низших. Соответственно новому мироощущению у четвероклассников разом прибавилось солидности и на шалости тянуло гораздо реже. Хотя, по справедливости, должно было ожидать иного, ибо теперь как старшеклассникам им не грозили телесные наказания.

Собственно учение стало занимать Алексея гораздо сильнее, чем в младших классах. Позади было механическое заучивание латинской грамматики – настала очередь осмысленного чтения Корнелия Непота. Подходило к концу пережевывание катехизиса, и строгий законоучитель стал посвящать гимназистов в начала философии и богословия. Позади и грамматика Востокова – с нею также покончено в третьем классе. Младший однокашник Писемского вспоминал в связи с этим учебником: «Учение русскому языку заключалось в заучивании наизусть краткой грамматики Востокова. Разумеется, мы не понимали ничего и твердили свои уроки как попугаи». Справедливости ради надо отметить, что грамматика Востокова была для своего времени огромным шагом вперед в деле изучения отечественного языка. Впрочем, хороший вкус и грамотность прививало гимназистам не столько затверживание правил, хотя и это давало в итоге положительные результаты. Во все годы учения мальчики заучивали наизусть лучшие образцы русской поэзии и прозы, так что к концу выпускного класса каждый знал сотни стихотворений Ломоносова, Державина, Жуковского, Крылова, Пушкина, мог страницами декламировать из «Истории государства Российского» Карамзина, из повестей Марлинского, трагедий Озерова.

Многие гимназисты и сами начинали пописывать – кто по внутренней потребности, а кто – побуждаемый к сочинительству учителем словесности Окатовым. Александр Федорович был щедр

на похвалу и тем часто способствовал увлечению своих питомцев изящной словесностью. Алексея Писемского он уже в пятом классе признал великолепным стилистом, и ободренный этим юноша к концу учебного года представил на суд товарищей повесть «Черкешенка», написанную в романтическом духе, свойственном лире Марлинского. Позднее, вспоминая о первых своих прозаических опытах, писатель заметит, что в них он описал такие «сферы», которые были вовсе ему незнакомы, – свет, военный быт, сердечные страсти...

Приятели готовы были признать Алексея первым талантом по части «словес извития». Но у него объявился соперник – Николенька Дмитриев, также изводивший бумагу десть за дестью и успевший сотворить несколько светских повестей. Тогда общественное мнение порешило: претендентам на первенство помериться силами, и по результатам поединка определится самый талантливый сочинитель. Писемский согласился, и напрасно: рослый Дмитриев, несмотря на то, что был несколькими годами моложе Алексея, уложил его на лопатки.

Однако сочинительство не настолько увлекло Писемского, чтобы сделаться его главной страстью, хотя «Черкешенку» свою он даже посылал втайне от всех в какой-то столичный журнал. Получив отказ, он, видно, успокоился, и беллетристический зуд на время унялся. Тем более что как раз в это время начался «роман» Алексея с новым преподавателем математики – Н.П.Самойловичем. Способный юноша стал объектом неусыпного внимания учителя: наставляя Писемского в точных науках, недавний выпускник университета старался привить ему свои радикальные воззрения. И много преуспел в этом.

Любовь к учителю математики зиждилась, конечно, не только на общности интересов. Алексею импонировала атмосфера, царившая на уроках у Самойловича. Писемскому и нескольким другим избранникам, именовавшимся толмачами, позволялось делать все, что угодно. Они разговаривали во время урока, ели когда вздумается, коли им хотелось, могли уйти без спросу.

– Тэк-с, господин Писемский, а что вы расскажете нам сегодня?

– Прошу прощения, но я вчера зачитался новым романом Купера да и забыл приготовить урок, – спокойно признавался Алексей.

– Экий вы книгочей, – только и скажет Самойлович. – Ну и что, хорош роман?..

Но горе было тому из «козлищ», кто не мог внятно ответить на вопрос учителя.

– М-да, преизбыточествует народ глупостью и леностью! –

гремел математик. – Подите в угол, поразмыслите о своем будущем.

Когда наказанный отправлялся отбывать наказание и становился на колени рядом с другим из таких же бедолаг, Самойлович обращался к какому-нибудь ученику из бедных, но отличавшемуся хорошим знанием предмета. После удачного ответа он горделиво озирал углы, где уже стояли колонопреклонные «козлища» – а для этой экзекуции учитель обычно выбирал отпрысков состоятельных фамилий; пронизывая сих презренных пренебрежительно-высокомерным взглядом, наставник возглашал:

– Вот, ваши превосходительства или ваши сиятельства, как вас там величают, вы ведь в карете приехали, а он пешком пришел, а куда вам до него! Вы-с попросите, чтобы он вас поучил-с, ведь урок-то выучить – не то, что конфекты кушать или ножкой шаркнуть.

Самойлович считался одним из лучших учителей. Несмотря на его не совсем педагогичные приемы, знания, полученные на уроках математики в Костромской гимназии, давали ее питомцам возможность без труда выдержать университетские экзамены. Да и вообще качество преподавания стояло на высоте в пору учения Писемского. В конце тридцатых годов прошлого века в гимназические учителя охотно шли способные люди – немаловажную роль при таком выборе профессии играло то, что из всех чиновных поприщ это поприще было наиболее высокооплачиваемым, да и «табель о рангах» проходили своим чередом.

Костромская гимназия славилась как одно из образцовых учебных заведений такого рода, и эта репутация составилась не в последнюю очередь благодаря подбору преподавателей. Традиции, сложившиеся за полтора десятилетия директорства Юрия Никитича Бартенева, – основательность в изложении предметов, трудолюбие и выдержанность педагогов, – также способствовали поддержанию атмосферы действительно учебного заведения. Дикости, буйства, распущенности, невежества – этого бурсацкого набора в губернской гимназии не водилось.

Но не одним же чтением да учением жил наш герой. Он ведь не пансионером был, а поселился, как приличествует юноше из достаточной семьи, на городской квартире. Имел для услуг человека, ружья ради забавы, держал несколько чубуков для приятелей, гардероб недурной завел и прогуливался в новом с иголочки вицмундире и танцевальных выворотных сапогах по улице Нижней Дебре, на площади возле каланчи, а в хорошую погоду добирался до слияния Костромы с Волгой. Тут можно

было часами стоять, разглядывая столпившиеся у берега суда всех калибров – расшивы, гурянки, тихвинки, пришедшие с Суры межеумки. На плашкоутном мосту вечная суета – бурлачина, грузчики в полосатом затрапезе, в красных косоворотках, купеческие приказчики в синих сибирках и высоких козловых сапогах, богатые мужики в решменских кафтанах, богомольцы в какой-то серой рвани. А за неширокой полосой воды – белые стены Ипатьевского монастыря с башнями, крытыми черепицей, солнечный блеск крестов и куполов, стаи галок в голубеньких небесах.

По воскресеньям Алексей и его приятели брали за небольшую плату лодку у перевозчика. Попеременно садились на весла и поднимались вверх по Волге версты на четыре, так что Кострома пропадала за излукой. Высаживались на высоком берегу, по которому сбегала к воде березовая роща, и устраивали «разбойничий табор» – шалаш, дозорное гнездо на вершине самого высокого дерева. Одни разводили огромный костер, а другие тем временем отправлялись удить рыбу. Не успевал посланный по жребию принести молока из недальней деревни, а на тагане уже клокотал котел с ухой.

Когда плыли вниз, то до временам бросали весла и слушали огромную тишину, висящую над светлым миром. Потом кто-нибудь заводил ломающимся юношеским голосом любимую песню, и все подхватывали:

Век юный, прелестный,
Друзья, пролетит,
И все в поднебесной
Изменой грозит.
Лети стрелой,
Наш век младой!
Как сладкий сон,
Минует он!
Лови, лови часы любви,
Пока огонь горит в крови!

На глазах у друзей посверкивали счастливые слезы – какой прекрасной виделась эта жизнь, полная дружества, полная надежд, широко распахнутая в бесконечное будущее...

В теплое время года на бульваре поблизости от присутственных мест устраивались гуляния – часов с шести пополудни гремела духовая музыка, кологривские певчие и песенники из солдат гарнизона вторили друг другу до поздней ночи. Гимназисты тоже шныряли неподалеку, не рискуя все-таки

показаться в толпе гуляющих – «красная говядина» (так прозвали алые форменные воротники) издалека видна была досужему надзирателю или самому инспектору.

Приходя к себе на квартиру, Алексей немедленно скидывал опостылевший мундир, облачался в халат и, развалившись на канапе, затягивался жуковским табаком. Заходил кто-нибудь из приятелей и, тоже получив трубку с черешневым мундштуком, усаживался в кресло подле итальянского окна с видом на Волгу. Друзьям нравился щегольской кабинет Писемского, оклеенный только что начавшими входить в моду пунцовыми суконными обоями, застеленный пушистым ковром. Тут же стояло фортепьяно, и каждый мог взять с этажерки ноты и потыкать пальцем в желтоватые, как собачьи зубы, клавиши. Не хватало для полного комфорта лишь двух-трех хорошеньких картин в настоящих тяжелых рамах. Да разве упросишь старика отца купить давно присмотренную в модной лавке копню Лемуана «Юпитер и Ио». Тот, конечно, посуровеет, взглянув на розовые прелести откинувшейся в истоме красавицы, да еще, чего доброго, потащит сына через реку к Ипатию, дабы благословить Алексея хорошим образком. Нет, тут надо действовать тоньше – для начала можно уговорить отца раскошелиться на копию «Кающейся Магдалины» Лебрена. Вроде и сюжет благочестивый и для кабинета молодого холостяка прилично.

Заметим, что сидел за партой последнего, седьмого класса гимназии не подросток, а девятнадцатилетний молодой человек – стройный, худощавый, с живым, несколько вытянутым лицом, с выразительными большими глазами. Он нравился дамам и, давно заметив это, прилагал заметные старания, чтобы черные кудри его ниспадали на плечи в соответствии с чувствительными описаниями Марлинского, чтобы хорошо выбритые щеки благоухали лавандой. Только отрастить настоящую поэтическую гриву все никак не удавалось – ненавистный инспектор каждый раз, едва шевелюра начинала походить на что-то порядочное, распоряжался об укрощении волоса, и Алексею ничего не оставалось, как предаться губительным ножницам лучшего губернского цирюльника.

А тут еще любовь к старшей годами кузине! Алексей в клочья готов был изорвать свой мальчишеский мундир, когда видел проносящихся мимо ее окон юных поручиков и кадет. Вот это мужское дело – в ментиках, галунах, золотое и серебряное шитье так и кидается в глаза, голенища сапог как зеркала играют. Ну почему отец не определил его в кадетский корпус, а заставил, как Митрофана, сидеть в чухломской глуши, а потом до двадцати лет обретаться в компании костромских недорослей? Кому он нужен

в этом шутовском наряде! Нет, любить по-настоящему могут только военных, только людей, пропахших порохом, запахом седел, шампанского, только бретеров и сорвиголов!

И, истерзанный своими безрадостными мыслями, он приходил к себе, садился за конторку, обмакивал перо в бронзовую чернильницу и строчил новую повесть под названием «Чугунное кольцо». Рукопись сего произведения не дошла до нас, но на страницах романа «Люди сороковых годов» Писемский передаст ее содержание (причем, что характерно, даже не изменит названия сочинения, «подаренного» своему двойнику Павлу Вихрову). Влюбленный герой "сшил себе толстую тетрадь и прямо на ней написал заглавие своему произведению: «Чугунное кольцо». Героем своей повести он вывел казака по фамилии Ятвас. В фамилии этой Павел хотел намекнуть на молодцеватую наружность казака, которою он как бы говорил: я вас, и, чтобы замаскировать это, вставил букву "т". Ятвас этот влюбился в губернском городе в одну даму и ее влюбил в самого себя. В конце повести у них произошло рандеву в беседке на губернском бульваре. Дама призналась Ятвасу в любви и хотела подарить ему на память чугунное кольцо, но по этому кольцу Ятвас узнает, что это была родная сестра его, с которой он расстался еще в детстве: обоюдный ужас – и после того казак уезжает на Кавказ, и там его убивают, а дама постригается в монахини".

Кузина, разумеется, заметила состояние Алексея и почему-то переменилась с ним – стала отводить глаза, встретившись с его взглядом, появились длинные томительные паузы в разговоре, так что Писемскому становилось вовсе неловко и хотелось поскорее уйти. Да, у кузины определенно был какой-то избранник – иначе для чего она уединялась с подругой, вполголоса беседовала с ней, и прекрасные голубые глаза ее то как бы озарялись, то встревоженно перебегали с предмета на предмет?..

На вакации Писемский уезжал в Раменье, и каждый раз ему бросалось в глаза, как быстро стареют отец и мать. Не менялись только обе тетки – старые девы, словно набальзамированные еще при жизни. Усадебный дом из девяти комнат, казавшийся прежде внушительным и щеголеватым, выглядел после каменных палат Костромы совсем неказисто. Да и те имения, что побогаче, как-то поблекли в глазах Алексея после нескольких лет губернской жизни. Когда прохладным августовским полднем он поднимался с ружьем на плече к Колотилову, катенинская изящная усадьба напоминала ему скорее какой-то павильон в городском саду, нежели настоящее генеральское жилище. Да и сам хозяин колотиловских душ изрядно сдал – по лицу пошли морщины, глаза смотрели не столь задорно. Оглядев соседа, его новенький

серый рединготт с зеленой выпушкой, долгие сапоги тонкой кожи, низенькую охотничью шляпу с зеленой лентой и глухариным пером, Павел Александрович молча улыбнулся, но потеплевший взгляд его как бы говорил: ну что ж, господин гимназист, из вас выйдет очень бравый и просвещенный помещик; рад буду иметь такого приятного соседа по латифундии.

Алексей и сам уже отмечал в себе проявления этого «владельческого чувства» – когда носился на дрожках по землям, прилегающим к Раменью. Желтое ржаное поле с синими звездочками васильков, распластавшееся по пологому склону, сосновая роща с высоким, кондовым лесом, откуда брали бревна только на барскую нужду, сизое моховое болотце, кишащее бекасами и дупелями, – все это принадлежало ему. Милый деревенский дом, березовая аллея, черемуха на задворьях – тоже твое, родовое. Когда катишь в коляске, завернувшись в подбитый бархатом плащ-"альмавиву", то и мысли в голову просятся соответствующие: «Я сквайр... проприетер... Все это, что ни идет, ни встречается, все это ниже меня». (Так передаст Писемский внутренний монолог молодого героя «Взбаламученного моря» Александра.) Сам-то он как проприетер (то есть: собственник) был не из важных – в материном Раменье чуть больше полусотни ревизских душ, да десяток семей в деревеньке Вонышево, доставшейся Евдокии Алексеевне по разделу с сестрами в 1834 году, да семь семейств в деревне Васильевское, прикупленной отцом у родственников Шиповых. И все же горделивые мыслишки щекотали сознание. Великовозрастный гимназист определенно входил во вкус обладания землей. И родители уже начинали стеснять его. В зрелые годы, когда Раменье будет уже продано, он напишет: «Припомните, читатель, ваше юношество, первое, раннее юношество! Вы живете с родителями. Вам все как-то неловко курить трубку или папироску в присутствии вашего отца. К вам пришли гости, и вы должны идти к матери, сказать ей: „Maman, ко мне пришло двое товарищей, прикажите нам подать чаю наверх!“ Вам на это, разумеется, ничего не скажут, но все-таки, пожалуй, сделают недовольную мину. Вам ужасно захотелось маленький голубой диван, что стоит в зале, перенести в вашу комнату, и вы совершенно спокойно просите об этом отца, и вдруг на вас за это крикнут... О, как вам при этом горько, обидно и досадно! Но вот родители ваши собрались и уехали, и вам не только что не грустно об них, напротив, вам очень весело! Вы полный господин и самого себя, и всех вещей, и всего дома. Вы с улыбкой совершеннолетнего человека ходите по зале; посматриваете на шкап с книгами, зная, что можете взять любую из них; вы поправляете лампу на среднем столе, вы сдуваете

наконец пыль с окна. Вам кажется, что все это уж ваше».

А потом Алексей Писемский наверняка принимался сочинять очередную повесть из великосветского быта. Легкий шум в голове после стакана вина, доносящееся из-за двери гудение угля в камине, посвист ветра за окном, тени, залегшие по углам и вздрагивающие от колебаний пламени... И выплывают из перламутрового тумана лилейные плечи, черные локоны, страстный взгляд. Лобзанья, клятвы. Свист клинка, бешеная дробь копыт, выстрел во мгле, глухой стук упавшего тела. Голубые клубы дыма, запах ливанского ладана, устрашающе низкий бас рокочет: «Ныне отпущаеши владыко по глаголу твоему раба твоего с миром...» Чернила расплылись, строчки текут, барабанят по листу жаркие слезы. Он вскакивает, шагает из угла в угол по кабинету, крутя в руке шелковую кисть халата. Тени корчатся, скачут, свечи вот-вот погаснут. Да, это будет настоящая вещь! Обязательно надо послать в какой-нибудь петербургский журнал. А не возьмут – отдать книгопродавцу, пусть печатает под каким угодно именем. Алексей Чухломин. Нет, не то. Алексей Костромитинов. Нет, просто А.П. А вознаграждение ему ни к чему... Да, и на первом листе – посвящение кузине, тоже одни инициалы. Чтобы понятно было только им двоим. Что она скажет, когда он преподнесет ей неразрезанный томик?..

Страсть к писательству не имела, однако, безраздельной власти над душой Алексея. У словесности оказался могущественный соперник – театр, причем с годами приверженность юного сочинителя сцене все возрастала – по мере того как росла его актерская слава. Первое знакомство с театром состоялось вскоре после поступления Писемского в гимназию. Для него это оказалось своего рода потрясением. Припоминая позже чувства, обуревавшие его по окончании первого в жизни спектакля, романист напишет, что «был как бы в тумане: весь этот театр, со всей обстановкой, и все испытанные там удовольствия показались ему какими-то необыкновенными, не воздушными, не на земле (а как и было на самом деле – под землею) существующими – каким-то пиром гномов, одуряющим, не дающим свободно дышать, но тем не менее очаровательным и обольстительным!»

Это неудивительно – ведь раньше Алексей не знал никаких зрелищ, исключая церковные службы да игры ряженых в праздники. Мир усадебной жизни – это был мир молчащий, погруженный в себя. Музыка считалась забавой редкой и дорогой, она являлась тогда, когда ее ждали, на нее настраивались. В этом мире покоя, молчания зрелище ценилось очень высоко, и рады были любому – потому забавы с дураками, шутами, возня с

крепостными театрами составляли важную, праздничную часть жизни. Оттого сбегались смотреть на захожего кукольника с Петрушкой, прилежно глядели, как мужики представляют нехитрую комедию вроде «Лодки» или «Шайки разбойников». Оттого толпились на ярмарках перед «киятрами» и балаганами.

На театре сходились все искусства – живопись, литература, музыка, актерское мастерство. Он был вершиной, средоточием, той магической ретортой, где совершался синтез духовных устремлений поэтов, художников, музыкантов. Вот почему он занимал столь почетное место в русской действительности. Им жили, вокруг него вертелась вся большая и малая словесность. Ведь это факт, что почти каждый из русских прозаиков и поэтов писал для сцены.

Даже плохонькая провинциальная сцена с ее заурядными актерами вдохновляла молодых и немолодых людей на всякие экспансивные безумства – бешеные крики «браво!», охапки цветов на сцену, простаивание на дожде перед подъездом театра в надежде увидеть нисшедшую с высот звезду... Годы спустя, работая над романом «Люди сороковых годов», Писемский живо припомнит тот восторг, который охватил его, когда он и его гимназический приятель Стайновский впервые пришли на представление какой-то заезжей труппы. И этот восторг не уменьшился оттого, что театр помещался в каком-то огромном подвале. Переделанный из кожевенного завода, храм Мельпомены сохранял запах дубильных веществ, сырых кож – сами стены были пропитаны прозаическими ароматами. Чтобы попасть в партер, друзьям пришлось спуститься по ступеням по крайней мере сажени на две. А когда они уселись на деревянные скамьи, Алексей стал озираться по сторонам. Более опытный одноклассник вполголоса объяснял: это ложи, а вот занавес, оркестровая яма. Заиграла музыка. Писемский, никогда до того не слыхавший ничего, кроме скрипки, гитары и плохонького фортепьяно, при звуках довольно большого оркестра почувствовал, что его поднимает какая-то невидимая волна; хотелось в одно и то же время плясать и плакать. Занавес поднялся. О, как восхитительна была открывшаяся взору таинственная глубь рощи, позади которой колыхался от сквозняка занавес с бог знает куда уходящею далью, и еще что-то серое шевелилось на авансцене – это, как объяснил всеведущий Стайновский, был Днепр. А когда пьеса некоего Краснопольского «Днепровская русалка» окончилась и юным театралам удалось пробраться за кулисы, они увидели нехитрую механику костромской сцены – кусты и деревья из картона подпирались сзади палками, волнующийся Днепр представлял из себя ряд

качающихся фанерок, а дома и облака висели на веревках, уходящих куда-то в темноту...

После таких открытий Писемский уверился в том, что театр не такая уж сложная штука; он становится одним из самых заядлых актеров-любителей, играет во всех любительских спектаклях, что затеваются гимназистами. Костромское общество быстро произвело Алексея в выдающегося артиста. Губернский город имел давние театральные традиции, отсюда вышло немало знаменитостей, среди них основатель русского театра Федор Волков, выдающийся трагик начала XIX века А.С.Яковлев. Один из первых провинциальных театров возник именно в Костроме. А во времена учения Писемского в местной труппе, содержавшейся антрепренером Ивановым, играл известный актер Климовский. Да и столичные артисты нередко приезжали, сам Щепкин игрывал на костромской сцене...

Вечера в провинции длинные, а театр да балы – это не всякий день. Значит, опять на козетку с томиком «Евгения Онегина» или Вальтера Скотта. А может быть, раскрыть разбойничий роман Чуровского? Но иной раз выпадали часы истинного блаженства – это когда зван был к кузине на именины либо просто посидеть у нее по случаю приезда родственников из деревни. Тогда, поднявшись из-за трапезы, затевали фанты. «По ком болит сердце?» – «По фиалке» (кузина рдеет, смотрит куда-то в темное окно). И когда выпадает фант сказать три правды и три неправды, он норовит сочинить что-нибудь с намеком. А придет розыгрыш, и присудят ему «разносить яблоки», то бишь срывать поцелуи, он еле удержится, чтобы не броситься сразу к ней. А ну как скажет: «Я не люблю»? Нет, такого не случалось, хоть два «яблочка», да возьмет.

Но вот кузина уехала в столицу, на театре играть перестали по случаю великого поста, да и в гимназии сделалось как-то тревожно – близился выпуск, и даже записные лентяи взялись за учебники. Преподаватель словесности Александр Федорович Окатов – первый ценитель прозаических опытов Писемского – каждую неделю мучает сочинениями. Самойлович нагнал страху на тупиц-"аристократов" и часами держит их на коленях. Все наэлектризованы, как перед близящейся грозой.

И вот она пришла и громыхала четыре дня. Все это время, пока шли заключительные экзамены, Алексей спал по три часа. Зато, сдав последний предмет, проспал целые сутки. Второго июля на торжественном акте он получил аттестат об окончании гимназии.

Прощай, детство. Теперь он по всем статьям молодой мужчина, а не только по щетине на подбородке. Долой «красную

говядину»! Долой Цицерона с Корнелием Непотом! Долой надзирателей! Прощайте, Александр Федорович! Прощайте и будьте здоровы, господин Самойлович!

Впрочем, с математиком Писемский увидится еще перед самым отъездом домой и будет иметь с ним недолгий разговор. Вспоминая лето 1840 года, он опишет эту встречу на страницах автобиографического романа:

"– А по какому факультету ты поступаешь? – спросил Дрозденко[2] после нескольких минут молчания и каким-то совершенно мрачным голосом.

– По математическому, вероятно, – отвечал Павел.

Николай Силыч усмехнулся.

– Зачем?.. На кой черт? Чтобы в учителя прислали; а там продержат двадцать пять лет в одной шкуре, да и выгонят – не годишься!.. Потому ты таблицу умножения знаешь, а мы на место тебя пришлем нового, молодого, который таблицы умножения не знает!"

Итак, напутствуемый мизантропически настроенным малороссом, Алексей отбыл в отцовское гнездо, дабы проститься с родными перед новой, дальней дорогой. И, может быть, немного огорчить старика, что не ту стезю избрал, не в гренадеры. Или бы хоть на худой конец в Демидовский лицей в Ярославль пошел – и к дому ближе, и службе дворянской способнее...

Действительный студент

В Раменье Алексей пробыл недолго. Сделал визиты ближайшим соседям, в том числе Павлу Александровичу.

И вот пришел день прощания. С раннего утра в доме поднялась беготня, так что поспать всласть барчуку не дали. После напутственного молебна последовал обильнейший деревенский обед. По окончании его Алексей вышел на крыльцо и стал наблюдать, как под присмотром отца люди снаряжают в дальний путь лучшую бричку. Когда увязали полдюжины чемоданов, комнатный лакей, скособочившись от тяжести, вынес из дому окованный медью погребец, набитый снедью и домашними напитками. Тут же на крыльцо вылетела одна из теток и умолила открыть погребец, дабы убрать в наидоступнейшее его отделение гофманские капли – в случае недомогания требовалось лишь накапать это целительное снадобье на сахар, а затем поглотить его – и скорейшее выздоровление обеспечено. Уложив, наконец, скромный багаж молодого Писемского, дворня умягчила экипаж десятком подушек и вопросительно уставилась на подполковника в ожидании дальнейших распоряжений. Феофилакт Гаврилыч же, не в силах вымолвить ни слова, махнул только смоченным слезами платком и, повернувшись на каблуках, скрылся в доме. Алексей последовал за ним в голубую гостиную, где уже ждало все их малое семейство. Отец благословил сына. Присели по обычаю и полминуты помолчали. Только всхлипывания матери нарушали тишину...

Красную крышу родительской усадьбы Писемский видел еще добрых полчаса после выезда из Раменья. Ему казалось, что он различает и фигурки стариков, сиротливо стоявшие у околицы. Но молодость есть молодость, и дорожные впечатления быстро прогнали печаль от расставания с домом, а пока добрались до первопрестольной, Алексей и вовсе отрешился в мыслях от того, что осталось позади, – его переполняло ожидание встречи с великим городом, предвкушение начинающейся Новой Жизни.

Стояла самая середина лета. Набрякшая от жары и пыли зелень садов совсем не давала прохлады. В такую пору совершать деловые поездки и даже обычные неспешные променады – сущая мука. Но не для того, кто впервые увидел московские сорок сороков, Кремль, огромные четырех– и пятиэтажные хоромины. Да и предэкзаменационная суета так завертит, что забудешь про духоту и палящее солнце...

13 июля 1840 года Алексей подал ректору университета,

профессору, статскому советнику и кавалеру Михаилу Трофимовичу Качановскому прошение, в коем объявлял помимо прочего:

«Родился я из дворян, от роду имею 19 лет, вероисповедания Греко-Российского, обучался в Костромской Губернской Гимназии, ныне имею желание для усовершенствования себя в науках поступить в императорский Московский Университет по Второму отделению Философского Факультета – почему честь имею просить Ваше Высокородие подвергнуть меня надлежащему испытанию и допустить к слушанию Профессорских лекций».

Вступительный экзамен в ту пору полагался только один и проводился сразу по всем предметам. Тем значительнее было волнение испытуемого, когда он входил в большую библиотечную залу старого здания университета, где решалось будущее вчерашних гимназистов.

Экзаменующиеся заняли места на лавках, расставленных в несколько рядов против окон, а перед ними на открытом пространстве за маленькими столиками сидели спиной к свету несколько экзаменаторов. По одному потянулись оробевшие отроки на беседу, по одному покидали зал, чтобы снова слиться с толпой уже прошедших испытание на университетском дворе...

30 сентября Правление Московского университета постановило принять Алексея Писемского в число студентов на собственном содержании. И когда вскорости были отпечатаны учебные списки по всем четырем факультетам, он нашел свою фамилию во второй рубрике – своекоштных. Облик толпы, заполнявшей аудиторию, быстро изменился – вместо разномастных сюртуков всех цветов, вместо модных черных курток и широких белых воротников голландских сорочек явились одинаковые облегающие зеленые сюртуки с синим стоячим воротом и фуражки. Получили и праздничные мундиры – фрак с галунами на воротнике, треугольная шляпа с голубым околышем, для торжественных случаев полагалась и шпага.

Но прежде всего надобно было о жилье, о столе позаботиться. Это казеннокоштным ни о чем не приходилось думать – и форму, и питание, и постель, все-все вплоть до мыла и мочалки предоставлял университет. Только требовал за это уступить одно – свободу жить по своему произволению, стать под ежечасный контроль субинспекторов, которые шныряли и по дортуарам, и по учебным аудиториям, даже в соседний трактир наведывались.

Писемский же волен был и у отцовского оброчного мужика пожить, как сделал он сразу по приезде в Москву, а мог и поизряднее что приискать. Алексей не замедлил с этим – уже вскоре после зачисления в университет он обосновался

неподалеку, в меблированных номерах в Долгоруковском переулке. За умеренную плату постоялец получал здесь комнату, стол, самовар, свечи и воду. В новом своем гнезде Писемский поначалу с завидным усердием предался изучению наук – оно, правда, состояло большей частью в переписывании набело записанных в аудиториях лекций...

Первые впечатления от университета были ошеломляющими. Ничего общего с гимназией, с ее зубрежкой и постоянной опекой надзирателей. Огромные гулкие залы с высокими сводами, блестящий паркет, светлые ясеневые парты, студенческая толпа – и все какие-то красавцы, все подтянуты, изящны в своих только что сшитых вицмундирах. Эта великолепная новая жизнь, наверное, казалась ему иной раз сказочной, могущей вот-вот исчезнуть – настолько полно воплотились в ней представления провинциального юноши об идеальном бытии. А профессора! Да разве можно было сравнивать их самих и то, что они говорили, с гимназическими учителями и их затверженными речами!

А само содержание лекций! Взять Степана Петровича Шевырева – при первом же своем появлении на профессорской кафедре он так разделался со всеми риториками, которые проходили в гимназии, что у Алексея дух захватило. Лекции по словесности быстро стали любимыми, а математика оказалась в забвении, не говоря уже о технологии, сельском хозяйстве, лесоводстве и прочих факультетских предметах. В результате увлечения шевыревскими чтениями поугасшая несколько страсть к сочинительству вспыхнула с новой силой, и Писемский вновь решает, что его призвание – литература.

Когда Шевырев задал студентам темы для сочинений, Алексей выбрал «Смерть Ольги». Студент-математик, уже искусившийся в писании повестей, прочитавший бездну исторических романов, изобразил кончину славянской княгини в беллетристической форме; описал нравы древлян, одежды и оружие дружинников, выдумал даже несколько неизвестных летописцам персонажей. Две недели корпел Писемский над своим сочинением и наконец подал его Шевыреву. Алексей вовсе не ожидал никаких особых последствий, просто отвел душу в сочинительстве.

Писемский видел, как, по своему обыкновению, профессор погрузил перевязанные бечевками рукописи на ломового извозчика и увез к себе на квартиру. А через несколько дней Степан Петрович опять подъехал к университету и, расплатившись с «ванькой», попросил подвернувшихся студентов помочь отнести на кафедру проверенные сочинения.

То, что он сказал, появившись перед аудиторией, повергло

Писемского в дрожь.

– Милостивые государи, – начал Шевырев своим звучным голосом, – я, к удивлению своему, должен отдать на нынешний раз предпочтение сочинению не студента словесного факультета, а математика... Я говорю про сочинение господина Писемского «Смерть Ольги»... Господин Писемский!..

Алексей встал.

Профессор некоторое время изучающе смотрел на него.

– В вашем сочинении, не говоря уже о знании факта, видна необыкновенная ловкость в приемах рассказа; вы как будто бы очень опытны и давно упражнялись в этом.

– Я давно уж пишу... – едва слышно ответил Писемский.

– Прекрасно, прекрасно!.. У вас положительное дарование! – И Степан Петрович милостиво кивнул Алексею: садитесь.

Когда лекция кончилась, Писемский нагнал профессора на лестнице.

– У меня целая повесть написана, – сказал он, – позвольте вам представить ее!

– Представьте, – сказал Шевырев, с удивлением взглянув на студента.

После следующей же лекции Алексей вручил профессору свою повесть «Чугунное кольцо». А потом целую неделю чувствовал себя как на угольях. Степан Петрович появлялся в университете, но не заговаривал с Писемским о его произведении.

Наконец после одной лекции он вопросил:

– Господин Писемский здесь? Прошу вас сегодня зайти ко мне вечерком...

Алексей весь день не находил себе места. Наконец, решив, что уже достаточно поздно, в седьмом часу чуть не бегом отправился к дому Шевырева. Он почти не сомневался, что услышит хвалу своей повести. И предвкушение ее было сладким и томительным – еще бы, близкий знакомый Пушкина, сам известный поэт и критик, сегодня воздаст ему должное... А вдруг нет, и все будет иначе? Нет, об этом даже думать не хотелось.

Робкою рукою он позвонил в колокольчик. Назвался впустившему его лакею. Человек повел его в кабинет через гостиную, и Писемский с искреннейшим благоговением вдыхал в себя этот ученый воздух. В кабинете, слабо освещенном свечами с абажуром, он увидел Степана Петровича; все стены были уставлены полками с книгами, стол завален кипами бумаг.

– Здравствуйте, садитесь! – ласково сказал Шевырев и после недолгой паузы продолжал: – Я позвал вас сказать, чтобы вы бросили дело, за которое очень рано взялись... – И сделал при

этом значительную мину.

Алексей почувствовал, что краска заливает его лицо.

– Почему же? – хрипло спросил он.

– Потому что вы описываете жизнь, которой еще не знаете; вы можете написать теперь сочинение на основании прочитанных книг – как, например, «Смерть Ольги», можете изобразить ваши собственные ощущения, но роман или повесть... На меня, признаюсь, ваше произведение сделало очень, очень неприятное впечатление: в нем выразилась или весьма дурно направленная фантазия, если вы все выдумали, что писали... А если же нет, то это, с другой стороны, дурно рекомендует вашу нравственность!

Профессор еще с полчаса толковал о тех образцах, кои должно читать тому, кто желает сделаться литератором, о строгой и умеренной жизни, которую должно вести, чтобы стать истинным жрецом искусства, и заключил:

– Орудие, то есть талант, у вас есть для авторства, но содержания еще – никакого!

Несколько дней после этого разговора Алексей был сам не свой. Но злости на своего первого критика у него не было – напротив, он с еще большим тщанием записывал его слова в надежде постичь таинственные законы красоты, выяснению которых и посвящал свои лекции Шевырев.

Ко времени появления Алексея Писемского в Москве Степан Петрович превратился из молодого, подающего надежды преподавателя теории словесности (каким запомнили его Герцен, К.Аксаков) в солидного университетского старожила (еще в 1837 году он стал ординарным профессором), сделался одним из самых заметных русских критиков. Белинский избрал его высказывания о современной литературе излюбленной мишенью для своих критических выступлений, хотя в то же время постоянно опирался в других статьях на теоретические высказывания из «Теории словесности» Шевырева. Впрочем, воюя против славянофильского направления, критик-демократ видел в нем достойного противника. Когда в 1841 году появилось первое повременное издание «русской партии», он писал: «В Москве издается с нынешнего года новый журнал – „Москвитянин“... Главный редактор его – г.Погодин, главный сотрудник – г.Шевырев. Не беремся пророчить о судьбе нового издания, но смело можем поручиться, что оно есть предприятие честное, добросовестное, благонамеренное, чисто литературное и нисколько не меркантильное; что у него будет своя мысль, свое мнение, с которыми можно будет соглашаться и не соглашаться, но которых нельзя будет не уважать, – против которых можно будет спорить, но с которыми нельзя будет браниться».

Спустя несколько лет Писемский станет наряду с А.Н.Островским и С.Т.Аксаковым литературным знаменем критиков-славянофилов, войдет в круг «Молодой редакции» погодинского журнала[3]. Это будет не случайное творческое содружество, а вполне осознанная идейная близость, основы которой были заложены еще в пору учения Писемского. На глазах у студента-математика разгоралась затяжная война между московскими кружками западников и славянофилов. Степан Петрович был одним из главных бойцов «русской партии». Но содержание его лекций вовсе не ограничивалось выпадами по адресу «гнилой Европы». В сущности, Шевырев открывал русским неведомый материк – их великую древнюю литературу, высокую поэзию «Слова о полку Игореве», посланий и поучений подвижников домонгольской Руси, строгую красоту воинских повестей о Мамаевом побоище. Рассматривая эти произведения в одном ряду с современными художественными памятниками Запада, профессор убедительно показал, что древняя русская словесность была нисколько не беднее развитых европейских литератур.

Алексей Писемский навсегда запомнил звонкий голос студента, декламировавшего в кофейне Печкина ходившие в рукописи стихи Языкова, посвященные Шевыреву:

Тебе хвала, и честь, и слава!
В твоих беседах ожила
Святая Русь – и величава
И православна, как была.
В них самобытная, родная
Заговорила старина,
Нас к новой жизни поднимая
От унижения и сна!
Ты добросовестно и смело
И чистой, пламенной душой
Сознал свое святое дело,
И, возбужденная тобой,
Красноречиво рукоплещет
Тебе великая Москва!
Так пусть же на тебя клевещет
Мирская, глупая молва!
Твои враги… они чужбине
Отцами проданы с пелен;
Русь неугодна их гордыне,
Им чужд и дик родной закон;
Родной язык им непонятен,

Им безответна и смешна
Своя земля, их ум развратен,
И совесть их прокажена.
Так их не слушай – будь спокоен
И не смущайся их молвой,
Науки жрец и правды воин!
Благословится подвиг твой:
Уже он много дум свободных,
И много чувств, и много сил
Святых, родных, своенародных,
Восстановил и укрепил.

Но это был голос из лагеря славянофилов. Сидевшие рядом поклонники западников шумно негодовали по поводу удалых языковских строк.

– Это донос! – кричали одни.

– Кому? На кого? – недоуменно вопрошал декламатор.

– На Грановского! Да и Шевырев ваш хорош, вон он что в «Москвитянине» нацарапал про Тимофея Николаевича: будто тот «добровольно стал в ряды западных мыслителей, там приковал себя к одному чужому знамени и обещал нам быть эхом одной только стороны исторического учения». Теперь уж точно запретят Грановскому выступать.

Впрочем, это было полемическое преувеличение. Все прекрасно знали, что никто на эти лекции не покусится – ведь за Грановского и его друзей горой стоял всемогущий попечитель Московского учебного округа граф С.Г.Строганов, недолюбливавший славянофилов и даже запрещавший подведомственным ему учебным заведениям выписывать «Москвитянина».

Писемский считал эти полицейские методы недостойными цивилизованного общества, хотя далеко не все писания «Москвитянина» казались ему убедительными. Его коробила, например, приверженность Шевырева к чувствительно-высокопарным оборотам речи вроде «чудно», «святилище души», постоянные по делу и без дела соотнесения русских писателей и поэтов с итальянскими. Алексею гораздо больше импонировал сжатый, местами хлесткий стиль Белинского, и однажды он прямо заявил об этом в компании, где преобладали поклонники славянофилов. Это вызвало целую бурю. Кто-то немедленно раскрыл недавно вышедший том посмертного Собрания сочинений Пушкина и прочел:

"Литераторы петербургские по большей части не литераторы,

но предприимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский.

Московская критика с честию отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о музыке; о музыке, как о политической экономии, т.е. наобум и как-нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частию неосновательно и поверхностно".

– Что вы на это скажете, милостивый государь?

– Но позвольте, когда это писалось, Белинский жил еще в Москве. Так что это вовсе не по его адресу критика.

А среди западников Писемский принимал сторону Шевырева – по свойству своей натуры вступаться за «гонимого». Благодаря этому он чаще всего оказывался в явном меньшинстве. Студенчество не очень жаловало профессора-славянофила, тем более что научная деятельность его разворачивалась на «розовом» фоне, создававшемся лекциями Грановского – молодого, свежего, только что с берлинской университетской скамьи. Иные из завсегдатаев Печкинской кофейни ворчали, что молодежь вообще наклонна к восприятию всяких радикальных идей и скучает, слушая правильные, но не очень-то простые истины...

Как бы то ни было, после окончания публичных чтений Грановского большая аудитория университета сотрясалась от неистовых оваций. А на долю его «антипода» выпадали куда более сдержанные выражения признательности.

Но теперь, по прошествии почти полутора столетий, научное значение этих лекций оценивается не по силе эмоций, вызванных ими у молодежной аудитории. Не подлежит сомнению значение Грановского для развития русской общественной мысли. Но и защищать лекции Шевырева ныне уже нет необходимости – его мысль о всемирном значении древнерусской литературы и народного творчества, об их зрелости и самобытности тоже имела историческое значение. Поблагодарим Степана Петровича за другое: в судьбе Писемского он принял большое участие. Отвергнув его юношеское сочинение, Шевырев стал тем не менее крестным отцом зрелых произведений писателя – первый опубликованный рассказ Алексея Феофилактовича «Нина» «пристроил» именно он...

Профессора выносили на суд студентов свежие плоды кабинетных раздумий, оспаривали взгляды, проповедовавшиеся другими коллегами. Ректор университета М.Т.Каченовский, известный своими наскоками на «Историю» Карамзина, на самого

Пушкина, подвергал сомнению подлинность почти всех древнерусских письменных источников, объявлял подделкой «Слово о полку Игореве». Лекции почтенного старца отличались редкостной скукой, однако пропустить их не решались даже отчаянные нарушители учебной дисциплины – всякий раз перед явлением ректора пред студенческие очи «суб» (так именовали субинспекторов) проводил перекличку, и молодежи приходилось битых два часа томиться под монотонное бормотание ученого скептика, который, по свидетельству историка С.М.Соловьева, лишь тогда преображался, «как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь известие – старичок вдруг оживится, и засверкают карие глаза под седыми бровями, составлявшие единственную красоту у невзрачного старичка».

Все знали пушкинскую эпиграмму на Каченовского, где ученый муж характеризовался: «бессмыслицы оратор, отменно вял, отменно скучноват, тяжеловат и даже глуповат». Но это не мешало кое-что и на ус наматывать из лекций ректора – уж очень соблазнителен был его скепсис в отношении высоких творений древности.

Из других профессоров наибольшее впечатление производили на Писемского историк М.П.Погодин, юристы П.Г.Редкин и Н.И.Крылов. Студенты разных факультетов то и дело кочевали из аудитории в аудиторию, дабы послушать очередного знаменитого златоуста. Алексей Феофилактович напишет впоследствии, что положительных научных познаний с собственного своего факультета вынес немного, а больше интересовался гуманитарными предметами. И это – при всей любви его к математике...

Михаил Петрович Погодин, ближайший сподвижник Шевырева, привлекал студентов своими несколько грубоватыми, но точными суждениями. При внешней растрепанности, неприбранности он вовсе не был классическим профессором старого века, а запомнился современникам как человек расчетливый, смелый, часто резкий в отношении идейных противников. Хорошо знавший его С.М.Соловьев писал: «Человек отражался в писателе и в профессоре. Погодин менее всего был призван быть профессором, ученым: его призвание – политический журнализм, палатная деятельность или – к чему он еще более годился – площадная деятельность. Это был Болотников во фраке министерства народного просвещения».

Отец Погодина был крепостным крестьянином, его происхождение накладывало отпечаток не только на манеры, но и на взгляды ученого. Он одним из первых стал заниматься

историей русского крестьянства, последовательно утверждал в своих книгах и лекциях мысль о самобытности русского прошлого.

Писемский, во всем, даже в речи, сохранивший ухватки коренного русака, несомненно должен был увидеть в Погодине родственную душу. К тому же как человек пишущий, вернее пописывающий, он уважал в Михаиле Петровиче не только известного профессора, академика, но и видного прозаика, друга Гоголя и издателя «Московского вестника», в котором не раз печатался Пушкин…

Погодин читал лекции основательно – первые месяцы посвящались славянским древностям, затем подробно рассматривал вопрос о достоверности летописных сводов, известия о призвании варягов. Он заявлял себя убежденным норманистом – в этом смысле его воззрения совпадали с господствовавшей тогда исторической доктриной о начале Руси. Согласно суждениям авторитетных современников познания Михаила Петровича были обширны только по части древнейшей эпохи, все же, что касалось собственно России, он излагал по Карамзину, причем сосредоточивался не столько на научной ценности его писаний, сколько на их художественных достоинствах. Казалось, что главная цель Погодина состояла в том, чтобы доказать: русская история столь же интересна, как и история любой великой европейской страны. Над этим подтрунивали. В пору слабого развития знаний о собственном прошлом приходилось убеждать русских, что их тысячелетние корни не обрублены «державным плотником», что древняя и новая Россия состоят в кровном родстве.

Почти все свободное от лекций время молодые люди проводили в трактире «Железном», находившемся поблизости от университета (название его произошло от расположенных в нижнем этаже лавок, торговавших железными изделиями). Хозяин заведения купец Печкин мирволил своим юным клиентам – для них имелась особая комната с музыкальной машиной и полным набором московских и петербургских журналов. Завсегдатаи «Железного» сидели здесь над конспектами лекций, пили чай, курили (что было, кстати, категорически воспрещено в стенах alma mater). Важным достоинством трактира они считали то, что здесь верили в долг. Причем кредитором был не хозяин или приказчик, а половой Арсений, обслуживавший студенческий зал. Этот крепостной ярославец представлял собой своего рода уникум – хорошо грамотный, он прочитывал не только всю журнальную беллетристику, но и критику. Если появлялась где-то какая-то интересная статья, Арсений встречал каждого свежего

посетителя радостным сообщением вроде таких: «А сегодня, ваше благородие, господин Белинский опять критику тиснули. Оченно, доложу вам, забористо вышло». И, расчесав медным гребнем свою окладистую бороду, отправлялся за «парочкой» чая для «господина скубента». Любо было поглядеть, как ладно, проворно он суетится у столов в своем чистеньком синем кафтане, подпоясанном алым кушаком, в красной александрийской рубашке.

Писемский почасту и подолгу сиживал в трактире – в этом своеобразном клубе можно было, не поднимаясь со стула, узнать литературные и театральные новости, пересказы нашумевших статей, словом, получить те сведения, без которых немыслима полноценная жизнь своекоштного студента, гордящегося своей вольностью, считающего себя весьма заметным и ценным членом общества. А для отдохновения от дум – бильярд погонять, послушать, как поет-заливается белокурый малый в студенческом сюртуке – шапочный приятель Алексея Тертий Филиппов.

Но не всегда предавался университетский питомец столь целомудренному времяпрепровождению. Случались и шумные дружеские пирушки, и бесшабашные гонки на лихачах по спящей Москве. Не раз мимохожий приятель, увидев яркий свет в окне комнаты Писемского на первом этаже, перебирался через подоконник и тут же усаживался к зеленому сукну с веером карт. А всклокоченный хозяин комнаты, одетый в какой-то невообразимый халат, предлагал гостю свой длинный чубук. В одну из таких чадных минут из темноты возникло лицо юного стихотворца Полонского, только что поступившего в университет, и хмельная компания услышала: «Что это вы сидите в своей берлоге: ночь лимоном и лавром пахнет». Дикий хохот покрыл его слова, а на следующий день Писемский несколько раз повторял завсегдатаям «Железного» развеселившую его фразу, со смешными ужимками показывал, как возник в раме окна бледный лик восторженного поэта, как надрывала животы честная братия прокуренного нумера...

Случались и другие визиты – куда менее забавные. В неприбранное гнездышко студента-математика мог ворваться «суб» и зачитать расхристанному обществу выдержку из университетского устава, согласно которому инспектор и его помощники могли для лучшего знакомства с бытом своекоштных «в разные часы и всегда неожиданно» посещать жилища таких аматеров по части вольного житья. Ничего особенно страшного за внезапным визитом, конечно, не могло последовать, ибо главный студенческий начальник – инспектор Платон Степаныч Нахимов (брат будущего севастопольского героя-адмирала) был настоящим

отцом молодежи, но отнюдь не суровым ее фельдфебелем и супостатом.

В романе Писемского «Взбаламученное море» есть глава «Платон Степаныч», в которой с портретной точностью описан старый служака.

По мнению одного из литературоведов – современников Писемского, студенческая жизнь представлена в романе довольно однобоко – главным ее содержанием оказывается околотеатральная «политика». Бакланов, имеющий черты портретного и внутреннего сходства с самим писателем, – один из вождей той партии, которая костьми готова лечь за балерину Санковскую и всячески интригует против ее главной «супротивницы» фаворитки директора императорских театров Гедеонова танцовщицы Андреяновой. Перипетии баталий, происходивших во время выходов соперниц на сцену Большого и описанных Алексеем Феофилактовичем, подтверждаются мемуарами современников-театралов.

Студенческие демонстрации, сходки, оскорбления профессоров – это приметы конца пятидесятых – начала шестидесятых годов, когда николаевская дисциплина рухнула и настало время освободительных веяний нового царствования. А в годы учения Писемского ареной самовыражения для юных натур был именно театр. Вся их жизнь окрашивалась переживаниями, испытанными во время чуть не ежевечерних баталий между приверженцами тех или иных фаворитов – и в этом случае наглядно обнаруживалось социальное расслоение между демократической галеркой и респектабельным партером. До прямых потасовок, конечно, не доходило – борьба принимала иные формы, освистание «враждебных» примадонн и премьеров, неуемные восторги по адресу «своих». Так что скандальные выходки питомцев университета не были бездумными проделками шалопаев. Они всерьез воспринимались и властями, так их понимали и сами бедокуры. Начальственные опасения можно понять при желании – театральный зал в сороковых годах бывал наэлектризован донельзя, и одной искры достаточно оказывалось, чтобы вызвать бурю. Если примем во внимание, что театр представлял собой средоточие общественной жизни (все высшее и сколько-нибудь приличное общество ежевечерне съезжалось сюда), то любой театральный скандал расценивался как скандал общественный и едва ли не политический. Ведь оскорбление служащих императорских театров (а таковыми почитались артисты) равносильно было оскорблению самого императора, считали блюстители общественной нравственности, так полагал и сам венценосный покровитель сцены. Именно

поэтому наиболее жестокой цензурой была цензура театральная, и всякое критическое выступление против балетных премьеров или достоинств постановки оказывалось чревато для его автора и владельца издания большими неприятностями. История сохранила немало примеров того, как за освистание артистов виновные высылались из столиц (как тот же П.А.Катенин в 1821 г.), выгонялись со службы, лишались эполет. Когда Писемский сидел в театре, кто-то бросил под ноги танцовщице Андреяновой дохлую кошку. Совершившего дерзость изловили, и он был немедленно этапирован из Москвы.

Заводилы театральных «партий» были своего рода общественными деятелями, за неимением другого поприща проявлявшими свои организаторские и иные таланты в креслах партера или на галерке – смотря по состоянию. Когда в зале, освещенной гигантской люстрой и двумя рядами свечей, идущими по карнизам лож, появлялись группами студенты в новеньких мундирах, в белых перчатках, при шпагах на золоченой перевязи, они выглядели как настоящие боевые отряды, совещающиеся перед осадой крепости. Их заводилы смотрели орлами, явно ощущая себя натуральными стратегами. Частный пристав подозрительно косился на эти кучки, субинспектора тоже встревоженно вертели головами в сторону лож, где особенно густо зеленели студенческие формы. Начальство опасалось не только пакостей, но и особо шумных проявлений восторга – стиль эпохи был таков, что бурные аплодисменты после лекции ставились в вину профессору, вызывали разбирательства со слушателями, а неумеренные восторги в театре тоже понимались как нежелательная демонстрация. Посему даже для устройства шумных оваций необходимо оказывалось составлять своего рода заговор.

Увлечение Алексея Писемского театром не было только пассивным зрительским. Он не забывал и про свои актерские таланты, проявившиеся в гимназические годы. После отрицательного приговора, высказанного Шевыревым, а потом и однокашниками, выслушавшими в исполнении автора «Чугунное кольцо», студент-математик надолго оставил перо, так что обращение к лицедейству вполне закономерно для молодого человека с художественными задатками, но еще не совсем осознавшего свои возможности.

Учась на последнем курсе университета, Алексей сыграл Подколесина из «Женитьбы» Гоголя. Те, кто видел его в студенческом спектакле, утверждали, что Писемский превзошел самого Щепкина, исполнявшего эту роль на императорской сцене. Восторженная оценка товарищей, несомненно, повышала вес

Алексея и как лидера театроманов. Когда он заявлялся в «Железный» и, потребовав у Арсения пару чая и свежий номер «Репертуара русского пантеона всех европейских театров», принимался развивать свои взгляды на актерское искусство, его слушали со вниманием. А понятия молодого Писемского были весьма созвучны взглядам Белинского, выразившимся в статье об игре Василия Каратыгина: «Давайте мне актера-плебея, но плебея Мария, не выглаженного лоском паркетности, а энергического и глубокого в своем чувстве. Пусть подергивает он плечами и хлопает себя по бедрам; это дерганье и хлопанье пошло и отвратительно, когда делается от незнания, что надо делать; но когда оно бывает предвестником бури, готовой разразиться, то что мне ваш актер-аристократ!..»

Вместе с Белинским Писемский предпочитал «сердечного» Мочалова «головному» Каратыгину. В рассказе 1850 года «Комик», на автобиографизм некоторых положений которого указывал сам автор, есть отголоски споров о «классицизме» и «естественности», занимавших московских театралов в начале сороковых годов. Для Писемского эти словесные перепалки были еще очень свежи в памяти, и он не удержался от изложения своего артистического кредо. В «Комике», кстати, тоже играли «Женитьбу» – видимо, творчество Гоголя находилось в ту пору в центре сценических интересов Писемского. Известно, во всяком случае, что Подколесина он играл еще несколько раз, и всегда с огромным успехом...

В университетские годы Алексей частенько заглядывал к своему дяде Бартеневу на Смоленский бульвар – а в этом гостеприимном доме перебывала вся Москва, и юный Писемский не раз видел тех, чьи портреты позднее украсят учебники русской истории.

Юрия Никитича он заставал обычно в гостиной. Дядя по своему обыкновению был одет в серый сюртук с Анненской звездой и Владимирским крестом на шее. Собеседником Бартенева мог быть и светский господин, коротко знакомый со всеми тузами Москвы, но мог сидеть за рюмкой заморского вина ничего в нем не понимающий детина, заросший по самые глаза...

Десятки лет спустя на страницах романов Писемского оживут и дядя – мистик, и его разношерстные посетители, а постаревший Юрий Никитич с оторопью будет узнавать себя и своих друзей в сочинениях племянника.

Гораздо большее впечатление произвело на Алексея посещение оставленного не у дел вельможи князя Голицына. Бывший обер-прокурор Синода и министр народного просвещения почти ослеп и безвыездно сидел у себя в

петербургском доме. Но изредка появлялся и в своем московском особняке, где для него была отделана особая серая комната – этот цвет, по мнению лекарей, благотворно воздействовал на слабого глазами князя. Юрий Никитич был в такие приезды самым частым гостем Голицына, они часами вели задушевные беседы.

Когда дядя и племянник вошли в серую обитель светлейшего князя, хозяин дома сидел в вольтеровских креслах лицом ко входу. Алексею, так много слышавшему о могущественном друге императора Александра и привыкшему представлять себе Голицына этаким маститым старцем в тоге и с лавровым венком на высоком челе, незначительность увиденного им человека показалась попросту обидной.

Но как бы подтверждая основательность рассказов о былом значении князя, на гостей внушительно взирали два самодержца – мраморный бюст Александра I венчал массивные часы на письменном столе Голицына, а несколько в стороне помещалось такое же изображение Николая I.

– Мой племянник, князь, – просто сказал Бартенев, обменявшись рукопожатием с хозяином.

– О-о, молодой человек, должно быть, наследует замечательные качества своего дяди. – Любезно улыбнувшись, Голицын приподнял свой козырек ж подался в сторону Алексея. – Нет, прошу прощения, но ничего не разберу, все сливается, какие-то пятна – и только...

– Возможно, вы сегодня слишком утомились, князь, – тактично проговорил Алексей.

– Вы, наверное, правы, – быстро ответил князь. – Вот и окулисты говорят, что телесного повреждения в моих глазах нет и что это суть нервные припадки; но я прежде бы желал знать, что такое, собственно, нервы?.. По-моему, они – органы, долженствующие передавать нашему физическому и душевному сознанию впечатления, которые мы получаем из мира внешнего и из мира личного, но сами они ни болеть, ни иметь каких-либо болезненных припадков не могут; доказать это я моту тем, что хотя в молодые годы нервы у меня были гораздо чувствительнее – я тогда живее радовался, сильнее огорчался, – но между тем они мне не передавали телесных страданий. Значит, причина таится в моих летах, в начинающем завядать моем архее!

– Как вы сказали? Я не понял последнее слово, – переспросил Алексей, не удержавшись от иронической улыбки.

– Милейший Юрий Никитич, – вместо ответа князь повернулся к Бартеневу, – неужели вы еще не приобщили вашего юного родича к источнику званий?..

– О нет, Александр Николаевич, я мало-помалу просвещаю

его, но пока еще не могу сказать: он наш.

Выслушав его, князь вновь обратился к Писемскому:

– В человеке, кроме души, милостивый государь, существует еще агент, называемый «архей» – сила жизни, и вот вы этой жизненной силой и продолжаете жить, пока к вам не возвратится душа, время от времени оставляющая бренное тело и наблюдающая за ним издали. На это есть очень прямое указание в вашей русской поговорке: «Души она – положим, мать, сестра, жена, невеста – не слышит по нем...» Значит, вся ее душа с ним, а между тем эта мать или жена живет физическою жизнию – то есть этим археем.

Князь помолчал, а потом, погрозив пальцем Бартеневу, сказал:

– Негоже быть скупцом при сокровище! Введите же вашего племянника в храм премудрости!

После этого визита Писемский не раз приступал к дяде с просьбами познакомить его с тайными доктринами ордена, но тот неизменно отказывался.

Но однажды Алексею все же удалось вынудить у Юрия Никитича согласие заняться его просвещением. Произошло это после того, как на расспросы племянника о предметах и людях, виденных у Голицына, Бартенев между делом обронил:

– А что касается швейцара в почтамтской форме, то это не блажь – самые верные ордену люди служат на почтамте. У них даже церковь своя по масонскому обряду расписана...

– Это у Федора Стратилата? – удивленно спросил Алексей.

– Нет, во дворе той церквушки – Архангела Гавриила.

– Дядя, съездимте туда!

Бартенев сначала по обыкновению отнекивался, потом вдруг согласился, видимо, посчитав, что ознакомление молодого человека с догматами вольных каменщиков лучше начать в привычной для него обстановке православного храма.

Однако, когда они приехали в церковь, помещавшуюся на задворках почтамта, и Юрий Никитич стал объяснять значение лепных фигур и надписей на стенах, Писемский даже пожалел о своей настойчивости.

Символов было так много, что вскоре все в голове у Алексея перемешалось и он стал исподтишка позевывать, что не осталось, однако, незамеченным. Дядя вдруг насупился, во взгляде его холодно блеснула знакомая сталь.

– Э-э, да к тебе, братец, в одно ухо влетает... – Он не договорил фразу и досадливо махнул рукой.

Но Юрий Никитич оказался не прав. Хотя ему и не удалось увлечь племянника на стезю познания масонской премудрости,

многое из того, что он ему рассказывал, прочно осело в памяти Алексея. И несколько десятилетий спустя он обстоятельно расскажет об увиденном и услышанном в годы молодости на страницах своих романов. Вот только Бартенев не доживет до того времени, не прочтет ни «Мещан», ни «Масонов»...

Но почему же, повествуя так подробно об этих плохо освещенных закоулках духовной жизни Москвы, Писемский умолчит о том, что было на ярком свету – о словесных турнирах между дружинами Хомякова и Герцена, о публичных чтениях Шевырева и Грановского?..

Трудно упрекать писателя за то, чего нет в его сочинениях. Правильнее всего будет предположить, что автор умолчал в своих книгах о главных событиях кипучей общественной жизни Москвы по каким-то для него существенным причинам. Зная характер Писемского, его нелюбовь к широковещательным заявлениям, ко всякой трескотне, к наставительности, можно сказать: Алексей Феофилактович не хотел явно солидаризоваться с той или иной стороной.

Если исходить из того, что в зрелые годы Алексей Феофилактович станет непременным автором изданий почвеннического, патриотического оттенка, его отношение к идейной борьбе сороковых годов можно бы задним числом определить как прославянофильское. Однако такое допущение представляется искусственным – Писемский всегда пытался остаться вне партий, хотя и не собирался уходить от идейной борьбы своего времени. Случалось, он занимал место в самой гуще схватки, но стремление отстаивать свое собственное понимание истины, не совпадающее с символами веры главных противоборствующих сторон, приводило к тому, что его порицали критики разных направлений.

Подобное отношение к литературно-общественной борьбе характерно для многих русских писателей прошлого века.

Ни Толстой, ни Достоевский, ни Тургенев, ни Лесков не принадлежали к литературно-общественным группировкам, что нередко бывало причиной их идейной изоляции, непонимания со стороны критики. Писателям было тесно в догматических рамках тех или иных направлений, ибо каждый из них искал собственный путь в творчестве. Всякую же попытку сформулировать общую идейную платформу они воспринимали как посягательство на свободу художника. Принадлежа к лагерю прогресса, многие из них подписались бы тем не менее под словами Чехова: «Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист».

Но не только в этом дело. Писемский не хотел, вероятно,

задним числом объявлять о каком-то определившемся отношении своих героев, которых он наделил автобиографическими чертами, к славянофилам и западникам. Слишком уж велик был разрыв в уровне образованности между вчерашними гимназистами Вихровым, Баклановым (а следовательно, и самим Писемским) и главными бойцами враждующих группировок – людьми зрелыми, много видавшими и много читавшими.

Грановский, Редкин, Крылов, Крюков – блестящие профессора, еще совсем недавно слушавшие светил германской философии и юриспруденции в старейших университетах Европы.

Эти люди освоили, как казалось студенческой молодежи, всю премудрость современной цивилизации. Сложнейшие философские категории сделались для них обиходными, чем-то вроде кружкового жаргона. Диалектика, Гегель, Шеллинг, материализм, Петр Великий, прогресс, общественность, эмансипация – вот имена и понятия, коими клялись западники и которые говорили пока очень мало студенту физико-математического отделения, соприкоснувшемуся с миром философских идей только на лекциях университетского священника Терновского, далеко не самого сведущего знатока по этой части.

Увлекали Писемского и идеи Редкина. Образованный юрист возвещал о началах гражданственности, положенных в основание европейских правовых систем, он звал отрешиться от лежалых представлений во имя истины. Читал Петр Георгиевич по-актерски, красиво воздевая руки, величаво поворачиваясь всем корпусом, посверкивая карими малороссийскими очами. Правда, слушателей несколько коробило то, что говорил он с сильным полтавским акцентом: «юридыческий», «радыкальный», «гыперболический», и "г" у него тоже звучало по-украински. Тем забавнее было его пристрастие к варваризмам: абсолют, абстракт, ультрамонтанство, ингредиент, имманентный. Когда в конце лекции Редкин возглашал: «Вы должны быть не только законоведами, но и сынами свободы! Придите, сыны света и свободы, в область свободы!», все восторженно поднимались с места и самозабвенно аплодировали.

А как великолепен был Крюков, читавший древнюю историю! Не только ораторское мастерство и глубокие познания привлекали в нем. Самими манерами своими и изящной наружностью он производил незабываемое впечатление – недаром студенты прозвали его elegantissimus. Даже такой мемуарист, не привыкший раздавать высокие оценки, как С.М.Соловьев, отметил в своих «Записках», что Крюков поразил университетскую молодежь массою новых идей. Он, писал

историк, «ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и затем посеял хорошими семенами, за что и вечная ему благодарность».

Крылов, тоже высокоталантливый ученый-юрист, прекрасно знал римское право и умел так подать свой, казалось бы, сухой предмет, что слушатели сидели затаив дыхание. Да разве можно заскучать, если речь идет о демократии, республике, человеческих правах?! Так бы и остаться профессору Крылову в памяти своих питомцев провозвестником гражданственности, если б не досадная слабость Никиты Ивановича – побирал он взяточки с отстающих студентов за перевод на очередной курс. Впрочем, только богатеньких теребил, в полном соответствии с убеждениями.

Трудно было Алексею Писемскому определиться среди враждующих лагерей – не нравилась ему приверженность западников чужеземным учениям, возмущали их язвительные насмешки над русской стариной, но и «партизаном»[4] славянофильства он не стал. Это объясняется, пожалуй, прежде всего его равнодушием к вопросам веры.

Сотрудничая в таких журналах, как «Москвитянин» или «Беседа», он обычно подтягивал себя до своих сотоварищей по изданию. В годы жизни в Петербурге Писемский общался преимущественно с западнической интеллигенцией, но даже не пытался «вписаться» в новое окружение – напротив, подчеркивал свою провинциальность, даже самый костромской выговор не прятал, а везде и всюду рекомендовался этими «понимааш», «делааш» (вместо «понимаешь», «делаешь»), с аканьем и какими-то невесть что обозначающими словечками, почерпнутыми в чухломском углу. Тот самый земляной аромат, про который впоследствии напишет Анненков, не выветривался у него даже в студенческие годы – каждое лето во время вакаций происходило своего рода причащение духа Чухломы. Когда в 1843 году скончался отец в в Раменье остались три больные стареющие «матери» (так собирательно Алексей и называл их – собственную родительницу и ее двух сестер), далекая родина сделалась еще милее – до слез, до боли. Простенький черный памятник с крестом, притулившийся к стене бедной сельской церкви, плывущие над храмом низкие тучи, то и дело сеющие дождем, крики грачей, зловеще рвущие тишину... Раскисшая глинистая дорога. Мужики, останавливающиеся на обочине, срывающие шапки, кланяющиеся в пояс. Дымок над мокрой красной крышей, окруженной черными безлистыми березами... Да нет, полноте, какое там западничество!

Но – роман Жорж Санд сидя у камина. Толстая пахитоска.

Шотландский плед на коленях. Черный пойнтер, лениво развалившийся у огня. Голос фишеровских часов: Wanderers Nachtlied[5]. Право, господа, не все дурно и гнило на Западе…

Вот так он и проторчал всю жизнь один на юру: то замахиваясь фельетоном на прогрессистов, то язвя по адресу уж больно занесшихся приятелей-русопятов. Зато и доставалось ему от всех – от «Современника» с «Искрой», от Анненкова и Страхова.

Но это будет потом, а пока Алексей впитывает в себя услышанное, несет в свою студенческую келью, чтобы додумать, доспорить с друзьями. По примеру старших они говорят, говорят, говорят иной раз ночи напролет. Время такое стояло – время слов, «умственного беснования», по определению Аполлона Григорьева. В этих совсем небольших компаниях сформировались убеждения, ставшие духовным фундаментом для многих поколений интеллигенции. Над вопросами, поставленными здесь, целый век будут ломать голову лучшие люди России.

Однако главным источником знаний для Алексея Писемского оставался все же университет, а словопрения в гостиных и меблирашках только оттачивали его ум, способствовали осознанию своих убеждений и литературных вкусов. Да хотя бы по времени – шесть часов ежедневно – чтения профессоров занимали в его жизни самое значительное место. Баловства, посторонних разговоров здесь почти не водилось – кому не хотелось слушать, мог встать и уйти прямо посреди лекции. И вообще домашняя, почти семейная обстановка в аудиториях не располагала к буйству. Нравы тогдашнего университета оставались весьма патриархальными – на каждом курсе обреталось с полдюжины отпрысков богатых фамилий, которые появлялись на лекциях в сопровождении гувернеров, дядек. Сии последние помещались возле профессорской кафедры на особых стульях и терпеливо высиживали все долгие часы (перемен тогда не было), иногда потихоньку подкрепляясь домашним пирогом или куском булки. Студенты, сидевшие на скамьях лицом к профессору, настолько привыкли к этим невольникам просвещения, что совершенно не замечали их.

Являясь к восьми утра в университет, Алексей отдавал швейцару шинель и отправлялся в свою аудиторию, откуда уже слышался гомон голосов. Выдвигал из спинки длинной скамьи набитое мочалой кожаное сиденье и, усевшись, раскладывал перед собой бумагу, чернильницу, перья. Он, как и прочие студенты, усердно, почти слово в слово записывая импровизации профессоров. Учебников тогда почти не было, и экзамены сдавали по конспектам. Так что уйти с лекции оказывалось накладно – все равно потом приходилось просить у товарищей записи и

переносить их в свою тетрадь.

В аудиториях Алексей нередко видел посторонних – на чтениях Шевырева не раз появлялись Хомяков, какие-то литераторы, много пароду приходило к Редкину, а у Грановского сиживали Герцен, Кетчер. Само присутствие таких почтенных господ вызывало у Писемского ощущение значимости происходящего и своей сопричастности к поиску научной истины. Но не только это одушевляло его, заставляло всякое утро с радостью спешить на Моховую к знакомому старинному зданию с огромными часами. Его влекло чувство какой-то своей избранности, особой свободы в насквозь казенном и озабоченном мире.

Начало сороковых годов было куда вольнее в сравнении с предыдущим десятилетием, когда в стенах университета выросли такие люди, как Герцен, Белинский и Константин Аксаков. Тем печальнее было сознавать, что скоро этому вольготному житью конец. Близился выпуск, и Алексею приходилось целые дни просиживать в библиотеке, а по ночам разбирать конспекты, накопившиеся за годы учения. Пришло время пожалеть, что учился он не бог весть как прилежно, что посещал не столько лекции своего отделения, сколько бродил по чужим, гуманитарным. По университетскому положению преподаваемые науки делились на факультетские и побочные баллы, полученные на экзаменах по главным предметам, принимались в расчет при определении степени окончившего курс: 4 1/2 в среднем выводе давало степень кандидата, 3 1/2 – степень действительного студента. Баллы же, полученные по предметам неосновным, учитывались только при переводе с курса на курс – а именно по ним успехи Писемского были значительнее. И вот теперь приходилось смириться с мыслью о том, что многие из его товарищей могут горделиво именоваться кандидатами, а он выйдет действительным студентом. Это, помимо соображений тщеславия, давало и разницу в чине, автоматически присваиваемом выпускнику при поступлении на службу – кандидат получал X класс, то есть коллежского секретаря, а действительный студент – XII класс, то есть именовался губернским секретарем. В том, что его ждет чиновная служба, Писемский не сомневался. На те скудные средства, которые могла выделить ему больная мать, нельзя было «эстетически» существовать в столице. А самое главное – он не видел перед собой никаких достойных целей. Волнами накатывало томление по чему-то этакому, без названия, не поддающемуся описанию. Впрочем, отчасти ею можно было определить – в этакое входило ослепительное сияние славы, пылкая любовь некоего

восхитительного существа, изящный комфорт и... потом начиналась область невыразимого... Но вдруг в тупике забрезжил свет – Алексей вновь ощутил тягу к перу и принялся набрасывать одну за другой сцены провинциальной жизни, еще сам точно не зная, куда выведет кривая. Выходило нечто душераздирающее: несчастная женская доля, трагическая любовь, безумие, смерть...

Первая же читка вчерне набросанного произведения вызвала восторг у приятелей. Успех окрылил Алексея, но не настолько, чтобы мысли о будущем перестали тревожить его.

Перспектива остаться без места Писемскому не грозила. Правительство всячески способствовало привлечению на службу молодых людей, вышедших из университета. Его даже волновало то, что многие предпочитают общеполезной деятельности какие-то малопочтенные занятия. Дядя, служивший чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе, зачитал Алексею выдержку из распоряжения: «Многие молодые люди по окончании университетского курса, не поступая на службу, остаются в столице и принимают участие в издании журналов и газет. Таким образом, молодые люди увлекаются на это скользкое поприще, нередко вопреки призванию, и, не имея еще никакой опытности и благоразумия, подвергаются влиянию неблагонамеренных издателей периодических сочинений...» Юрий Никитич явно не одобрял поползновений племянника к сочинительству. «Послужить тебе надо, да не для виду только!»

Вчерашние граждане университетов, может, и не против были отдаться служебному поприщу, но где-нибудь на виду; никого не манила губернская глушь. И все-таки, потолкавшись несколько месяцев в столицах в поисках места, большинство молодых людей без связей однажды отправлялись в контору дилижансов за билетом. До Тулы, до Нижнего, до Тамбова. До Костромы...

Государственные имущества

Когда в дождливый августовский день заляпанная грязью бричка замерла у крыльца родительской усадьбы, навстречу Алексею выбежали только тетки Анна и Варвара да комнатная девушка. «Плоха, плоха голубушка наша!» – всхлипывали старухи, обнимая племянника. Он, нахмурившись, прошел в комнату матери. Тут было полутемно из-за спущенных штор, нудно зудела муха, бьющаяся о стекло. Евдокия Алексеевна, укрытая толстым пуховым одеялом, осталась недвижима, когда сын появился возле ее постели. Только глаза разом засветились радостью и какие-то нечленораздельные звуки вырвались из ее ввалившегося рта. «Обезъязычела матушка-то наша, – с какой-то привычной скорбью шептала горничная. – Вот как схоронили Филата Гаврилыча, так с ей удар и приключился». Алексей присел на подставленный стул, сжал холодную вялую руку матери в своих пылающих ладонях. Попытался сказать что-то, но слезы душили, не давали вымолвить ни слова...

От невеселых мыслей, от гнетущего страха перед мелким и скучным будущим на молодого барина навалилась тягостная хворь именем ипохондрия. Не хотелось есть, не хотелось читать, не спалось, не жилось на свете. Приехал уездный лекарь-немец, выписал микстуру, настаивал, что надо попробовать приложить к вискам пиявки, уверял, будто хворь поправима, ежели пациент постарается представлять вещи как можно более веселого свойства, а все неприятное гнать от себя. В заключение достал номер «Губернских ведомостей», в котором извещалось, сто солигалические соляно-минеральные воды прекрасно помогают от ипохондрии, «которой причина почти всегда кроется в завалах брюшных». А поскольку до Солигалича было рукой подать, советовал съездить, испробовать целебную силу источника.

Прошла осень. Деревья в саду по самые ветви засыпало снегом. Еще до Николы навалились такие морозы, что вся живность куда-то попряталась – ни заячьего следа на сугробах, ни оттиска птичьих лапок на запорошенных подоконьях. Алексей иногда распоряжался заложить санки и отправлялся на прогулку. Но в безмолвных белых полях душе становилось отчаянно одиноко, да еще холод забирался под медвежью полсть и начинал покусывать ноги, и ничего не оставалось, как повернуть назад, к сереющей вдали кучке изб, сгрудившихся вокруг красной крыши барского дома. При въезде в деревню стоял покосившийся полосатый столб с прибитой к нему доской, на которой местный грамотей вывел полууставом: «Деревня Раменье подполковника

Писемского. Ревизских душ мужеска пола 25, женска 30». И неказистый столбик этот, и жалкая надпись подлинным memento mori[6] были для молодого дворянина: мелкопоместный, мелкотравчатый, мелкий...

Но хандра начала проходить. Какая-то отчаянная бодрящая злость говорила: нет, для чего-то немаленького он родился, и удел его будет крут, но прекрасен. И прежде всего – надо служить! Ибо две-три таких зимы, проведенных в ничегонеделанье, и из вчерашнего театрала и бонвивана выйдет заурядный уездный увалень с перьями от подушки в волосах, с пятнами от наливок на сюртучишке...

Однако легко сказать: служить. Где, в каком качестве?

Наведался в Чухлому, побеседовал с предводителем дворянства, с местной администрацией. Последнюю неделю ноября в городе шумела Екатерининская ярмарка, и весь уездный свет съезжался, чтобы поразвлечься. На огромной мощеной площади с утра до заката толокся народ, грудился возле балаганов. Интересного товару почти не водилось – главными предметами здешней торговли были по традиции свинина, коровье масло да сырые кожи, уходившие на заводы по соседним городишкам. Но господа все равно прогуливались между рядов. Велись разговоры о губернских и местных новостях, о хозяйственных видах. Тут-то и можно было, вовсе не задавая вопросов, проведать о вакансиях, прояснить для себя устройство уездных учреждений.

То, что узнал Писемский, оказалось малопривлекательно. На всю Чухлому имелось: дума, городская ратуша, сиротский и словесный суд, канцелярия стряпчего, городническое правление. Больница. Приходское училище. Тюремный замок. Цейхгауз. Винные подвалы. Вот и вся казенная сфера. Как в ней найти поприще действительному студенту?

Нет, надо было перебираться в Кострому – там-то он определенно станет полезным членом общества, да и жизнь кое-какая забрезжит, все не уездное болото. Тетки тоже усердно склоняли Алексея в пользу такого выбора. Да и обратиться к кому было за содействием – управляющим палаты государственных имуществ состоял Александр Павлович Шипов, хоть и неблизкий, но все же родич.

31 января 1845 года Алексей Писемский определился в канцелярские чиновники палаты, а по истечении полутора месяцев последовал указ сената об утверждении его в чине губернского секретаря.

Сослуживцы очень скоро пронюхали об особых отношениях между их патроном и молодым канцеляристом. Кое-кто

заискивал, другие глядели исподлобья, подозревая в нем шпиона. Но видя, что Писемский с жаром предался достаточно скучной деятельности, стали успокаиваться. Алексей Феофилактович начал врастать в быт конторы.

Сам Шипов объявлялся в присутствии нечасто. Он давал общий тон управлению, подбирал людей, а в текущие дела всерьез не вникал, оставляя их на усмотрение советников палаты. Но уж когда становилось известно, что начальство грядет, все преображались – вместо затасканных сюртуков являлись отутюженные вицмундиры, а сторожа с раннего утра скребли полы и снимали тряпками паутину из углов, курили одеколоном. В довершение ко всему от самого крыльца расстилался ковер. Чиновники замирали, как перед грозой, и только легкий скрип перьев раздавался в притихшей конторе.

Но стоило управляющему отбыть восвояси, воцарялась прежняя сумятица. Молодые канцеляристы опять прохаживались от стола к столу, потчуя друг друга табачком, хохоча над анекдотами и ненадолго смолкая только после окрика советника или делопроизводителя. Если являлся кто-нибудь из просителей, все вытягивали шеи, чтобы расслышать, о чем он толкует в продовольственном или рекрутском столе – иной раз могло что-нибудь перепасть и писцу, и прочей шушере, не говоря уж о столоначальнике и его помощнике.

Взятки, конечно, бывали. Но вершились такие дела не при всех, и как бы ни напрягали слух любители мзды, внешнее содержание беседы оставалось в рамках приличий. Подтекст ни проситель, ни благодетель не осмеливались обнажить, и сокровенное решалось позднее, в частном порядке.

Чтобы дать представление о делах палаты, придется несколько расширить рамки повествования, ибо задачи учреждения, где начал свою служебную карьеру Алексей Писемский, были поставлены перед ним несколькими годами раньше. Палаты государственных имуществ являлись губернскими органами министерства государственных имуществ, само создание которого в 1837 году явилось отражением важнейших политических процессов, подспудно воздействовавших на жизнь империи.

Главным тормозом социального и экономического прогресса было крепостное право. Это понимали не только представители передовой интеллигенции; правящие верхи также видели, что в стране усиливается брожение, что вопрос об отмене крепостной зависимости рано или поздно придется решать во избежание серьезных политических потрясений.

С самого начала царствования Николая I в Петербурге один

за другим создавались секретные комитеты, призванные решить крестьянскую проблему. Но каждый раз распускались, ни до чего не дотолковавшись. Страшно было: отпустишь вожжи, а потом уж не удержишь «птицу-тройку». Изорвет постромки, разобьет седоков. Нет, лучше так оставить. У Николая I, который постоянно гримировался под нового Петра, совсем не было потребной самодержцу решительности. Вот почему даже умные и просвещенные министры не могли способствовать усовершенствованию политического строя, и он становился все более отсталым и неэффективным. Единственным исключением в системе правительственных учреждений этого царствования оказалось министерство государственных имуществ, которое было создано в основном для управления казенными крестьянами. Возглавил новое ведомство большой вельможа и широко мыслящий деятель – граф П.Д.Киселев, которого Николай Павлович считал своим главным советником по крестьянскому вопросу. Министр получил в распоряжение как бы огромный полигон, на котором мог отработать сценарий будущего освобождения крепостных и методы управления ими. Таким образом, новое административное звено имело перед собой не просто хозяйственные задачи.

Министерство стало своего рода государством в государстве, ибо ведало всею жизнью казенных крестьян. Не только «благочиние и благоустройство» мужика, но и его просвещение, пропитание, домашний быт оказывались прерогативой нового ведомства. Надзор за крестьянскими судами, издание книжек для народа, устройство так называемых запасных магазинов на случай голода, межевание земель, рекрутский учет – эти и другие вопросы входили в компетенцию чиновников губернских палат. Канцеляристы имели дело напрямую с мужиком, а не с его представителей – барином, как в других учреждениях, связанных с управлением всей остальной территории государства, оставшейся за пределами округов государственных имуществ.

Просвещенный министр, некогда состоявший в добрых отношениях с Пестелем, был сторонником освобождения крестьян с землей. Недаром за глаза называли его Пугачевым – набрав в свой «штаб» людей образованных и передовых, Киселев с рвением принялся за отработку средств будущей эмансипации.

В таком-то учреждении пришлось начать службу Алексею Писемскому. Он пришел сюда с мыслью о том, чтобы облегчить жизнь «государственным имуществам» (ведь мужики-то и входили, главным образом, в это понятие). Но университетский идеализм, мечты о некоем всесословном служении очень быстро пришли в противоречие со скучной действительностью. Во-

первых, слишком уж мал был Писемский и чином и влиянием, чтобы хоть как-то воздействовать на ход дел. Во-вторых, общая атмосфера в присутствии не соответствовала его книжным представлениям о государственной службе. Шутки молодых зубастых елистратишек и губернских секретарей над стариком экзекутором. Сплетни. Читка вслух новостей из «Пчелки» или глубокомысленных наставлений «О сохранении зубов и волосов», «О воде, рассматриваемой как напиток», что помещались в неофициальной части «Губернских ведомостей».

А само так называемое служение! Впору завыть было от тоски, когда неделями приходилось вести какое-нибудь дело о растрате общественных хлебных запасов. Похитчики маскировали преступление усушкою и мышеедом. Приходилось искать свидетелей, кои могли бы опровергнуть ложь, кои присутствовали при заполнении мерных закромов. Но воры оказывались увертливыми: на замечание о том, что по распоряжению министерства в видах правильного сбережения запасов и предохранения хлеба от мышееда велено было завести в потребном количестве кошек, а поверх зерна класть ольховый лист, высоким начальством признанный для мышей губительным – в ответ на это хитители возражали, что кошки из-за холода и темноты в магазины нейдут, а относительно ольхового листа говорили, будто, когда его не было, мыши, поев, уходили, при оном же оставались навсегда, устраивали в нем гнезда и выводили потомство.

Толковать с коллегами о чем-то помимо службы не тянуло. Даже среди молодых не было никого, кто мог бы составить достойную компанию действительному студенту – ни по образованию своему, ни по житейским воззрениям не годились они в товарищи Писемскому. А о стариках и говорить нечего: этих волновали в основном земные заботы. Вот если примчится, к примеру, некто малочиновный с известием о явлении в Кострому волостного головы из глубинки и начнет перебегать от одного стола к другому, шептать про радостное – тогда вострепещет, загудит палата. А какой-нибудь несдержанный бухгалтер энергично потрет ладони да и брякнет: «Ну, значит, чкнем!» Окружные и волостные начальники жили по уездам как владетельные князья и, приезжая в губернию, задавали пиры для нужных людей. Когда человек десять чиновников по выбору самого визитера отправлялись к нему в Hotel du Nord и уединялись в роскошном нумере, гастрономическим утехам, казалось, конца не будет.

Изучив нравы сослуживцев, узнав характер деятельности общего присутствия, хозяйственного и лесного отделений,

доискивавшихся о нарушениях благочиния государственных крестьян, о самовольных порубках и прочих непоэтических вещах, Писемский, должно быть, отчасти разочаровался в открывшемся перед ним поприще. Крупных самостоятельных дел ему, естественно, не поручали, а для всякого молодого энергичного деятеля такое положение невыносимо. Это потом, через несколько лет, когда идея государственности несколько поблекнет в сознании новоиспеченного чиновника и он врастет в быт учреждения, его начнут занимать предметы, может быть, менее всеобъемлющие, зато до службы непосредственно касающиеся.

Вот хотя бы делопроизводителя взять – нашел же себя человек, ощутил вкус к ежедневным своим занятиям. А ведь казалось бы – ничего скучнее нет этой должности: проверка другими подготовленных бумаг. Но достаточно глянуть на содержимые в изумительном порядке орудия на делопроизводительском столе, чтобы понять, какой поэзией может быть овеяна служба. В строгой, продуманной симметрии лежат перочинный нож, карандаш, резина, суровые нитки, форменный шелк для сшивания бумаг, отправляемых в министерство, и, наконец, сандарак. Почему сей последний предмет носил это непонятное имя, никто объяснить не мог. Впрочем, делопроизводитель более привык ласково именовать его «пупочком». Он составлялся из мелко истолченного ладана, оборачивался в белую тряпочку, которая затем туго перетягивалась ниткою. Орудие употреблялось для натирания выскобленного на бумаге ножом места, чтобы при новом написании не расходились чернила. В борту сюртука добрейшего обладателя «пупочка» всегда торчала большая игла для сшивания бумаг, что придавало ему некоторое сходство с деревенским портняжкой.

Когда Писемский учился в Москве, разговоры о всеобщем взяточничестве заранее подготовили в нем отвращение к чиновничеству. Идея всесословного служения понималась им как нечто апостольское – нести свет правды в зловонные берлоги «крапивного семени». Герои романа «Люди сороковых годов» Вихров, готовящийся окончить университет, заявляет: «По всем слухам, которые доходили до меня из разных служебных мирков, они до того грязны, до того преступны даже, что мне просто страшно вступить в какой-нибудь из них». Несомненно, нечто подобное ощущал и Писемский.

Придя на службу в палату, вчерашний студент обнаружил, что взяточничество чиновников действительно широко распространено, хотя брали далеко не все, да не всякий и мог

взять. Советник, бухгалтер, столоначальник – и то не во всяком отделении и столе. А мелкий канцелярист разве что при большой удаче сорвет «безгрешный» целковый. Шепотком поговаривали: берет Шипов.

И все-таки настоящие грабители сидели не в палате, они обретались в низших инстанциях управления государственными имуществами – в округах и волостях. Особенно грели руки лесничие. За несколько лет на махинациях с казенными рощами они сколачивали стотысячные состояния. И сколько бы ни шерстили их служители Фемиды, распорядители по лесной части все оставались «на плаву».

Взяточничество чиновников николаевского времени, ставшее притчей во языцех, порождалось, прежде всего нищенским содержанием «царевых слуг». Так, даже столоначальник в палате государственных имуществ получал 18 рублей в месяц. Не разбежишься. Даже если учесть, что ведро водки стоило рубль, пуд говядины – полтора, сотня яиц – менее рубля, пуд муки – около 10 копеек. Ведь не хлебом единым человек жив. А перчатки, галстуки, духи? А извозчик? Или петушком прикажете бежать в осеннюю слякотищу? Квартиру нанять поизряднее, с отоплением и кухней – за это никак не менее пяти рублей возьмут.

Сохранился примерный бюджет мелкого провинциального чиновника, составленный в начале 1860-х годов Кишиневским областным статистическим комитетом. (Цены в России за это время заметно не изменились.) Исчислен бюджет по минимуму и составляет 12 рублей в месяц. Учтено, что канцелярист употребит за это время 30 фунтов говядины и уплатит за нее 1 рубль 35 копеек, а выделенная особо статья «Баня, лекарства, улучшенная пища на случай болезни, разные духовные потребности» определена в 1 рубль. Статья «Предметы роскоши» – 20 копеек.

Но у Алексея Феофилактовича, если принять во внимание его жуирские склонности, на «разные духовные потребности» должно было уходить несколько больше, чем на говядину, да и «предметов роскоши» он наверняка приобретал не на 20, а хотя бы на 40 копеек. Так что из своего 12-15-рублевого жалованья он непременно выбивался. Трудно сказать, сколько денег доставалось ему от «матерей». В то время денежный оброк в Чухломском уезде достигал 35-40 рублей с тягла. Даже если посчитать доходы усадьбы от эксплуатации земли и леса, то вряд ли годовой прибыток превышал 1000 рублей. Но, во всяком случае, Алексей Феофилактович мог получать в месяц 20-25 рублей вспомоществования. Достаточно для безбедного существования.

Большинство крупных русских писателей XIX века служили, иные дошли до больших чинов, но, пожалуй, никто из них не обнаружил в такой степени, как Писемский, знания быта присутствий, не проникся нравственными понятиями служивого сословия. Он весьма обстоятельно передавал на страницах своих произведений и политические взгляды крупных сановников, и циническую опустошенность служилых неудачников, причем стремился не столько обличить, сколько донести до читателя беспристрастную картину пережитого.

Почти в каждом романе и повести Писемского действуют люди, вынужденные обстоятельствами идти на службу или избирающие этот жребий по своей воле. Герой «Тысячи душ» Калинович «еще на университетских скамейках, но устройству собственного сердца своего, чувствовал всегда большую симпатию к проведению бесстрастной идеи государства, с возможным отпорам всех домогательств, сословных и частных». Когда он становится вице-губернатором, то стремится на практике осуществить свои принципы, вступает в борьбу со взяточничеством и казнокрадством. Павел Вихров («Люди сороковых годов») весьма деятелен в должности чиновника особых поручений, хотя и попал на служебное поприще после высылки из Петербурга. Другие герои романа, делающие карьеру в различных ведомствах, сходясь на дружеские пирушки, толкуют о пользах государственных, о лучшем устройстве управленческого механизма.

Писемского волновали те же вопросы, что и его чиновных героев, – недаром он с такой серьезностью и обстоятельностью передает их мнения. Оттого так реалистичны, достоверны бесчисленные стряпчие, жандармы, тюремные надзиратели, исправники, секретари казенных палат, вся эта людская мелочь с зелеными форменными воротниками, что обретается на страницах книг писателя. Целую энциклопедию служебных типов можно составить по произведениям надворного советника Писемского (VII класс – высшее, чего он достиг). Начиная с теряющихся в дымке прошлого легендарных фигур («Вон у меня покойный дядя исправником был... Тогда, знаете, этакие французские камзолы еще носили... И как, бывало, он из округи приедет, тетушка сейчас и лезет к нему в этот камзол в карманы: из одного вынимает деньги, что по округе собрал, а из другого – волосы человечьи – это он из бород у мужиков надрал».) до лощеных администраторов петербургского пошиба, водворяющих в российской глухомани начала разумного либерализма. От пьяненького архивариуса, одетого в какое-то вретище вместо шинели, до громовержца-министра. Чуть не все ступени табели о

рангах.

До тонкостей зная механику делопроизводства, проведения следствий, писатель как бы мимоходом рассказывает о таких деталях, по которым можно составить весьма точное представление о характере службы, ее вкусе. По Гоголю, Щедрину легко изучать изъяны бюрократической системы. По Писемскому – понять житейскую философию этой системы. Тот поразительный реализм, который подчеркивался современниками писателя, основан прежде всего на глубоком знании, понимании изнутри среды, которую он брался изображать.

Когда основные произведения Писемского стали уже достоянием читателя, близкий друг его Борис Алмазов отмечал, оценивая итоги 25-летней литературной деятельности писателя: "Говоря о влияниях, которые отразились на нашем юбиляре, я должен упомянуть об одном обстоятельстве, которое сильно подействовало на развитие его таланта. Это обстоятельство – его служебная деятельность. Большая часть наших писателей, изображающих чиновничий быт и служебную сферу, знают то и другое только с виду или даже просто по слуху. Они или служили в каких-нибудь канцеляриях и знают службу только по канцелярским формам, или просто только числились на службе и даже мало знакомы с физиономиями своих начальников и еще меньше с физиономиями своих товарищей и подчиненных. Но Писемский отнесся совсем иначе к службе, чем эти господа; он, можно сказать, отдался всею душою служению русскому государству и, служа, только и думал, как бы побороть ту темную силу, с которою борются и наше высшее правительство, и лучшая часть нашего общества... он много принес пользы на службе, хотя никогда не занимал видных должностей. Я укажу вам на одну замечательную сторону служебной деятельности Писемского – на его деятельность как следователя по уголовным преступлениям. Тут он изучал каждого преступника, как изучает добрый и старательный врач каждого больного: оставаясь буквально и неумолимо верен закону, он относился к допрашиваемому преступнику с таким участием, с такою любовью, что и тот начинал любить его и рассказывал ему про себя все потому только, что «уж больно хороший и умный барин».

Палата государственных имуществ, приказ общественного призрения, губернское правление, министерство уделов – во всех этих учреждениях Писемский проявил себя исправным, деловитым чиновником. В служебных аттестатах писателя отмечено, что он дважды повышен в чине за отличие – в коллежские секретари (1849 г.) и в надворные советники (1869 г.). Чинопроизводство за отличие означало передвижение вверх

на очередную ступень на год раньше положенной выслуги; таким образом отмечалось выдающееся усердие. Перед окончательным оставлением службы в 1872 году Писемский неоднократно исправлял должность московского вице-губернатора, будучи старшим советником губернского правления...

За два десятилетия (перерывы не в счет) он насмотрелся и на мошенников, и на идеалистов, и на разного рода «антиков». Только некоторые из них перешли на страницы его произведений, но любой точно из бронзы отлился. Капитан Рухнев – смесь правдолюбца, шпиона и вымогателя – герой, из самых что ни на есть хлябей провинциального хищничества возникший, живой, до осязательности живой. Словоохотливый исправник из «Фанфарона» – такой же натуральный человек. Много их у Писемского. Когда он ставил себе в заслугу, что вывел 800 лиц в своих произведениях, то разумел как раз настоящесть, подлинность их человеческого присутствия на страницах книги. Пьесы, посвященные чиновничьему быту (например, «Подкопы»), не очень-то признанные критикой, шли на сцене с огромным успехом – а зритель в креслах партера и бельэтажа сидел по большей части чиновный, он, выходит, на правду о своем ежедневном так горячо откликался...

Если попытаться в самом общем виде определить Писемского как изобразителя социальных слоев, то можно сказать, что он был описателем чиновничества и крестьянства. Два этих мира, родственно знакомые ему с детства, с первой молодости, «поставили» почти всех основных героев произведений писателя. Мелкопоместное дворянство, в среде которого действуют персонажи Писемского, тоже, по сути дела, целиком вписывается в чиновную сферу. (Вот что писал по этому поводу Ключевский: «При Николае I и местное дворянское управление вводится в общую систему чиновной иерархии... и дворянство превращается в простой канцелярский запас, из которого правительство преимущественно перед другими классами призывает делопроизводителей в свои непомерно размножающиеся учреждения».)

Мужик как литературное явление не был открытием Алексея Феофилактовича. И у Пушкина он есть вживе, и у Гоголя. До выхода «Очерков из крестьянского быта» Россия успела прочесть «Записки охотника», деревенские повести Григоровича... Но вот появляются один за другим «Питерщик», «Леший» и «Плотничья артель». Критики объявляют Писемского провозвестником нового отношения к мужику, родоначальником небывалой ранее словесности.

Когда возбуждение уляжется, в «Современнике» выступит

Чернышевский и, отвергнув претензии критики, пытавшейся с помощью «Очерков» «закрыть» натуральную школу, заявит, что Писемский ни в чем не изменял трезвому взгляду на действительность, утвердившемуся в русской прозе со времен Гоголя, но, напротив, поднял до высших пределов этот реализм. В статье критика-демократа есть важное наблюдение, касающееся мировоззрения писателя: «В „Очерках из крестьянского быта“ г.Писемский тем легче сохраняет спокойствие тона, что, переселившись в эту жизнь, не принес с собой рациональной теории о том, каким образом должна была устроиться жизнь людей в этой сфере. Его воззрение на этот быт не подготовлено наукою – ему известна только практика, и он так сроднился с нею, что его чувство волнуется только уклонениями от того порядка, который считается обыкновенным в этой сфере жизни, а не самым порядком. Если курная изба крепка и тепла, для него совершенно довольно: он не считает нужным беспокоиться из-за того, что она курная. С известной точки зрения, он в этом ближе к настоящим понятиям и желаниям исправного поселянина, нежели другие писатели, касавшиеся этого быта. Они готовы спорить с поселянином, доказывать исправному мужику, что лучше жить в белой избе, нежели в курной, готовы толковать ему о средствах, которыми может его быт улучшиться настолько, чтобы вместо печи, сбитой из глины, могла у него быть изразцовая. Г.Писемский не таков. Он соглашается с Сидором Пантелеевым, что лучше того, чем живет сосед Сидора, Парамон Тимофеев, и жить мужику не приходится – желать лучшего было бы только бога гневить, – и пожалеет о Сидоре только тогда, когда у Сидора не хватает хлеба на год, – согласно тому, что и сам Сидор находит свое житье плохим только в этом крайнем случае. Он не хлопочет о том, чтобы существующая система сельского хозяйства заменилась другою, приносящею более обильные жатвы; он жалеет только о том, когда бывает неурожай. Он не судит существующего».

Знанием народной психологии Писемский во многом обязан службе. Особенно подходящим «наблюдательным пунктом» была палата государственных имуществ, где начал свою чиновную карьеру будущий автор «Очерков из крестьянского быта». Находясь на стыке казенного и мужицкого миров, Писемский имел возможность наблюдать крестьянина в наиболее драматические моменты жизни – ведь именно в таких случаях идет он в присутствие, которое в обычное время за версту обегает. Приходили за правдой, за судом, вдруг открывали канцеляристу душу, чего не делали, может, никогда на миру, в родной деревне.

Но пока еще на календаре 1846 год, и ни о каких зарисовках народного быта нет и не может быть речи. Молодой губернский секретарь ведет жизнь настоящего губернского льва. Выйдя в два часа пополудни из палаты, он садится в только что поданный экипаж и объезжает вокруг бульвара, разворачивается на площади у гостиного двора и велит кучеру неспешно двигаться по Нижней Дебре, где можно увидеть в эту пору не одно хорошенькое личико – в меховой опушке, под вуалью элегантной шляпки. Он сидит прямо, несколько приподняв плечи, чтобы даже в ватной своей шинели с бобровым воротником казаться военным, облачившимся по какой-то прихоти в партикулярное одеяние. Многие из молодых людей в енотовых шубах и модных циммермановских шляпах уже узнают владельца изящного возка и с почтительностью кланяются новому приятному члену дворянского кружка.

По склону к Волге заливалась горка для катания, и в хорошие дни все высшее губернское общество собиралось сюда поразвлечься. В веселой суматохе возникали новые знакомства. Науку страсти нежной Писемский стал познавать в полной мере именно в эти годы. Произведения его, родившиеся в Костроме, посвящены сердечным делам молодых героев.

Все первые месяцы своей службы он работал над переделкой романа «Виновата ли она?», вчерне набросанного еще в Москве сразу после окончания университета. Вспоминая на склоне дней тот год, писатель признавался, что из состояния меланхолии, в которое он впал по приезде из Москвы, его выручила любовь, – она «была уже реальная и поглотила скоро всего меня. Любовь эта мною выражена, во-первых, в романе моем „Боярщина“ – в отношениях Шамилова к Анне Павловне, и потом второй раз в „Людях сороковых годов“ – в отношениях Вихрова к Фатеевой». «Боярщиной» в этом отрывке из автобиографии именуется то самое произведение, что писалось в 1844-1845 годах, когда роман «Виновата ли она?» не был пропущен цензурой, автор сменил название, а прежнее взял для другой повести. И главный герой – вовсе не Шамилов; но ошибка вполне извинительна для писателя, ибо он трижды перерабатывал свое первое произведение, а когда его «зарубили», стал раздирать на части – кое-что перенес в роман «Богатый жених», в том числе и самого Шамилова. А когда появилась возможность издать «Боярщину», главный персонаж ее получил имя Эльчанинова.

История любви молодого человека, вчерашнего студента, к замужней женщине, обреченной жить с немилым мужем, конечно, может быть «примерена» на Писемского только в самом общем виде. Вне всякого сомнения, в действительности дело развивалось

не столь драматично – главная героиня не умерла в помрачении рассудка, не было опасных для жизни любовника моментов, когда грозный муж метался по уезду, горя жаждой мщения. Да и сам Эльчанинов далеко не таков, каким рисуется нам трезвый, насмешливый Писемский. Байронист, загадочно-мечтательный уездный Ромео вызывал у автора явную усмешку, а его образ по ходу развития любовной истории все мельчал.

Костромские «львы», толкавшиеся на балах, на масленичных катаниях, давали наблюдательному чиновнику палаты государственных имуществ немало впечатлений для осмысления. Он и сам отчасти был в ту пору человеком этой печоринской складки – ничего не попишешь, мода такая утвердилась: стоять где-нибудь у колонны и холодно-презрительно оглядывать несущиеся в галопе или кадрили пары. Но, отдавая внешнюю дань поветрию, начинающий писатель беспощадно разделывался с чайльд-гарольдами в своем сочинении. Даже если учесть, что позднее вкусы и убеждения его станут куда более определенными, можно довериться истинности воззрений Павла Вихрова: «Что такое эти Онегины и Печорины? Это люди, может быть, немного и выше стоящие их среды, но главное – ничего не умеющие делать для русской жизни: за неволю они все время возятся с женщинами, влюбляются в них, ломаются над ними; точно так же и мы все, университетские воспитанники...»

Писемский едва ли не первым начал воевать с печоринщиной – прошло только четыре года с тех пор, как вышел «Герой нашего времени», и русское общество (прежде всего молодежь) всецело находилось под обаянием образа «лишнего человека». Надо было быть незаурядной личностью, чтобы не только увидеть фальшь моды на избранничество, но и понять ее социальные корни. Как это ни парадоксально, но именно на дрожжах дворянской сентиментальности взрастали бездельники-себялюбцы, способные походя топтать чужие души лишь потому, что им «так хочется». В начале пятидесятых годов явится целая литература, ставящая целью развенчание надутого кумира («Львы в провинции» И.И.Панаева, «Тамарин» М.В.Авдеева и др.), но не увидевший тогда света роман Писемского не примет участия в борьбе за истинного, естественного человека. А когда в 1858 году книгу напечатают, общество будут волновать уже совсем другие вопросы, и сочинение о провинциальном сверхчеловеке никому не покажется новым словом.

В Костроме хорошо писалось – многие сцены и портреты Алексей Феофилактович брал прямо с натуры. И со временем обстояло неплохо – можно было каждый вечер смело браться за продолжение романа, не опасаясь, что кто-то придет, затянет на

пирушку или в театр. Но отсутствие близких приятелей оборачивалось тем, что начинающему писателю не на ком было проверить достоинство новых глав. Все чаще приходила тоска по Москве, по оставленным друзьям.

Не вытерпев и полугода, Писемский подал прошение о трехмесячном отпуске и, едва Шипов наложил разрешающую резолюцию, отправился в белокаменную приискивать место.

Ясным июньским вечером пропыленная тройка пристроилась в хвост длинной вереницы возов и экипажей, столпившихся перед шлагбаумом Преображенской заставы. Пока едущих по очереди опрашивали в конторе, кто такие и по какой надобности прибыли в Москву, Алексей Феофилактович жадно смотрел по сторонам.

Вот миновали усатого будочника с алебардой. Кони пошли шибче, видно, тоже почувствовали, что скоро конец дороги. Чем ближе к центру, тем гуще толпа, тем пронзительнее крики разносчиков сбитня, калачей, пирогов с требушиной и сдобных филипповских саек. Елеем на сердце ложились эти милые картины московского житья. Неужели нельзя устроить так, чтобы всегда крутиться в этой веселой толчее?..

Как удалось ему определиться в Московскую палату государственных имуществ – то ли дядя посодействовал, то ли собственная настойчивость сыграла главную роль? Но уже в конце октября 1845 года был утвержден перевод Писемского на новую должность в хозяйственном отделении, ведавшем всеми делами казенной деревни вплоть до ее судоустройства.

Роман, к тому времени уже совсем отделанный, ждал своего читателя. Однако Писемский, наученный прежним опытом, не спешил посылать его в редакции. Созвав на чай нескольких товарищей по университету, он устроил читку. Среди приглашенных был и Матвей Попов, учившийся на одном факультете с Алексеем. Выслушав уже первые главы, Матвей, увлеченный, как и все прочие, мастерским чтением автора, заявил: это надо отдать в «Москвитянин». Попов долго был репетитором детей Шевырева, и посему в доме Степана Петровича его принимали как своего. Писемскому, должно быть, неловко казалось напоминать профессору о себе после неудачного опыта с «Чугунным кольцом», но он все-таки дал себя уговорить и вскоре явился для объяснения со строгим критиком.

Шевырев нашел, что вещь написана не без таланта, однако усмотрел и немало огрехов. Главным недостатком молодого автора он считал излишнюю категоричность, исступленность в отношении к героям. Не годится, считал профессор, изображать несимпатичных персонажей звероподобными мужланами, а положительных – херувимами. Ваньковский, отставной

полковник, с первого появления на страницах романа делается понятен читателю как деспот и невежа. А усмешки автора над дворянчиком Шамиловым заставляют предугадывать его ничтожество с самого начала. Да и драматические происшествия что-то слишком устрашающе громоздятся в романе. Видно, не прошли даром увлечения юности и школа первых повестей дает еще о себе знать. Однако чувствуется, что годы, прожитые в уездной глуши, дали автору некоторый житейский опыт, он уже приобрел понимание душевных движений... И все-таки, заключал Шевырев, надо стать еще ближе к действительности. Ведь господин Писемский, кажется, служит? Ну не благородная ли задача – воссоздать в слове быт наших присутствий? Сам Гоголь не чурался сего обширного мира...

Алексей Феофилактович, впрочем, отнюдь не манкировал своими служебными обязанностями. Уже в марте 1846 года он становится помощником столоначальника в лесном отделении, следовательно, его рвение было вознаграждено. Оказавшись на таком месте, с которого очень хорошо виделись бесконечные плутни хранителей казенных рощ, начинающий литератор столкнулся с вопиющими примерами взяточничества и казнокрадства. Вот о чем хотелось написать, но разве позволят выплеснуть все это на страницы журнала? О чиновниках в годы царствования Николая I положено было говорить либо хорошо, либо ничего. Только изредка являлись в водевилях невинные куплетики с насмешкою над секретарями и заседателями, случалось, и в повестях зубоскалили над мелкими чиновниками. А театральная цензура – та столь непоколебимо стояла на страже достоинства служилого класса, что иной раз не допускала именовать в афишах действующее лицо пьесы чиновником, и слово это заменялось «служащим в конторе». Невозможно было представить появление на сцене вицмундира – верхом либерализма почитался какой-нибудь водевильчик «Титулярные советники в домашнем быту».

Так что помощнику столоначальника оставалось пока лишь наблюдать за лихими лесничими. Жили они на широкую ногу, благо спрос на лес держался постоянно, а умному человеку ничего не стоило так составить таксу, чтобы из каждого ствола, из которого выходило два бруса, показывать в бумагах один... Ощущать в себе лихость позволяла и сама форма – чины лесного ведомства, поставленного на военную ногу, имели право носить эполеты и султаны на треуголках. На языке того времени это уподобление армейским офицерам именовалось «облагораживанием» служащих. Что ни говори, а престиж военных стоял в обществе выше всего. Недаром один из

министров посчитал достаточно суровой мерой наказания переименование нерадивых офицеров корпуса лесничих в гражданские чиновники...

Но большинство обитателей бесчисленных контор выглядели весьма неказисто: заштопанные и залатанные вицмундиры, вытертые до блеска, потрескавшиеся от старости сапоги, щеки кое-как выбриты в подвальной берлоге дешевого цирюльника. И ко всему этому нередко сивушный душок с самого утра. А уж в обеденное время в трактире или «растеряции» перед каждым из чиновных посетителей красовался зеленоватый графинчик. Молодые служащие поначалу избегали этого обыкновения, но мало-помалу и их убеждали в благодетельности предтрапезного приема. Немалую роль в этом приобщении к хмельным напиткам играла богатая алкогольная философия стариков.

Позднее на страницах произведений Писемского явится целая галерея героев, охочих до хмельного. Уже первая крупная вещь его, появившаяся в печати, будет посвящена судьбе спившегося человека. Потом пойдут пьяненькие актеры, чиновники, озверевшие от вина мужики, дикие во хмелю обитатели глухих усадеб.

Да и сам писатель, много лет вращавшийся в такой среде, приобретет со временем склонность к употреблению спиртного. Однако тогда, в недолгую пору службы в Москве, он явно сторонился запивающей чиновной мелюзги, старался держать барский тон. Посему, заказывая платье, он отправлялся не в подслеповатое заведение, украшенное вывеской «Ваеннай и партикулярнай партъной Иван Федарав», куда в основном обращались его сослуживцы, а предпочитал из кожи вон вылезти, да пошить сюртук у «Marchand tailleur de Paris»[7].

Годы спустя он с усмешкой будет вспоминать эти свои поползновения в аристократизм и станет беспощадно расправляться на страницах своих романов с провинциальными фанфаронами, из последних сил франтившими на стогнах столицы. Но много воды утечет, прежде чем он начнет понимать тех канцелярских сидельцев, которые равнодушно отзывались на упреки молодых фатов: «Так что же, что запылился сюртучишко? Пыль не сало, потер, так и отстало».

Бывая на Смоленском бульваре у дяди, Писемский видел там таких особ, о существовании которых у них в палате только слыхом слыхали. И уже эта причастность к верху как бы обязывала его блюсти свое реноме. Юрий Никитич, хорошо понимавший племянника, нередко трунил над ним и призывал к углублению в себя, к познанию истины. Однако дальше приглашений к самопогружению дело не шло, Бартенев все

откладывал посвящение племянника в «замысел Великого Архитектора». Видно, ждал, когда пристрастие его к мирским благам поугаснет и над житейской трезвостью, свойственной всем Писемским, возьмут верх идеальные стремления…

После занятий в присутствии Писемский нередко отправлялся в кофейню Печкина. Знакомое со студенческой поры место сбора московских литераторов и актеров привлекало начинающего писателя возможностью общения с пишущим людом, кое-кому можно было и почитать отрывки из своего романа. Не исключено, что в глубине души Алексей Феофилактович ожидал не замечаний, а восторгов, за тем и шел на шумное литературное торжище.

Матвей Попов, также заглядывавший к Печкину, раз появился в компании полного молодого человека с широким татароватым лицом. Он представил приятеля Писемскому: «Александр Николаевич Островский, товарищ мой по гимназии». Когда выяснилось, что новый знакомый не просто рядовой служитель коммерческого суда, но еще и пописывает пьесы, что он знаком с Тертием Филипповым и некоторыми другими университетскими однокашниками Алексея, беседа оживилась. Вскоре стало ясно, что литераторов объединяет сходство взглядов на жизнь. Решено было собраться для прочтения друг другу своих вещей. Так вышло, что Писемский одним из первых услышал комедию, несколькими годами спустя сделавшую имя Островского известным всей читающей России. Начинающий драматург жил в замоскворецком доме своего отца. Именно здесь Алексей Феофилактович познакомился с еще не напечатанным «Банкрутом» (это название было впоследствии заменено на «Свои люди – сочтемся»). Пьеса, хотя еще и неокончательно отделанная, произвела на гостя-костромича большое впечатление – сочный народный язык, мягкий русский юмор выгодно отличали сочинение двадцатитрехлетнего драматурга от тех водевилей и пьесок, что заполняли тогдашнюю сцену.

Около полутора лет прожил на этот раз в Москве Алексей Писемский, но как сильно отличался его образ жизни от студенческого! Прежде его существование было каким-то безалаберным – модные лекции, беседы за полночь, пирушки, карты, театр, сердечные увлечения занимали главное место в жизни; мысли о высоком предназначении, конечно, тоже иногда тревожили молодого жуира, но осуществление великих замыслов все откладывалось до будущих времен. Теперь, узнав чиновничью стезю, он уже не предается маниловским мечтаниям. Надо трудиться, надо писать – успех не придет сам по себе…

В январе 1847 года, выйдя в отставку, Писемский уехал на

родину. Мотивы его решения не совсем ясны. Думается, не последнюю роль сыграло намерение всерьез посвятить себя писательству. Уже полтора месяца спустя после приезда из Москвы Алексей выслал Шевыреву свой новый рассказ «Нина» и, кроме того, сообщил профессору, что роман переделан в соответствии с его указаниями: «Смягчил и облагородил, по возможности, многие сцены; а главное, обратил внимание на характер Ваньковского (мужа моей героини) и, если можно так выразиться, очеловечил его». Развязавшись со службой, Писемский лихорадочно работал, явно надеясь наконец опубликоваться – у него уже почти не было сомнений в своем истинном назначении. Впрочем, он еще не дерзал открыто объявлять об этом: «Примите, Степан Петрович, по доброте вашей участие почти в судьбе моей... я прошу вас об этом не столько как автор, сколько как человек: я пишу давно, пишу, манкируя моими практическими обязанностями, но труды мои были келейные и ни разу не венчались успехом, и потому я еще не знаю, есть ли это мое истинное призвание, хоть почти всем для этого жертвую».

Шевырев исполнил просьбу Писемского и помог определить «Нину» в петербургский журнал, но не в солидные «Отечественные записки», «Современник» или «Библиотеку для чтения», указанные автором, а в дышавший на ладан «Сын Отечества», где печатались всякие случайные сочинения, немало пострaнствовавшие по другим редакциям. Но и то минуло почти полтора года, пока безбожно искромсанный, местами до неузнаваемости переписанный рассказ наконец появился на страницах журнала. Понятно, что истомившийся от ожидания автор был только раздосадован таким дебютом.

После существенной переработки своего первого романа Писемский долго сомневался, отправлять ли его Шевыреву. Неловко, казалось автору, заставлять почтенного профессора во второй раз быть ходатаем по его литературным делам. Но тут представилась оказия – в Москву ехал земляк – студент Колюпанов, учившийся на выпускном курсе университета. Он взялся доставить сочинение Степану Петровичу для передачи в какой-нибудь солидный журнал.

Однако «Виновата ли она?» попала к другому профессору – совсем молодому тогда М.Н.Каткову. Он-то и отнес ее московскому представителю редакции «Отечественных записок» А.Д.Галахову. Уже в конце марта издатель журнала А.А.Краевский получил от своего поверенного письмо, в котором говорилось: «Принес мне Катков повесть какого-то Писемского, под названием: „Виновата ли она?“. Прочту и перешлю вам, если она того стоит, с моим мнением».

Как выяснилось, произведение неведомого автора «того стоило», ибо вскоре оно уже было в Петербурге и, как одобренное редакцией, представлено в цензуру. Содержание романа, по внешности безобидное, возмутило стража благонамеренности – в ту пору, после европейских событий 1848 года, вообще боялись всего, везде видели потрясателей основ.

«Виновата ли она?» – да одно название настораживало: не слишком ли полемично, милостивый государь? А кто виноват? Тэ-э-эк-с... зверовидный деспот законный супруг... между прочим, таинство браковенчания совершалось, господин сочинитель – это что для вас, баран чихнул?.. петербургский сановник тоже сладострастник редкий... а между прочим, с министрами дружен... ну вот, и договорились бог знает до чего: уж и губернатор не властен... благодарим покорнейше, все поняли: общество виновато. Лучшие и виднейшие его представители! Высочайшими милостями и наградами взысканные. Вот кто виноват! А эта ваша дамочка, эта севрюга снулая, видите ли, умучена скверным обществом... Нет, милейший, коли у вас столь угрюмый взгляд на вещи, ворчите там у себя в Чухломе, а молодое поколение смущать, к высшим чинам непочтение сеять – не позволим...

Неудача с печатанием романа в «Отечественных записках» немало опечалит автора. Впрочем, это будет несколько позже. А пока он живет в родительском доме ожиданием лучшего. До него не скоро доходят известия из большого мира, но если и доползают, то все какие-то грозные, устрашающие.

В ночь на 6 сентября в центре губернского города вспыхнул пожар. Перед тем стояла продолжительная жара, деревянные кровли (а таких было большинство) иссохли, и сильный ветер с Волги стал подхватывать головни от загоревшегося строения, пламя быстро распространилось вдоль всей Никольской улицы. Пожарные, суматошно носившиеся от дома к дому со своими зелеными бочками и холщовыми рукавами, не могли совладать с огнем. К утру сгорело 118 домов и старинный Богоявленский монастырь. Гигантское пожарище чадило еще два дня, пока наконец все тлеющие остатки жилищ не были залиты командой.

Но на следующий же вечер занялся еще один дом неподалеку. Караульщики на этот раз оказались расторопнее и не дали разлиться бедствию.

Однако прошел еще день, и измученные горожане увидели новое зарево над засыпающим городом. На этот раз стихия разгулялась вовсю – сильнейший ветер погнал пламя по Русиновой улице, и оно слизнуло около сотни зданий.

Легко представить себе, что значило бедствие для города с

населением в 15 тысяч человек. Выгорел почти весь центр с самыми красивыми и крупными строениями. Народ роптал, искал поджигателей. Неумелые, нераспорядительные действия администрации во время пожара и после, когда стали устраивать погорельцев, вызвали широкое недовольство. Запахло бунтом.

Обо всем этом стало известно в Петербурге, и с целью успокоить разгоревшиеся страсти в Кострому был назначен военным губернатором светлейший князь А.А.Суворов, внук прославленного полководца. Новый глава администрации не стал по старой традиции пускать в ход силу, а действовал мерами убеждения. Толковал с простолюдинами, уговаривал их смягчить гнев на неправедных чиновников и полицейских. И в самое короткое время достиг полного успеха. Суворов пробыл в губернии мало – уже в январе 1848 года его отозвали к месту новой службы. Но память о себе князь оставил надолго. Когда осенью 1848 года Алексей Феофилактович приехал в Кострому, он только и слышал что восторженные рассказы чиновников о человеколюбивом губернаторе.

Писемский, вероятно, и раньше вернулся бы на службу. Но помешала холера. Как раз весной этого года эпидемия, уже давно опустошавшая южные губернии, добралась и до северной России. Суеверные тетки Писемского считали, что редкостное знамение, бывшее в Чухломском озере, предвестило мор. 11 мая во время сильного ветра над водной гладью поднялся гигантский крутящийся столб. Смерч с огромной скоростью ринулся к городу, но, не дойдя какой-то сотни метров, разбился о крутой берег. Клокочущая масса воды обрушилась на прибрежное мелководье и потопила несколько лодок в Рыбной слободе. А уже через неделю пришли «Губернские ведомости», извещавшие о начале эпидемии. Холерный комитет, созданный в Костроме, распорядился учредить в уездных центрах и больших торговых селах больничные дома на случай появления страшной гостьи. Помещики сидели по своим усадьбам, не решаясь носа высунуть, и питались самыми дикими слухами о ходе холерного нашествия. С мая по июль умерло несколько сот человек, многие тысячи переболели. Только в августе было объявлено, что опасность миновала.

Можно предположить, что именно в это лето Писемский приобрел ту фантастическую мнительность, о которой рассказывали все знавшие его.

Через три года после пережитой эпидемии писатель изобразит в пьесе «Ипохондрик» человека, убежденного в том, что всевозможные болезни избрали его своей жертвой. В последнем действии комедии при известии о появившейся за 500 верст

холере он лишается чувств. Конечно, образ ипохондрика Дурнопечина не автопортрет, но симпатия, с которой описан чудаковатый герой пьесы, говорит, что автор с пониманием относился к его мнительности.

А у пожилого Писемского страх перед простудами и иными хворями сделается навязчивой идеей. Он по нескольку раз на дню будет обкладываться горчичниками, избегать есть ягоды и фрукты, да и других начнет заклинать не губить себя. И про холеру он станет вспоминать каждое лето...

В соседнем с Чухломой уездном городе Галиче жил университетский приятель Алексея Феофилактовича. Поселившись в Раменье, Писемский часто гостил у него, случалось, заживался по неделе. В гостеприимном доме хорошо работалось; повесть «Тюфяк», вчерне законченная в сорок восьмом году, почти вся написана здесь. Там же Алексей Феофилактович впервые увидел Надежду Аполлоновну Свиньину, вдову широко известного в двадцатые-тридцатые годы писателя и дипломата. Свиньина появлялась в городе из недальнего имения довольно часто, случалось, привозила и восемнадцатилетнюю дочь Катю. Хорошенькая собой, умная и недурно воспитанная, девушка произвела на молодого писателя неотразимое впечатление, и вскоре он попросил ее руки...

Став женихом и невестою, они не разлучались целыми днями. Те, кто видел их в эту осень, находили, что это весьма подходящая пара – очень худой, подтянутый молодой человек с выразительным смуглым лицом и длинной курчавой шевелюрой, и такая же стройная, изящная Кита (так ласково звал ее Алексей). Говоря о ней, он то и дело декламировал из «Гамлета»:

Белый голубь она
В черной стае грачей.

А невеста, от кого-то услышавшая, что Писемский чем-то напоминает Грановского, постоянно повторяла это подругам, многозначительно добавляя: «А Грановский известный красавец».

Галич, расположенный на берегу большого озера, дугой выгибающегося под крутыми склонами холма, на котором еще виднелись остатки древних укреплений, был куда богаче Чухломы. Главная улица, застроенная большими барскими домами, была вымощена; начиналась она от торговой площади, вдоль которой тянулись белокаменные ряды. По этой улице, упиравшейся в приземистый острог с толстенными решетками на окнах, каждый вечер двигались туда и обратно прогулочные коляски, и среди них легкий лакированный кабриолет Алексея

Феофилактовича. Перебирая синие вожжи, Писемский сидел вполоборота к невесте, как бы вовсе не замечая устремленных на них взглядов, но она то и дело заливалась краской, встретившись глазами с кем-нибудь из знакомых. И это ее смущение еще больше вдохновляло жениха. «Офелия! Офелия!» – восторженно шептал он.

Алексею тем еще приятна была семья его будущей тещи, что здесь царил нешуточный культ литературы и всего изящного. Надежда Аполлоновна, в девичестве носившая фамилию Майкова, была родной сестрой петербургского академика живописи Николая Майкова; сыновья его стали известными литераторами: Аполлон – поэтом, Валериан и Леонид – критиками.

В семье Свиньиных благоговейной памятью было окружено имя Павла Петровича. Он основал журнал «Отечественные записки», написал несколько романов, собирал русские древности и вообще разбрасывался на множество дел – занимался живописью, коллекционировал монеты, исследовал жизнь русских изобретателей-самоучек, работал над «Историей Петра». И во многом преуспел – его выбрали в Академию художеств, собрание Свиньина, составленное из произведений Брюллова, Кипренского, Щедрина, Мартоса, Фальконе и других крупнейших тогдашних живописцев и скульпторов, оказалось одним из лучших собраний отечественного искусства.

Писемский, вероятно, чувствовал, что, породнившись с таким своеобразным семейством, он как бы примет на себя обязательство быть на высоте его «эстетических» интересов.

Предстоящая женитьба заставляла Алексея задуматься и о ближайшем будущем. Меньше всего оно виделось как деревенское затворничество. Он молод, энергичен, честолюбив, Катя юна, красива – им надо жить в обществе, там, где движение, веселье, умственное брожение... Вновь предстояло идти служить – как ни крути, а маленькие средства не позволят держать порядочный тон.

6 октября Писемский вернулся на чиновное поприще. А 11 октября сыграли свадьбу.

В поисках героя

Кострома, за один год пережившая два больших опустошительных бедствия, жила теперь как-то опасливо, словно не веря, что полоса несчастий миновала. Даже рождество вышло какое-то невеселое – одни еще носили траур по родственникам, другие стеснялись резвиться среди общего горя. «Губернские ведомости» то и дело сообщали об отмене праздничных визитов и внесении вместо того посильных сумм в фонд благотворительности. Помощь шла в основном погорельцам, копошившимся на кое-как обстроенном пепелище.

Но мало-помалу жизнь брала свое. Мимо припорошенных снежком обугленных развалин летели лакированные санки. Раздавался смех у закопченных стен Богоявленского монастыря. Гремела по вечерам духовая музыка в Дворянском собрании. Начинавшемуся оживлению весьма способствовал новый начальник губернии, любивший веселье, обожавший обилие милых дам перед своим троном. Да, именно трон напоминало кресло, устанавливавшееся на балах для генерал-майора Ивана Васильевича Каменского, с лета 1848 года воцарившегося в Костроме.

Не только по соименности с суровым самодержцем прозвали губернатора Иваном Грозным. Резок, скор на расправу был генерал. Все дрожало перед ним не только на службе. Даже нечиновные богатые дворяне, привыкшие помыкать всеми, робели при появлении Каменского. В том доме, который почтил своим вниманием отец губернии, начиналась какая-то восторженная беготня хозяев и их гостей; добрых полчаса проходило, пока уляжется чреватая обмороком радость, пока продолжится своим чередом баталия на зеленом сукне, а общество с прежней игривостью станет отплясывать гросфатер.

Иван Васильевич не только наполнял громом вселенную, он и дело свое хорошо знал. Взяточники его как огня боялись. Энергичный администратор с первых же шагов по костромской земле заявил себя гонителем и искоренителем всякой неправды, причем орудием расправы нередко становился увесистый генеральский кулак. Кстати, неосторожность Каменского по этой части и была причиной его перевода в Кострому с прежнего губернаторского «стола». Он ударил вице-губернатора, и тот нажаловался на утеснителя в Петербург. Но и на новом месте «Иван Грозный» не утихомирился. Рассказывали о таких его внушениях: слышали-де, проходя мимо губернаторского дома, стон из открытого окна (в первом этаже помещалась канцелярия).

А когда спросили у стоявшего на крыльце сторожа, кто болезнует, получили ответ: «Сегодня Сам сердит, правителя канцелярии неловко задел, зуб вышиб, вот бедолага и охает».

К этому-то громовержцу определился на службу Писемский. Первые полгода он состоял младшим чиновником для особых поручений при костромском военном губернаторе Каменском без жалованья. И, видимо, проявил себя деятельным, толковым исполнителем, ибо в мае 1849 года был по представлению «Ивана Грозного» определен на такую же вакансию с жалованьем.

В то время должность чиновника для особых поручений считалась весьма важной. Занимавший ее человек был, что называется, на виду, перед ним заискивали даже большие чины. Ведь он являлся лицом, приближенным к губернатору, вроде статского его адъютанта. Кроме того, чиновник этот представлял собой, в сущности, следователя по особо важным делам, а также по тем делам, к которым в той или иной мере были причастны местные власти в уездах. Оттого приезд такого должностного лица в уездный город почитали крупным событием, за гостем почтительно ухаживала вся местная верхушка, начиная с предводителя дворянства.

За два года Писемский провел несколько крупных следствий, исполнял не очень-то приятные задания по борьбе с расколом, посещал тюрьмы и арестантские дома. Добросовестность и аккуратность нового чиновника были замечены и оценены. Губернатор стал относиться к нему подчеркнуто дружелюбно, неизменно шел навстречу его просьбам. Возможно, и литературные занятия Алексея Феофилактовича способствовали этому – все-таки нечасто встречались в губернских присутствиях люди, печатающиеся в столичных журналах...

Многие эпизоды, относящиеся к службе чиновника особых поручений, нашли отражение в произведениях писателя. Причем, вспоминая спустя десятилетия свои костромские годы, Писемский передавал увиденное и пережитое весьма точно, вплоть до деталей. Самый глубокий след в его душе оставили два дела по уничтожению старообрядческих молелен. Во всяком случае, именно об этой стороне деятельности Павла Вихрова, героя «Людей сороковых годов», с особой обстоятельностью повествовал автор романа.

Герой книги, как и его прототип, сам Алексей Феофилактович, определился чиновником особых поручений. Писемский вскоре после своего поступления на службу в течение нескольких месяцев занимался в Совещательном комитете по делам раскола и раскольников, даже был назначен секретарем этого секретного органа, учрежденного незадолго до того по

высочайшему повелению в «неблагополучных» губерниях. По рапорту Писемского канцелярия костромского губернатора завела в июне 1850 года дело «Об уничтожении раскольничьей часовни в селе Урене» (в романе оно переименовано в Учню). Секретарь комитета объявил, что из запечатленной (то есть опечатанной) молельни похищены иконы. Полиция провела дознание и, открыв виновных, украденное вернула под замок. Но, поскольку часовня сильно обветшала, сквозь прохудившуюся крышу лило и иконы находились под угрозой гибели. А для того чтобы предотвратить новую попытку хищения, нужно было учредить караул. Последнее оказалось не по средствам администрации, и посему губернатор направил ходатайство в министерство внутренних дел об уничтожении молельни...

Эта история весьма характерна для тогдашней системы управления. Николаевские чиновники по-разбойничьи налетали на селения старообрядцев, крушили скиты раскольников в лесных урочищах, свозили в узилища консисторий (местных органов правительствующего синода) книги и образа. В сырых подвалах костромского Ипатьевского монастыря грудами лежали великолепные иконы древнего письма, рукописные и старопечатные книги. Чиновники духовного ведомства, изъявшие все это у своих жертв, потом им же потихоньку и перепродавали то, что не было признано за еретическое поношение догматов православия. «Возмутительные» же изображения (вроде икон, на которых присутствовали протопоп Аввакум или другие апостолы старой веры), писания расколоучителей попросту уничтожались.

Понятно, что ретивые консисторские служители и чиновники секретных комитетов терзали старообрядцев не за ересь, а за то, что в их лице Древняя Русь как бы высылала защитников народной самобытности и духовной свободы. Раскольники считали, что мир стонет под игом антихристовой власти, они отказывались молиться за царя и его семейство – это был, по сути, протест политический, он и определил остроту противоборства. По всей стране рыскала духовная полиция и громила «якобинские клубы» (так именовало пристанища раскольников III отделение). Господствующая церковь еще во времена Екатерины пошла навстречу старообрядцам – было учреждено так называемое единоверие. В лоне его последователи раскола могли пользоваться старопечатными книгами и дедовского письма иконами. С них требовалось одно – признать главенство над собой духовных пастырей, рукополагаемых православными епископами, признать и богопоставленность светских властей. Но, принимая единоверие для виду, старообрядцы продолжали тайно отправлять свое богослужение.

Довольно равнодушный ко всей этой «пре», Вихров, получивший однажды задание «накрыть» в лесной молельне таких мнимых единоверцев, вопрошал настоятеля из неблагополучного прихода:

"– Зачем было и вводить это единоверие? Наперед надобно было ожидать, что будет обман с их стороны.

– Как зачем? – спросил с удивлением священник. – Митрополит Платон вводил его и правила для него писал: полагали так, что вот они очень дорожат своими старыми книгами и обрядами, – дали им сие; но не того им, видно, было надобно: по духу своему, а не за обряды они церкви нашей сопротивляются".

Вот против этого зловредного духа и воинствовало казенное православие, да еще коронных чиновников призывало себе на помощь.

Когда Писемский получил задание уничтожить молельню в Урене, он отправился в дальний Варнавинский уезд не в лучшем настроении. При его религиозном и житейском свободомыслии заниматься разорением часовни! Описывая двадцать лет спустя чувства Павла Вихрова, Алексей Феофилактович, вне всякого сомнения, воскрешал в памяти собственные переживания в давний июньский день, когда в сопровождении уездного исправника и управляющего Уреньским удельным отделением приступал к исполнению своей миссии. «Я здесь со страшным делом (сообщал кузине герой романа. – С.П.). Я по поручению начальства ломаю и рушу раскольничью моленную и через несколько часов около пяти тысяч человек оставлю без храма, – и эти добряки слушаются меня, не вздернут меня на воздух, не разорвут на кусочки; но они знают, кажется, хорошо по опыту, что этого им не простят. Вы, с вашей женскою наивностью, может быть, спросите, для чего же это делают? Для пользы, сударыня, государства, – для того, чтобы все было ровно, гладко, однообразно; а того не ведают, что только неровные горы, разнообразные леса и извилистые реки и придают красоту земле и что они даже лучше всяких крепостей защищают страну от неприятеля... Я ставлю теперь перед вами вопрос прямо: что такое в России раскол? Политическая партия? Нет!.. Религиозное какое-нибудь по духу убеждение?.. Нет!.. Секта, прикрывающая какие-нибудь порочные страсти? Нет! Что же это такое? А так себе, только склад русского ума и русского сердца – нами самими придуманное понимание христианства, а не выученное от греков. Тем-то он мне и дорог, что он весь – цельный наш, ни от кого не взятый, и потому он так и разнообразен. Около городов он немножко поблаговоспитанней и попов еще своих хоть

повыдумывал; а чем глуше, тем дичее: без попов, без брака и даже без правительства. Как хотите, это что-то очень народное, совсем по-американски. Спорить о том, какая религия лучше, вероятно, нынче никто не станет».

Религию Писемский всегда воспринимал с культурно-исторической точки зрения, мистические и политические мотивы оставались чужды ему. Поэтому в словах Вихрова, точно передающих мысли самого писателя, сказалось непонимание глубоких социальных корней раскола. В религиозную форму по условиям времени и общественного развития в течение многих веков облекались политические движения. Под знамена раскола стекались недовольные и гонимые. Это, однако, не значит, что старообрядчество было социально однородным – были в этой среде и богатые купцы, и промышленники, и крепостные крестьяне.

Секретарю Комитета о раскольниках не раз пришлось участвовать в делах подобных Уреньскому. Документально засвидетельствовано, что Писемский уничтожил также раскольничью часовню в деревне Гаврилково ближнего к Костроме Нерехтского уезда. Будучи человеком подначальным, он не мог отказаться от исполнения неприятных поручений. Это, кстати, подтверждается тем, что в те же годы другой будущий писатель-классик – П.И.Мельников – производил в соседней Нижегородской губернии такие же набеги на пристанище ревнителей прадедовских заветов. А когда николаевское царствование кончилось, он выступил с проповедью веротерпимости, создал в своих произведениях привлекательные образы борцов за народную самобытность, приверженцев духовной свободы – ведь именно свое, пусть искаженное, даже фантастическое понимание истины отстаивали эти наивные, но нравственно цельные люди...

К оправданию Писемского – если, конечно, есть нужда в такой реабилитации – в погромах, подобных Уреньскому и Гаврилковскому, чиновнику особых поручении не приходилось активно воздействовать на ход событий. Важен был факт присутствия вицмундира, а до личности его носителя никому не было дела. Появление представителя губернатора как бы освящало, узаконивало творимые местными администраторами утеснения.

Совсем иной оказывалась роль Писемского, когда он отправлялся расследовать запутанное уездным исправником и его полуграмотным помощником уголовное дело. Нередко случалось, что за приличную взятку не только укрывались преступники, но преследование их по закону вообще не возбуждалось.

Писемского привлекала в этой должности редкая возможность делать разнообразные, тончайшие психологические наблюдения – человек стоял перед следователем часто застигнутый врасплох, в таком напряженном состоянии, что пускал в ход всю свою изворотливость, весь духовный потенциал.

Перейдя в приказ общественного призрения, а затем в губернское правление, Писемский отошел от ведения дел, подобных описанным выше. Однако при чрезвычайных обстоятельствах ему и позднее приходилось исполнять правоохранительные функции. Когда в мае 1851 года разбойники ограбили под Кадыем почтовую карету, шедшую из Макарьева в Кострому, Писемский в числе других чиновников участвовал в розысках банды, «шалившей» на дорогах губернии. В «Людях сороковых годов» есть глава «Разбойники», которая, надо полагать, тоже основана на личных впечатлениях автора романа...

Возвращаясь из долгих отлучек в свою уютную квартирку, нанятую в двухэтажном доме на углу Ивановской и Горной улиц, Писемский подолгу не мог приняться за литературные труды – требовалось писать обстоятельные отчеты и рапорты. Да и с сыном-первенцем хотелось повозиться; маленький Павел Алексеевич, родившийся в марте 1850 года, был, как говорили, вылитый отец, так что впечатлительному молодому родителю представлялись иногда, что он видит самого себя – младенца. А через два с половиной года семейство Писемских еще увеличилось – миловидного крепыша Николеньку все признавали маминым сыном...

За усердие Алексея Феофилактовича на год раньше положенной выслуги произвели в коллежские секретари. Однако не чин давал ему видное положение в обществе, а близость к губернатору. Образование не очень-то ценилось – выученики университетов были, как тогда выражались, не в авантаже, их отправляли служить по канцеляриям. Другое дело правоведы (выпускники Училища правоведения) – эти составляли сливки губернского общества. Сразу с учебной скамьи они попадали на должности прокуроров, стряпчих, помощников председателей палат. В Костроме при Писемском было трое таких баловней судьбы. Правоведы не только выдавались в чиновной среде, но и в обществе решительно блистали. Они отличались прекрасным салонным воспитанием, изящно одевались, сыпали светскими фразами на безукоризненном французском языке. Одного Писемский с портретным сходством изобразит в «Тюфяке». Внешние черты сердцееда Бахтиарова, его манера держаться заимствованы у губернского «льва», заставлявшего трепетать юных костромских помещиц: «Одет он был весь в черном, начиная

с широкого, английского покроя, фрака, до небрежно завязанного атласного галстука. Желтоватое лицо его, покрытое глубокими морщинами и оттененное большими черными усами, имело самое модное выражение, выражение разочарования, доступное в то время еще очень немногим лицам».

Повесть, которая позднее получила название «Тюфяк», была набросана еще в пору галичского сидения. Поступив на службу, Алексей Феофилактович несколько раз принимался отделывать ее, дополняя бытовые картины свежими наблюдениями. Думается, и опыт семейной жизни наложил отпечаток на это произведение о неудачной женитьбе. Сам-то Писемский явно считал, что ему в этом смысле повезло, но с тем большей пытливостью вглядывался в нескладные союзы, что нередко возникали в людной, богатой женихами и невестами Костроме.

Костромская жизнь, в которой пять лет варился Писемский, представляла собой достаточно обширное поле для наблюдений. Случались тут и свои злодеяния, и трагедии, и комического можно было увидеть немало. Водились умники, пьяницы, гамлеты и безоглядные циники. Не составляло труда развлечься совсем в столичном тоне – было бы на что. И любые плоды просвещенного разума мог вкушать любознательный костромич, стоило лишь выписать петербургские и московские журналы да следить за объявлениями книгопродавцев. Впрочем, общество не сильно изнуряло себя чтением серьезных сочинений – в лучших домах царили Поль де Кок, Эжен Сю, Дюма. Приятель Писемского Нил Колюпанов, начавший свою службу в Костроме в конце сороковых годов, свидетельствовал: «В каждом доме, имеющем претензии на образование, получалась „Библиотека для чтения“, книжка которой ожидалась с нетерпением и обходила целый кружок: Сенковский отлично сумел приноровиться к требованию публики – все в журнале, и беллетристика, и критика, и даже научные статьи – изготовлено было на вкус людей, желающих веселиться. Серьезные журналы вроде „Телескопа“, „Телеграфа“ и позже „Отечественных записок“ мало проникали в провинцию тридцатых и сороковых годов; ими интересовались там „ученые“ по профессии или по личному вкусу, но последних было очень мало».

А Писемский сообщал летом 1851 года издателю «Москвитянина» Погодину, просившему Алексея Феофилактовича приискать для журнала подписчиков: "По желанию вашему я тотчас же начал распространение вашего журнала и уже продал за нынешний год один экземпляр... Нынешний год большого распространения не надеюсь, потому что прошло более полугода (впрочем, по моему настоянию еще один экземпляр

выписывается); но другое дело на будущий год, мы вотрем каждому Исправнику, Городничим и Головам – это берется сделать ваш старый знакомый наш Виц-Губернатор князь Гагарин.

Насчет мнения о вашем журнале скажу то, что в обществе у нас ни о каком журнале не имеют никакого мнения в силу того, что думают о совершенно других предметах, а журналы получают так, для блезиру, для тону – и обыкновенно их только перелистывают".

Каковы были эти «совершенно другие предметы», что занимало костромское общество? Колюпанов тоже задавал подобный вопрос, когда полвека спустя думал рассказать о годах молодости деловитым, вечно озабоченным людям конца века:

«Что же делало, для чего жило и о чем заботилось это большое общество дам и кавалеров, старых и молодых?»

Ответом на это служил термин, современному поколению неизвестный, но в «доброе старое время» для всех возрастов и для обоего пола составлявший и цель, и заботу, и интерес жизни – веселиться! Современное поколение, выросшее в иных условиях, не знает, что значит веселиться, и старики, грустно покачивая головой и вспоминая былое, говорят: «Нет нынче веселья, не умеет молодежь!»

Да, губернский город хотел отдохновения – неизвестно от чего. И молодые и старики. Никого не волновали мировые вопросы, даже тех чайльд-гарольдов, что появлялись в обществе со скорбной миной на лице и часами простаивали возле колонны, скрестив руки на груди, льдисто посверкивая стеклышком монокля. На самом деле им тоже не стоялось на месте при виде лихо отплясывающих судейских чиновников и хорошеньких дочек подгородных помещиков... Читать «физиологические очерки»? Натуральная школа? Подите прочь с вашей ипохондрией, с вашими неуместными сатирами. «Губернские ведомости» прямо-таки заходятся от восторга. Их галантный, знающий тонкое обращение редактор Николай Федорович фон Крузе ликует: «В настоящую зиму Кострома веселится более, нежели когда-нибудь. Для истинного и общественного веселья нужны не великолепные залы, не пышные и роскошные балы, но радушные хозяева и веселые гости; в тех и других здесь нет недостатка. Если общество костромское немногочисленно, то к чести его должно сказать, что в нем заметны единодушие и приязнь, а это главное в небольшом городе. Здесь все слито в одно; нет слоев в обществе, нет интриг и зависти, как нет гордости и церемонности; везде согласие и простота, оттого и все приятно. Бывают премилые частные вечера, где гости, ожидаемые и встречаемые радушными хозяевами, веселятся от души до поздней ночи, без натянутости, и не

привозят домой скуки. Кроме того, четыре раза в неделю дается спектакль в театре, два абонемента и два бенефиса. Ложи и кресла бывают почти всегда полны, что доказывает в посетителях любовь к искусству и желание поддержать его». Да нет, тут не просто взаимная приязнь! Все настолько сблизились в этом бесконечном хороводе веселости, что впору о родстве заговорить. Вот хотя бы бал новогодний взять: «Все наше общество, соединившись как бы в одну родную семью, встретило этот великий день в жизни человека общим собранием, единодушным весельем... Бал этот был оживлен как нельзя более непринужденным удовольствием и веселыми танцами, продолжавшимися до утра; туалеты дам были свежи, милы и даже богаты, обличая и в провинции уменье одеваться со вкусом и к лицу. Пожелаем, чтобы общество Костромы навсегда сохранило свой прекрасный характер».

Даже много лет спустя, когда интересы русского общества решительно переменились, в любой компании находился ровесник Писемского, который подсаживался к писателю и ворчал насчет того, что нынешние опостылели ему своей вечной озабоченностью, какой-то непонятной болтовней о гуманизме, о долге интеллигенции перед мужиком. Нет, толковал «человек сороковых годов», что бы там ни говорили вечно недовольные прогрессисты, а начальство не только ведь воровало, как думают господа недоучившиеся семинаристы. Оно о вверенных ему делах пеклось. Алексей Феофилактович хоть и не был ретроградом, но в чем-то соглашался с брюзгой. Вот хотя бы в той же Костроме: и городские сады устроились на загляденье, и Верхнюю Дебрю губернатор велел привести в божеский вид. Была бог знает какая трущоба, а вышел преотличный бульвар, сделали лестницу, террасу. Был даже слух, что заведут на благоустроенном возвышении гулянья с музыкой.

Кто хотел, тот мог до упаду веселиться. То и дело какие-нибудь развлечения выходили. То семик – иди в Татарскую слободу, смотри, как девки водят хоровод кругом завитой березы. То через неделю всехсвятское гуляние в Ипатьевской слободе – опять хороводы, питейные заведения под полотняными навесами. Еще неделя минет – Девятая ярмарка: ходи, приценивайся к наилучшему хрусталю и фарфору, разглядывай картины, ройся в развалах книг, осматривай лошадей.

Но если уж вы непременно захотели бы «умственных беснований», то и на этот предмет у вас нашлись бы сотоварищи. У Писемского объявился сначала приятель Колюпанов, а несколько позже Алексей Потехин, прибывший в свите нового губернатора Муравьева «на имеющуюся открыться вакансию»

(открывались они по изгнании кого-нибудь из особо заворовавшихся или неспособных). Потехин сразу сильно расписался, и друзья виделись чуть не каждый вечер – толковать о литературе, новостях, знакомить друг друга с новыми сочинениями. Хотя Алексей Феофилактович и по годам и по положению был старше, они вскоре перешли на «ты». Свои произведения приятели читали часто по листам, по главам, по мере того, как новая вещь писалась. В основном это были повести и пьесы Писемского – Потехин редко и со страхом решался прочесть что-нибудь свое, так как, прослушав одну из ранних работ Алексея Антиповича, писатель со свойственной ему откровенностью заявил:

– Ты бесспорно умен и берешь только умом, а таланта в тебе я не вижу.

Являлся к Писемским и любознательный юноша-гимназист Сергей Максимов, также горевший желанием сделаться литератором. Хозяин дома с интересом слушал его рассказы о глухом посаде Парфентьеве, родине Сергея, и однажды заметил ему, что при таком знании простонародного быта и языка грех не заняться писательством – нынче, говорил Алексей Феофилактович, петербургской да московской публике знай давай про мужика. Каких только «Очерков России» и «Картинок русских нравов» не найдешь в книжных лавках. И пишут-то люди, всего несколько раз выбиравшиеся из столицы в деревню, ну, натурально, соврут – недорого возьмут...

Прослышав о том, что в Костроме живет автор, печатавшийся в петербургском журнале, к удачливому сочинителю потянулись местные романисты и поэты. Он даже не подозревал до этого, что в губернии столько утонченной публики. Многие дамы просили Алексея Феофилактовича поспособствовать публикации их произведений, отставные майоры слали воспоминания в стихах.

Но вообще его литературная известность была микроскопической до самого выхода «Тюфяка». Рассказ «Нина», опубликованный в «Сыне Отечества», Писемский и сам не любил вспоминать, а на чтениях романа «Виновата ли она?» бывало совсем немного народу.

Переломным оказался 1850 год.

Алексей Феофилактович ждал, что в то лето наконец напечатается в «Отечественных записках» его первая, дважды перелицованная вещь. Но цензура так и не дала разрешения на публикацию, и уставший ждать автор совсем приуныл. Однако решил попробовать пристроить новое свое сочинение (оно покамест именовалось «Семейные драмы»). Писемский был уже рад самой мизерной плате, какую давали переводчикам, – 7

рублей за лист, и на любое название соглашался. Упреждая цензурные придирки, он писал: «Главная моя мысль была та, чтобы в обыденной и весьма обыкновенной жизни обыкновенных людей раскрыть драмы, которые каждое лицо переживает по-своему. Ничего общественного я не касался и ограничивался только одними семейными отношениями». Это слова из письма А.Н.Островскому. О старом московском приятеле Алексей Феофилактович вспомнил, прочитав в «Москвитянине» когда-то слышанную в авторском чтении пьесу «Свои люди – сочтемся». Он обратился к Александру Николаевичу в надежде, что тот пристроит повесть о провинциальном рохле Бешметеве.

Алексей Феофилактович жаловался на «убийственную жизнь провинциального чиновника», сетовал, что пишет по большей части в стол и оттого-де опускаются руки. Посему он посылал Островскому только первую часть своих «Семейных драм», а вторую, еще не до конца отделанную, даже не мог заставить себя довести до нужного глянца. Вот если бы редакция приняла начало повести, у него б крылья выросли... Ах, как хотелось, наконец, напечататься! Устные похвалы слушателей убеждали его, что он пишет не хуже многих, даже тех, кто заполняет своими сочинениями страницы самых почтенных журналов. «В произведении моем, опять повторяю, Вы можете изменить, выпустить все, что найдете нужным по требованию цензуры. В практическом отношении, я прошу Вас, если возможно, продать его и тоже за сколько возможно».

В начале сентября 1850 года издатель «Москвитянина» Погодин получил от своего молодого сотрудника рукопись Писемского. И уже через два месяца повесть появилась в журнале. Первый гонорар был назначен по 20 рублей за лист. Не очень-то расщедрился прижимистый Михайло Петрович. Но автор и тому был рад – помилуйте, отхватить зараз 250 целковых! Да иной чиновник два года будет за такие деньги горбиться. Это потом, лет через восемь, когда ему станут платить по две сотни и больше за лист, Алексей Феофилактович себе настоящую цену узнает...

«Тюфяк» – вот какое название из нескольких предложенных автором выбрал Погодин. И пошла гулять эта повесть по широкой Руси. Много дал бы, наверное, автор ее, чтобы заглянуть в души русских юношей, до черноты зачитывавших те номера «Москвитянина», где была помещена история неудачной женитьбы Бешметева. Успех превзошел самые смелые ожидания Алексея Феофилактовича.

Критика дружным хором произносила хвалы новому дарованию.

Самые солидные издания поместили рецензии на «Тюфяка».

Рдея от гордости, Алексей Феофилактович прочел в «Библиотеке для чтения»: «Писемский с первого шага попал на настоящую дорогу, и потому мы вправе ожидать многого от его таланта. Писемский высказался не в тесной рамке какого-нибудь быта, но в воспроизведении самых разнообразных и противоположных явлений общественной жизни... В произведении г.Писемского нет пристрастия к тому или другому лицу; он не увлекается нравственными преимуществами одного лица перед другими, не возвышает одних в ущерб другим, но с беспристрастием художника, поставившего себе целью быть верным природе, воспроизводит каждое из них со всею искренностью и чистотою таланта...» «Современник» выразился не менее благожелательно: «В повести г.Писемского на первом плане – характеры. И посмотрите, что это за живые лица! Каждое из них мы видели, кажется, где-то; о каждом из них слышали где-то, и с большею частью из них был знаком каждый читатель в своей жизни... Написана повесть языком бойким и живым, полна наблюдательности и отличается светлым взглядом автора на предметы. Во взгляде этом столько ума, столько неподдельного, практического здравого смысла, что автору безусловно во всем веришь и желаешь только одного – чтобы он писал больше и больше...»

Да и было отчего прийти в возбуждение – оказывается, в его лице нежданно-негаданно объявился вполне зрелый мастер с каким-то совсем небывалым взглядом на вещи. Правда, Писемскому казалось, что критика не сумела определить вполне точно его замысел, но правильно почувствовала его отрицательное отношение ко всяким формам идеальничанья. Смущало Алексея Феофилактовича и то, что его поспешили зачислить в отрицатели, в партизаны натуральной школы. А он вовсе не сходился с ними, ибо отрицатели, показывая несправедливость, тем самым вопияли против нее, романтически оплакивали ее действительных или мнимых жертв.

Десяток лет спустя в критике еще не окончится борьба за свое, по мнению каждого, единственно правильное прочтение повести, и большая часть толкователей по-прежнему будет видеть в «Тюфяке» протест против невыносимого порядка вещей, хотя уловить идейную направленность самого автора было не так-то легко – «его воззрений и отношений к идеалу вы нигде не встретите, они даже и не просвечивают нигде. Он никому не сочувствует, никем и ничем не увлекается, ни от чего не приходит в негодование, никого не осуждает и не оправдывает. Грязь жизни остается грязью; сырой факт так и бьет в глаза; берите его как он есть, осмысливайте, осуждайте, оправдывайте –

это ваше дело; голос автора не поддержит вас в вашем критическом процессе и не заспорит с вами» (Писарев). Но – «критический процесс» спровоцирован, а посему угадана как будто и сверхзадача писателя.

«Крестный отец» повести А.Н.Островский напечатал через полгода после ее появления рецензию в том же «Москвитянине» на отдельное издание «Тюфяка». В соответствии с собственными взглядами на задачу искусства согласно с журнальной позицией в пору складывания нового руководства «Москвитянина» (так называемой «молодой редакции») драматург не усматривал в разбираемом сочинении никакой особой тенденции. «Что же сказал автор своей повестью? Что за мысль вынесли нам из его души созданные им образы? Не то ли, читатели, что для жизни нужны известные житейские способности, которых нельзя заменить ни благородством сердца, ни классическим образованием, и людям, лишенным этих способностей, по малой мере приходится завидовать какому-нибудь Бахтиарову и досадовать на его успехи в обществе?» Не будучи критиком-профессионалом, добродушный Островский не сумел с достаточной ясностью определить новизну художественного метода Писемского, но все-таки верно указал на существенные черты его прозы: «Эта повесть так хороша, что жаль от нее оторваться. Прежде всего поражает в этом произведении необыкновенная свежесть и искренность таланта. Искренностью таланта мы назовем чистоту представления и воспроизведения жизни во всей ее непосредственной простоте, чистоту, так сказать, не балованную частыми и ослабляющими художественную способность рассуждениями и сомнениями, ни вмешательством личности и чисто личных ощущений. В этом произведении вы не увидите ни любимых автором идеалов, не увидите его личных воззрений на жизнь, не увидите его привычек и капризов, о которых другие считают долгом довести до сведения публики. Все это только путает художественность и хорошо только тогда, когда личность автора так высока, что сама становится художественною».

Исключая отдельные недоброжелательные выпады, критика в целом благосклонно отозвалась на явление Писемского. Ободренный успехом, он словно одержимый каждый день мчался со службы прямо домой и садился к письменному столу. Еще в пору деревенского затворничества Алексей Феофилактович набросал сцены тогда никак не названной повести и на живую нитку скрепил их в сюжетной последовательности. Теперь писатель с огромным увлечением работал над этой вещью, и она легко, изящно выстраивалась день ото дня. Едва в

«Москвитянине» закончилось печатание «Тюфяка», новое сочинение, уже совсем готовое, села переписывать Кита – почерк у нее, считал писатель, был не чета его собственному.

В январе нового, 1851 года Писемский объявляется в Москве с рукописью «Брака по страсти». В доме Погодина на Девичьем поле его ждал восторженный прием. Тут собралась вся «молодая редакция» «Москвитянина». Первым подошел к Алексею Феофилактовичу стройный молодой человек в простонародной поддевке и в смазных сапогах. Удлиненное лицо обрамляла небольшая бородка. Серые глаза смотрели серьезно, пытливо.

– Наш главный мыслитель – Аполлон Александрович Григорьев, – с улыбкой представил Погодин.

– А я вас давно читаю, – сказал Писемский. – Еще со студенчества ваши рецензии в «Репертуаре и пантеоне» помню – завзятый я был театрал… Но, позвольте, сколько же вам лет тогда было? – вы ведь, на мои глаза, моложе меня.

– Я как критик с двадцати двух лет печатаюсь.

– А у меня в «Москвитянине» и того раньше начал, – заметил Погодин.

– Да, это в сорок третьем было, за год до «Пантеона» – вы, Михайла Петрович, вирши мои тиснению предали.

Подошли еще двое – тщедушный, с миниатюрными чертами лица Борис Алмазов и лощеный, одетый в отличие от других членов кружка по новейшей парижской моде, Евгений Эдельсон.

– Вишь ты, все критики на Писемского слетелись – чуют пчелы, где медом пахнет, – добродушно усмехнулся Михаил Петрович.

– Так ведь действительно для нас сочинения Алексей Феофилактовича поживу дают немалую, – вполне серьезно ответствовал Эдельсон. – У кого еще из современных писателей найдешь столь обильную пищу для мысли?

– Полноте, господа, какой уж я мыслитель? – запротестовал Писемский. – Даром что на философском факультете учился, а к этой ученой сухотке невыразимое отвращение питаю… Впрочем, разрешите от всей души поблагодарить вас, Аполлон Александрович и Евгений Николаевич, за прекрасные разборы моего несовершенного творения.

– Кстати, Алексей Феофилактович привез с собой нечто новенькое, – заметил Островский, сидевший все это время над каким-то старинным фолиантом – ими был завален весь кабинет Погодина.

– О, приятно узнать об этом, – проговорил молчавший доселе Алмазов, самый молодой из всей компании.

– Еще приятней услышать это сочинение в исполнении автора

– смею вас уверить, что Алексей Феофилактович выдающийся чтец, – сказал Островский.

– В чем же главная мысль вашей новой работы? – поинтересовался Эдельсон.

– Насмешка над мелкими натурами, претендующими на любовь, – ответил Писемский, доставая из портфеля рукопись «Брака по страсти».

...Задавленный долгами франтик Хозаров, чем-то смахивающий на Хлестакова, соблазненный рассказами о мнимо огромном приданом, женится на пустой, инфантильной кукле – Мари Ступицыной. А когда выясняется, что мечтаемое богатство существовало только в воображении лживого папаши Ступицына, «любовь» как дым улетучивается.

Сюжет не бог весть какой занимательный. И, однако, повесть имела успех, может быть, больший, чем «Тюфяк». Разумеется, главная причина читательского внимания к «Браку по страсти» в том, как написано это небольшое произведение. Хотя проза Писемского и носила следы гоголевского влияния, мастерство молодого литератора было вполне зрелым. Привлекала опять-таки новизна, незаемность отношений к Вечной Теме. В ту пору усмешки над любовью могли показаться просто бестактными, будь «Брак по страсти» исполнен менее тонко. Но прозаик виртуозно балансировал на грани пародии и натурализма, так что в разговорах героев повести авторское отношение к романтическому словоблудию едва брезжило.

Все тут есть: и расхожий жоржзандизм в духе времени, и позерство, и отголоски читанных многоречивыми героями повести Марлинского, Чуровского, Поль де Кока. Словесная щекотка друг друга. Но можно поручиться, что именно так и вели любовную охоту хозаровы и их партнерши по игре.

Позднее в Костроме Писемский не раз возвращался мыслью к спорам в погодинском доме, как бы вновь переживая бурную дискуссию, вызванную прочитанной им повестью о похождениях Хозарова. Затронутые им вопросы стояли в центре внимания читающего общества. Вышедший в 1847 году роман Герцена «Кто виноват?» стал одним из самых заметных явлений в тогдашней словесности. Не улеглись еще и страсти, разбуженные «Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголя – там тоже немало места посвящено было «женскому вопросу». Жорж Санд находилась в зените своей славы, вызывая безусловное поклонение у одних и столь же безусловное отрицание у других. Писемский вполне разделял оценку Белинского, считавшего ее провозвестницей великого будущего царства Любви. С тем большим вниманием отнесся он к высказываниям Аполлона

Григорьева, высоко ценившего недавно умершего критика, хотя и несогласного с некоторыми его оценками.

– Белинский понимал глубоко значение Гоголя в литературе, любил его с детским обожанием. – Григорьев на минуту задумался, остановившись перед большим портретом автора «Мертвых душ», украшавшим стену погодинского кабинета. – Представьте же себя на месте Белинского: человек страдал, болезненно воспитывал идеи в своей душе, мечтал разгадать пути гения сообразно с этими идеями, и вдруг мечта его разбита вдребезги; обоготворенное им предстало ему в совершенно ином виде, лучшая опора его сокрушена. «Не судите да не судимы будете»: пожалейте об этой бедной, томившейся в узах страдания, мраке и скорби, но благородной, хотя и заблуждавшейся душе; не скажу – простите ее, ибо что такое человек, чтобы прощать?.. Негодование, злость и грусть, которые дышат в его письме к Гоголю, проистекали не из мутного источника; грех есть преступление закона, а не заблуждение в законе. Мир памяти страдавшего брата, слово мира и любви да произнесется над этим бедным прахом!

– Я этого знаменитого письма к Гоголю, признаюсь, не читал, – не привелось, знаете, в губернской глуши. Опасаются у нас такие сочинения переписывать. Не дай бог узнает жандарм... Но что касается «Переписки с друзьями...», – на лице Писемского появилось такое выражение, будто он проглотил какое-то горькое снадобье. – Особенно эти его поучения – «чем может быть жена для мужа».

– Не могу с вами согласиться, – горячо возразил Григорьев. – Гоголь возвел вопрос о месте женщины в нашем обществе к его высшему началу, возвратил красоте ее таинственное и небесное значение, и довольно! Еще больше: он указал на средства, которыми владеет женщина. Но, мне кажется только, что он забыл коснуться темной стороны вопроса. Вся современная литература есть не что иное, как, выражаясь ее языком, протест в пользу женщин, с одной стороны, и в пользу бедных, с другой; одним словом, в пользу слабейших.

– Да я вовсе не о том печалюсь, что Гоголь позабыл похвалить Жорж Занда. Мне тон его генеральский претит, – объяснил Писемский. – Что же касается взгляда его... Я, знаете, в годы студенчества сам изрядным жоржзандистом слыл. Помню, спорили мы как-то до хрипоты с такими же, как я, желторотыми мыслителями. Я громче всех кричал: «Женщина в нашем обществе угнетена, женщина лишена прав, женщина бог знает в чем обвиняется!» Больше того – я Жорж Занда чуть не в религиозные учителя произвел: "Она добивается прав женщинам! Как некогда

Христос сказал рабам и угнетенным: «Вот вам религия, примите ее – и вы победите с нею целый мир!»

– Вот-вот, – подал голос Погодин. – Но что-то пророчица ваша требования всех этих прав женских как-то весьма односторонне заявляет – в одном только пункте: по собственному усмотрению менять свои привязанности.

– Никогда не соглашусь с вами, почтеннейший Михайло Петрович, – закипел Григорьев. – Чего хочет Занд, если действительно может что-либо определенно хотеться поэту, действительно носящему в себе страдания, страсти и стремления целой эпохи? Вероятно, не того, чего хотели бы для женщины фурьеристы, то есть четырех законных мужей и способности двадцать раз на день удовлетворять похотям тела.

– Господа, не кажется ли вам, что спор завел нас далеко в сторону от Гоголя и его «Переписки»? – насмешливо заметил Алмазов.

– Ничуть! – Григорьев раскраснелся, глаза его горели одушевлением – он явно настроился на долгий разговор. – Я как раз хотел вернуться к истоку беседы... Везде и повсюду женщина является тем, чем она должна быть в Христовом царстве: стихиею умягчающею, важною везде; и повсюду брак – святыня. Не отвергнете вы и того также, что современный быт семейный и наш русский семейный быт в особенности куда как далеки от христианского идеала.

– Господа, господа! – решил вмешаться Писемский. – Ни одна, вероятно, страна не представляет такого разнообразного столкновения в одной и той же общественной среде, как Россия; не говоря уж об общественных сборищах, как, например, театральная публика или общественные собрания – на одном и том же бале, составленном из известного кружка, в одной и той же гостиной, в одной и той же, наконец, семье вы постоянно можете встретить двух-трех человек, которые имеют только некоторую разницу в летах и уже, говоря между собою, не понимают друг друга! Вот мы с вами, единомыслящие, казалось бы, люди, а в главном – в идеале! – никак не сойдемся... Что же касается предмета нашего спора, то скажу только, что портрет Жорж Занда до сих пор висит у меня над рабочим столом, хотя ныне я далек от того, чтобы провозглашать ее апостолом небывалой веры. И наконец по поводу образца для наших барышень и дам. Не стану ссылаться на изобретения поэтической фантазии. Немало найдется достойных женщин, которые отвечают моему идеалу: несуетна, семьянинка, кротка, но не слабохарактерна, умна без педантства, великодушна без рисовки, несентиментальна, но способна к привязанности искренней и

глубокой.

– Вы да Александр Николаевич не даете нам заплутаться в эмпиреях, – заметил Эдельсон. – Все время стаскиваете нас с книжных подмостков, тычете как кутят в живую жизнь. Что ни говори, а занятия критикой исподволь приводят к тому, что начинаешь все на свете поверять литературой, выдуманными персонажами и страстями.

– Охотно подпишусь под вашими словами, дорогой Евгений Николаевич, – с обезоруживающей улыбкой заявил Григорьев. – Если б не трезвый, строгий взгляд автора «Тюфяка», мы бы так и не нашлись, что противопоставить правде Круциферской и Бельтова.

– О, прошу вас, не надо меня никому противопоставлять, колотить моим «Тюфяком» почитаемого мною господина Герцена.

– Что вы, Алексей Феофилактович, никто из нас и в мыслях не держал этого, – снова вступил в разговор Эдельсон. – Ведь это обсуждение сугубо келейное, не для журнальных страниц. Но уж позвольте мне как-нибудь печатно выразить вам нашу признательность за то, что вы тронули вопрос любви с такой оригинальной стороны. Я хочу, чтобы все увидели, что мысль, лежащая в основе повести, вынесена не из теоретического понимания, но из многосторонних наблюдений над жизнью, что, одним словом, сама жизнь натолкнула вас на эту мысль.

Заметив, что собеседники изрядно утомились, Григорьев перебил друга:

– Все, заканчиваем! Я только резюмирую, что Алексей Феофилактович покарал в своих повестях расхожее представление страстей и отношений. Насколько такая задача его таланта исторически необходима в нашей литературе, видно из самого беглого взгляда, кинутого на ее недавнее, предшествовавшее состояние. На одну повесть, где с правдивой и притом драматической стороны взяты совершенно законные требования и совершенно незаконное им противодействие, найдется куча вялых и безобразных по духу и по форме произведений, обязанных своим бытием напряжению эгоизма, желанию драпироваться плащом Ромео. Попомните мое слово, критика этой школы еще ополчится против беспощадного «Брака по страсти», который мы только что услышали…

Предсказание Григорьева сбылось – критика раздраженно заворчала. Тот самый Галахов, которому Писемский предлагал «Брак по страсти» для «Отечественных записок», в неподписанной статье в этом самом журнале сурово отчитал автора повести как «необразованного таланта».

Впрочем, и безотносительно задач, которые ставил перед

собой писатель, и тех идей, что обнаруживала в его сочинениях пытливая критика, читающая публика, ищущая веселья, обретала в лице Писемского занимательного рассказчика. Павел Анненков вспоминал: «Хорошо помню впечатление, произведенное на меня, в глуши провинциального города, – который если и занимался политикой и литературой, то единственно сплетнической их историей, – первыми рассказами Писемского „Тюфяк“ (1850) и „Брак по страсти“ (1851) в „Москвитянине“. Какой веселостью, каким обилием комических мотивов они отличались и притом без претензий на какой-либо скороспелый вывод из уморительных типов и характеров, этими рассказами выводимых… Смех Писемского ни на что не намекал, кроме забавной пошлости выводимых субъектов, и чувствовать в нем что-либо похожее на „затаенные слезы“ не представлялось никакой возможности. Наоборот, это была веселость, так сказать, чисто физиологического свойства, т.е. самая редкая у новейших писателей, та, которой отличаются, например, древние комедии римлян, средневековые фарсы и наши простонародные переделки разных площадных шуток».

Вот в чем секрет – народная смеховая культура нашла в Писемском своего яркого выразителя, одного из первых в нашей новейшей словесности. То кучерявое слово, что прежде селилось в райке, в лубочных листах, вдруг обрело литературное гражданство. И губернско-уездный мир признал его, принял как родное.

От народного недоверия ко всякой выспренности и суесловию берет исток отвращение Алексея Феофилактовича к тем, кто потрясал Любовью как видом на жительство в благовоспитанном обществе.

Насмешливое отношение к любовному словоблудию видно во всех произведениях костромской поры. Даже в такой мрачной, совсем не комической вещи, как повесть «Виновата ли она?» (название заимствовано у ненапечатанного произведения, но сюжет совершенно иной).

В антиромантических убеждениях Писемского укрепляли и его новые друзья по «Москвитянину», резонно видевшие во всей этой демонической вакханалии страстей, полыхавших на страницах беллетристики, дурную моду, чужебесие по образцам германским и французским. За свое недолгое пребывание в Москве в январе 1851 года Алексей Феофилактович успел только пригубить москвитянинского духа, но прививка явно не прошла даром.

Теперь он часто задумывался над тем, что задача писателя не только в добросовестном изображении действительности, что его

новые московские друзья, может быть, и правы – надо смелее вмешиваться в идейную борьбу, свергать ложных кумиров и выставлять свой идеал, воплощать его в положительных образах. Ему вспомнился еще один диспут в доме издателя «Москвитянина» на Девичьем поле.

Развивая свою излюбленную мысль, он говорил тогда:

– Воспроизводя жизнь в ее многообразной полноте, создавая идеалы добра и порока, великие писатели прошлого никогда к своим произведениям не приступали с каким-то наперед составленным правилом, а брали из души только то, что накопилось в ней и требовало излияния в ту или другую сторону. Поэт узнает жизнь, живя в ней сам, втянутый в ее коловорот за самый чувствительный нерв, а не посредством собирания писем и отбирания показаний от различных сведущих людей. Ему не для чего устраивать в душе своей суд присяжных, которые говорили б ему, виновен он или невиновен, а, освещая жизнь данным ему от природы светом таланта, он узнает и видит ее яснее всякого трудолюбивого собирателя фактов. Как пример приведу присутствующего здесь достопочтенного автора комедии «Свои люди – сочтемся». Он математически верен действительности, никого не стремится поучать, и оттого картина, им созданная, поражает своей убедительностью.

– О нет, Александр Николаевич представил нам истинный идеал! – с горячностью возразил Григорьев.

– Сколько же еще надо доказывать вам, господа, что искусство не может существовать само для себя. Не стану повторять своих писаний по поводу комедии, мне кажется, я вполне убедительно показал идеальное направление этого нового слова в нашей литературе. Но теперь, к досаде своей, я должен доказывать автору «Тюфяка», что он создал истинно учительное произведение. Ведь эта повесть – самое прямое и художественное противодействие натуральной школе; герой романа, то есть сам Тюфяк, с его любовью из-за угла, с его неясными и не уясненными ему самому благородными побуждениями пополам с самыми грубыми наклонностями, с самым диким эгоизмом, этот герой, несмотря на то, что вам его глубоко, болезненно жаль, тем не менее – Немезида всех этих героев замкнутых углов с их не понятыми никем и им самим не понятыми стремлениями, проводящих «белые ночи» в бреду о каких-то идеальных существах, к которым не смеют подойти в действительности, или страдающих в действительности от этих же самых идеальных существ; только вы, Алексей Феофилактович, может быть, и даже, вероятно, с душевною болью, отнеслись к этому герою как следует, комически.

– Что это за «белые ночи»? – с подозрением спросил Эдельсон. – На кого вы намекаете – на беднягу Достоевского? Мне кажется, его повесть не стоит такого отношения, тем более что автор второй год гниет где-то в сибирской каторге.

На лицо Григорьева как бы набежала тень, взгляд потух. Аполлон Александрович опустился на диван и, сцепив пальцы рук, уставился на «иконостас» Погодина, помещавшийся над бюро. Там висели фотографии писателей, репродукции известных картин, портреты виднейших славянофилов.

– Да, вот мы тут толкуем все о литературе, а люди за свои сочинения не токмо что славы, отзыва не получают! Не могу себе представить, чтобы тот же Достоевский забросил перо – уж по крайней мере какие-то замыслы вынашивает. Только суждено ли им осуществиться?

– А случай с Юрием Федоровичем Самариным вспомним – прочитал в узком кружке свои «Письма из Риги» против немецкого засилья в Остзейском крае – и на тебе, угодил в крепость... – зябко кутаясь в халат, проговорил Погодин. – Ну ладно, Достоевский к Петрашевскому ходил, про какой-то там переворот они толковали. И его все-таки не за сочинения в кандалы забили. Но когда благомыслящего славянофила именно за благие мысли в каземат тащат...

– Я слышал, что и у Петрашевского в кружке одни слова были, – заметил Алмазов. – Так что Достоевский в заговорщики тоже за здорово живешь угодил. Тем более не стоит сейчас над «белыми ночами» глумиться.

– Да ведь я ничего личного не имел в виду, – заметно смутившись, ответил Григорьев.

– Никто вас, Аполлон Александрович, в этом и не подозревал, – грубовато заметил Погодин, с неудовольствием взглянув на Алмазова. – В литературе нет неприкасаемых имен... Закончите, ради бога, вашу мысль о «Тюфяке».

– Я хотел добавить только, что, изображая губернского Печорина-Бахтиарова, Алексей Феофилактович как будто давал подозревать, что других Печориных у нас нет и быть не может, что вот что такое наши Печорины в губернской действительности, а не в виду гор Кавказа и не в байронических мечтах поэта...

Это последнее замечание вызвало решительное несогласие Писемского.

– Вы утверждаете, милейший Аполлон Александрович, что Бахтиаров – разоблаченная претензия на Печорина; это совсем неверно: Бахтиаров не претендует на разочарование, но он в самом деле пресыщен – это стареющий эпикуреец с небольшими деньгами: женщины его только раздражают, как больного обжору

новинка; но другое дело сам герой нашего времени и его последователи – это народ еще очень молодой, немного даже поэты в душе, они очень любят женщин, общество и славу, но не показывают этого, потому что все это или не совсем им доступно, а если и есть что в руках, то в таких микроскопических размерах, что даже совестно признаться, что подобные мелочи их занимают и волнуют... Родственная черта героев нашего времени есть, я полагаю, гордость, выражающаяся отталкиванием от всего того, что хоть немного раздражает чувство самолюбия, большею наклонностью властвовать, неуважением ко многому, скрытностью всех нравственных движений, которые обнаруживают в них присущую смертным слабость и мягкость, и, наконец, жизненным образом они очень хорошо высказываются грубостью...

Однако, возвращаясь в Кострому, Писемский то и дело воскрешал в памяти сказанное Григорьевым. И уже вскоре принялся за большое сочинение «Москвич в Гарольдовом плаще», главная мысль которого была так изложена в письме Погодину: «Великая личность Печорина, сведенная с ходуль на землю». Тогда же писался «Богатый жених», сырьем для него послужил отвергнутый цензурой первый роман Писемского. Эти два произведения 1851 года – своего рода пик антиромантической прозы писателя.

Общение с «молодой редакцией» «Москвитянина» давало Писемскому не только ощущение своей причастности к духовной жизни столицы. После поездок в город своей студенческой юности Алексей Феофилактович чувствовал себя моложе, годы службы как бы теряли над ним свою власть. Далеко за полночь засиживались у него друзья, спорили о литературных новостях или, подогретые шампанским, распевали народные песни.

Интерес к народному искусству также разбудили москвитянинцы. В кружке Островского особые пристрастия питали к пению. У многих членов редакции были недурные голоса, Аполлон Григорьев виртуозно играл на гитаре. Но Тертий Иванович Филиппов, писавший в журнале на темы церковной истории, обладатель сильного красивого тенора, затмевал всех. Когда он запевал, все умолкали и, погрузившись в задумчивость, переживали в образах немудреные слова песни – так проникновенно и артистично звучал его голос.

Тертий часто вспоминался Алексею Феофилактовичу, когда кто-нибудь из костромских друзей заводил песню. Мягкий овал лица, обрамленного светло-русыми волнистыми волосами, подстриженными в кружок, виделся Писемскому. Ему начинало казаться, что он вновь в гостеприимном погодинском доме, что,

закончив петь, Филиппов подсядет к нему и заговорит на свою излюбленную тему: душа народа сказалась в песне...

Наученный горьким опытом работы впустую, Писемский стал отныне предлагать редакторам журналов не целую рукопись, а только первые готовые главы с кратким изложением будущего содержания произведения. Теперь, когда у него уже было литературное имя, он мог себе такое позволить. В прошлом веке практика печатания романов, доставляемых авторами по частям, считалась чем-то само собой разумеющимся. Если издатель доверял таланту своего «контрагента», он охотно шел на выплату аванса и начинал печатать вещь, хотя очертания ее только слабо угадывались. Первым поверил в Писемского Некрасов – в октябре 1851 года «Современник» поместил начало романа «Богатый жених» и с продолжением вел его по июнь 1852 года.

После мытарств первого своего большого сочинения «Виновата ли она?» Алексей Феофилактович стал осторожнее и вовремя останавливал расходившееся перо. В «Богатом женихе» действуют двойники персонажей несчастного романа, но все они как-то притерлись к своему окружению, страсти здесь глуше, трагизма почти вовсе нет. Власти предержащие и вельможи куда безобиднее, они в общем-то и человеколюбия не чужды. И роман прошел без осложнений – даже весьма подозрительное око не могло здесь усмотреть протеста против общественных нравов. Вот почему «Богатый жених» представлялся сочинением достаточно безобидным, камерным – писатель как бы говорил: все дело в дурных и хороших свойствах отдельных людей, в натуре. Позднее сам автор охарактеризует это произведение как «длинный и совершенно неудавшийся мне роман». И даже резче выскажется об этой через силу написанной вещи: «...я уже пробовал заставлять себя сочинять в „Богатом женихе“, и вышла такая мерзость, что самому стыдно».

Писатель был чересчур строг, даже несправедлив к своему роману. Хотя он и уступал другим его вещам, на фоне тогдашней литературы «Богатый жених» выгодно выделялся. Читатели, по крайней мере думающая молодежь, восприняли его иначе. Об этом можно судить по дневнику юного Добролюбова: «...Я устыдился, и если не тотчас принялся за дело, то, по крайней мере, сознал потребность труда, перестал заноситься в высшие сферы и мало-помалу исправляюсь теперь. Конечно, много здесь подействовало на меня и время, но не могу не сознать, что и чтение „Богатого жениха“ также способствовало этому. Оно пробудило и определило для меня спавшую во мне и смутно понимаемую мною мысль о необходимости труда и показало все безобразие, пустоту и несчастье Шамиловых. Я от души

поблагодарил Писемского; кто знает, может быть, он помог мне, чтобы я со временем лучше мог поблагодарить его?»

На произведениях, последовавших за романом о Шамилове, лежит печать нового отношения к ближнему, но отношение это не казенно-бодрое или поверхностно-сатирическое. Пришла художественная зрелость, пришла мудрость. И тогда появились мужики, до сих пор объявлявшиеся в сочинениях Писемского для того, чтобы подать умыться, сморозить что-нибудь уморительно-глупое или нагрубить. Пришел сокровенный человек. (Это тоже можно понять как протест против байронистов-демонистов, но совсем не противопоставление двух начал, а замещение вакансии развенчанного Героя.)

Впрочем, поиск новых типов, новых жизненных положений шел по разным направлениям. Пьяница-актер из рассказа «Комик», написанного в 1850 году, вовсе не отвечал господствовавшим тогда взглядам на положительного героя. Но именно он резал правду-матку, обличал ненатуральность жизни благополучных сограждан. Именно опустившемуся Рымову доверил Писемский изложение своих взглядов на драматическое искусство. А для него это были весьма дорогие, жизненно важные мысли – ведь и в его собственной душе актер все еще боролся с писателем...

Театр всегда составлял для Алексея Феофилактовича одну из главных сердечных привязанностей. А в костромскую пору это было, без преувеличения, самое заметное из общественных поприщ, на которых заявил о себе Писемский. Любительские спектакли постоянно устраивались то в одном богатом доме, то в другом. И всех затмевал на этих сценах несравненный Подколесин в исполнении Алексея Феофилактовича. Не зря в «Комике» Рымов исполняет эту роль – писатель до топкости прочувствовал ее оттенки за те десятки раз, когда ему приходилось перевоплощаться в гоголевского героя. Играл он и в «Тяжбе», и в похожих, «под Гоголя», сценках. Впрочем, эту почти обязательную для провинции программу «разбавляли» не только слабенькими пьесами Григорьева и Федорова, но и такими серьезными сочинениями, как «Маскарад» Лермонтова.

За один вечер, бывало, разыгрывали две-три одноактные вещицы и одну большую. Удивительна выносливость не только актеров-дилетантов, но и зрителей, высиживавших в креслах по пять часов. Да еще в конце давался для «освежения» дивертисмент. Екатерина Павловна Писемская обычно участвовала в этой заключительной части любительских концертов – у ней был приятный голос, и она исполняла арии из «Роберта», пела романсы дуэтом с чиновником Махаевым.

«Костромские губернские ведомости» в свойственном им восторженном тоне не раз описывали эти музыкально-драматические вечера. А об одном из актерских триумфов Писемского на масленице 1853 года газета известила прямо-таки взахлеб...

Отсвет увлечения Гоголем, увлечения исполнительского, заметен и на первых пьесах Писемского, созданных в эти годы. Что, однако, не помешало московским друзьям писателя посчитать «Ипохондрика», драматический дебют Алексея Феофилактовича, большим приобретением для русского театра и усиленно ходатайствовать за пьесу перед начальством. Шевырев писал в этой связи Погодину: «...у Писемского большой комический талант, надеюсь, что Верстовский (управляющий конторой московских театров. – С.П.) обрадуется такой комедии для московской сцены». Однако хлопоты о постановке не увенчались успехом, и комедия была принята в театральный репертуар несколько лет спустя, когда цензура «расслабилась» по случаю кончины Николая I.

Однако справедливости ради надо сказать, что первые пьесы Писемского трудно назвать шедеврами. Главным недостатком этих произведений оказывался прозаизм; инерция романного мышления срабатывала и здесь. Превосходные, «словно из жизни» диалоги велись слишком эпично. Отсутствовало главное – условность, игровое начало. И писатель чувствовал, что это самое слабое его место. Сообщая Островскому о задуманном вскоре после «Ипохондрика» «Разделе», он признавался: «Сюжет или анекдот готов, а это для меня самое трудное дело, в характерах не затруднюсь».

Комедия о дележе наследства родственниками умершего помещика представляет целый паноптикум моральных уродов. Все, начиная с богатого «братца Ивана Прокофьича» и мелких дворянишек-приживалов до дворни покойного, лгут, интригуют, подличают. Ни одного светлого лучика не пробивается в этот мрак. И потому впечатление от происходящего отнюдь не комическое, сатирический настрой слишком однообразен, а отсутствие столкновения разных нравственных начал лишает действие напряжения. И это несмотря на серьезность нравственных вопросов, заявленных вначале. Нет, чего-то недоставало писателю – может, повседневного общения с профессиональным театром, может быть, вовремя поданного совета?..

Несмотря на то, что поездки по губернии, да и сама жизнь в провинции давали Алексею Феофилактовичу богатый материал для сочинений, а довольно обширный круг приятных молодых

людей с эстетическими интересами скрашивал досуг, писателю становилось с каждым годом невыносимее вдали от культурных центров. Нечастые поездки в Москву только растравляли душу – Писемский видел, как полно, истово служат искусству его друзья. А он принужден изо дня в день перебирать груды бумаг в губернском правлении... В костромские годы писатель то и дело жалуется своим корреспондентам: «...я несу многотрудную и серьезную службу; для литературных занятий моих у меня остается одна только ночь, надобно много благоприятных обстоятельств, чтобы человек при подобных условиях собрал силы для труда», «Я все это время хвораю и хандрю. Сил моих недостает жить в Костроме», «Служебные хлопоты и дрязги отнимают у меня и время и спокойствие, и потому я ничего не пишу», «...я сбираюсь в Москву и Петербург, чтобы хоть сколько-нибудь поосвежиться от пошлой костромской жизни; все это время я болею: вот уже месяц, как ни дня, ни ночи не знаю покою от зубной боли; и к несчастию, здесь очень много господ, которые готовы и сумеют выбить зубы у своего брата, но выдернуть зуба никто не умеет...» Пытался он перейти на службу в Москву и просил друзей выхлопотать для него место инспектора гимназии, но из этого ничего не вышло.

Когда в 1853 году Писемский во время отпуска несколько месяцев прожил в Петербурге, его привязанность к Москве несколько ослабела. Деловая, бодрая атмосфера великого города захватила писателя, а новые знакомства в литературных кругах совсем склонили его в пользу северной столицы. Принимали Алексея Феофилактовича с распростертыми объятиями, да и немудрено это было – к моменту своего появления на невских берегах он считался одним из самых известных русских писателей. Издатели искали его благосклонности, наперерыв приглашали к сотрудничеству. Гонорары, предлагавшиеся ему, теперь, по прошествии всего трех лет после публикации двадцатирублевого (за лист, конечно) «Тюфяка», достигли восьмидесяти-ста рублей. На издателя «Москвитянина», весьма прижимистого и осторожного, Писемский начинал уже смотреть не как на благодетеля, а как на эксплуататора. Даря новым своим знакомым только что вышедшие под редакцией Погодина три томика первого собрания его сочинений, он приговаривал:

– Старый скряга верен себе – все делает расчетливо-хозяйственным образом. Вот и труды мои абы как издал – и бумага никуда не годная, и обложка – срам. Но не обессудьте – я в этом деле не участвовал...

Понятно, что, ощутив нешуточный интерес к себе в литературной среде, увидев, как ярко живут в соседстве больших

редакций и театров его собратья по перу, Писемский еще больше затосковал в провинциальном мирке. Ведь он был совсем молод! Что ни говори, а житье в губернии старит, Алексей Феофилактович и сам стал замечать, что все чаще вместо прогулки в санях предпочитает прилечь на оттоманку. Нет, милостивый государь, тридцать три года – это далеко не старость! Надо что-то придумывать, надо вырываться на столичный простор.

Служба в Костроме была сносной до тех пор, пока губернаторствовал Каменский. Но когда на его место пришел бывший помощник попечителя Московского учебного округа Муравьев, в чиновном мире начались перетряски. Либеральный губернатор привез с собой энергичных молодых людей, убежденных в том, что им предстоит расчистить авгиевы конюшни бюрократизма. В числе их был Н.Ф. фон Крузе, назначенный правителем канцелярии губернатора. Это он с умилением живописал на страницах «Губернских ведомостей» веселящийся костромской бомонд. Там же Николай Федорович объявлял, что скоро два знаменитых литератора порадуют публику своим участием в газете (разумелись Писемский и Потехин). А вскоре Муравьев даже предложил Алексею Феофилактовичу, помимо исполнения своих обязанностей советника губернского правления, редактировать неофициальную часть «Губернских ведомостей», что давало бы ему дополнительный годовой оклад в 360 рублей. Однако это последнее назначение не состоялось, ибо новый вице-губернатор Брянчанинов затеял склоку с сослуживцами, и Писемскому волей-неволей пришлось принять участие в ожесточенной войне со своим прямым начальником. В письме родичу жены поэту Майкову (они познакомились в Петербурге), написанном вскоре по возвращении из столицы, Алексей Феофилактович сообщал: «...попал в служебные дрязги, которые наш вице-губернатор (дурак естественный) затеял с членами губернского правления, в том числе, конечно, и со мной, – он пишет на нас, а мы на него – и все это представится на благорассмотрение в Питер, в Министерство внутренних дел, а там, вероятно, для водворения согласия начнут разводить, и мне будет очень не по нутру, если меня дернут куда-нибудь в дальние губернии». Опасения писателя сбылись – уже через два месяца последовало распоряжение о переводе его в Херсон. Это было равносильно приказу подать в отставку – затевать переезд в такую даль человеку, обремененному семьей?! И в следующем своем послании Майкову он пишет: «...выхожу в отставку, а поэтому переезжаю в свою деревню – усадьбу Раменье Чухломского уезда

Костромской губернии и таким образом теряю вдруг и службу и принужден с моей семьей жить в захолустной деревнюшке в тесном холодном флигелишке; положим мне ништо: зачем не был подлецом чиновником, но чем же семья виновата? Все это меня до того отуманило, что я теперь решительно не могу ничего ясно сообразить, как и что мне предпринять: сил никаких не хватает продолжать эту жизненную битву, – с какой завистью смотрю я на других людей, у которых так последовательно, так ровно проходит все в жизни, а я вечно в волнениях. Сам ли я тому причиной или случайные обстоятельства – не знаю, но по выходе из университета недели не живал покойно. В деревне я по необходимости должен буду, кажется, жить около года, потому что все мои бумаги зашлются в Херсон, откуда их ранее полугода не выцарапаешь».

Однако год, проведенный в деревенской глуши, не был порой уныния. Писемский быстро отрешился от служебных дрязг, от суеты. Глубокие снега завалили окрестность, первозданная тишина покрыла лесистые холмы кругом Раменья. Но Алексей Феофилактович не тяготится оторванностью от привычного общества – «не скучаю и отрезвляюсь в мудром уединении», говорит он в одном из писем. Пишется хорошо, споро, и уже к весне у него готовы большой рассказ «Фанфарон» и несколько глав нового романа.

Когда сильно запоздавшая весна наконец-то объявилась в конце апреля, Писемский, стосковавшийся по земле за столько лет городской жизни, принялся с жаром хлопотать по хозяйству, вспомнил давно оставленную привычку к прогулкам верхом и по полдня пропадал в полях, наблюдая за пахотой, ездил по окрестным деревням смотреть на гульбища – свободные от работы девки и бабы водили хороводы, да мальчишки крутились тут же, то и дело мешая нехитрой забаве.

Но, предаваясь умиротворенному созерцанию сельской жизни, писатель не собирался отгородиться от тех тревог, которые волновали Россию. Приходившие с немалым запозданием газеты приносили в основном добрые вести: армия и флот громили турецкие полчища и эскадры. Война, начавшаяся в конце 1853 года, пока шла с перевесом русских. Но весной в нее ввязались на стороне Османской империи Франция и Англия. Хотя серьезных действий они пока не предпринимали, напряжение возрастало с каждым днем – неприятельские армады в Черном море, на Балтике, в северных и восточных водах, омывающих Россию, блокировали побережье и в любой момент могли высадить десанты. Все это обжигало душу, хотелось как-то действовать, чем-то помочь героям, насмерть вставшим на

рубежах Отечества...

За несколько дней Алексей Феофилактович пишет одноактную пьесу «Ветеран и новобранец» – в ней старый солдат, узнав о гибели двух сыновей, отправляет на войну и своего младшего отпрыска со словами: «Возьми, царь, последнего! У меня уж никого больше не осталось...» Эти драматические сцены на злобу дня не очень совершенны, но современники трагических событий увидели и оценили в них искренний, горячий отклик писателя-патриота, захваченного народным подъемом[8].

В письме А.Н.Майкову от 8 мая 1854 года есть такие строки: «Я теперь блаженствую, упиваясь весной, которая стоит у нас чудная, и только когда подумаешь о том, что деется на театре войны, так невольно сердце замрет, вряд ли Россия не в более трудном подвиге, чем была она в двенадцатом году! Тогда двенадесять язычей ведены были на Россию за шивороток капризною волею одного человека, и теперь покуда трое, да действуют под влиянием самой искренней ненависти. Что мы этим бесстыдникам сделали, не понимаю. Более умеренной внешней политики, какою всегда руководствовался государь, я вообразить себе не могу. Корень, кажется, лежит в европейских крамольниках 1848 года, которые никак не хотят простить России ни спокойствия ее в этот период взрыва мелких страстишек, ни того страха, который они ощущали к северному великану, затевая свое гнусное и разбойничье дело. Впрочем, они и думать не могут иначе, но что же венценосцы-то слушаются их? Они дают им таким образом оттачивать орудие на самих себя. Невольно скажешь: прости им, господи, не ведят бо что творят».

Да, сходство с двенадцатым годом было, но теперь Россия оказалась в куда более трудном положении. У нее не нашлось ни одного союзника, напротив, на всем протяжении западной границы стояли враждебные армии: Швеция, Пруссия, Австрия готовы были выступить на стороне англо-франко-турецкой коалиции и ее сателлитов. Именно из-за этого командование не могло отдать распоряжение о переброске войск в Крым, когда там возник главный театр войны. Отборные части изнывали от безделья под Петербургом и Ригой, под Варшавой и в Финляндии, а героические защитники Севастополя, терявшие по две-три тысячи человек ежедневно, молили о подкреплении. Отставные тузы, съезжавшиеся в Чухлому из окрестных поместий, на все корки ругали министра иностранных дел Нессельроде. Несколько десятилетий стоять во главе русской дипломатии и добиться одного: полной изоляции империи! Даже монархические режимы оказались в стане «демократических» союзников. А ведь не будь угрозы западным границам, армия с легкостью справилась бы с

интервентами.

Алексей Феофилактович не очень-то в этих вопросах разбирался. И в разговоры экс-вельмож не мешался. Но кое-что из услышанного нес в пьесу. Послав «Ветерана и новобранца» Майкову, он посчитал, что патриотический долг можно исполнять и в деревне. За несколько дней разучил с сыном Павлом любимое стихотворение – «Клеветникам России» Пушкина. И, маршируя по скрипучему полу флигеля, отец и сын зычно декламировали воинственные строки...

Получив от Писемского посланную ему пьесу, пылкий поэт преисполняется восторга. Выходит, не один он считает, что «неполны воинские лавры Без звона неподкупных лир». «Санкт-Петербургские ведомости» напечатали его открытое письмо к А.Ф.Писемскому, в котором, между прочим, говорилось: "Нынешняя война в нашей частной жизни, в истории наших убеждений – событие столько же решительное, столько же важное, как и в политическом мире. Надобно быть слепым упрямцем, улиткоподобной флегмой, чтоб не отозваться на ту электрическую искру, которая потрясла все сословия русского народа. С каким-то судорожным напряжением ожидаю, что из этого будет, и не могу еще обхватить мыслью и связать в одно стройное целое, в одну картину того, что внутреннее сознание целого народа говорит ему, что он такое, на что он призван и какие силы в нем хранятся. Я готов пророчить, что нынешние события – величайший шаг в нашем развитии: с них начнется новый период нашей исторической жизни уже потому, что они заставили всех и каждого вдруг, внезапно остановиться и спросить себя: «Кто же ты?..»

Многие чувствовали тем летом: кончается какая-то огромная эпоха русской жизни и наступает нечто иное. Ощущалась потребность в осмыслении, оценке итогов царствования – никто, понятно, не формулировал свои чувства в таких словах, ибо не было и речи о смене монарха. Но она вскоре произошла – как бы во исполнение напряженных ожиданий общества...

Когда из Севастополя стали приходить неутешительные вести, патриотический пыл Алексея Феофилактовича поугас. Он стал реже выбираться в Чухлому за газетами, словно надеясь таким образом отдалить неудачный исход войны. Стараясь отрешиться от неприятных мыслей, он все чаще отправлялся посмотреть на крестьянские работы, занять себя хозяйственными заботами, послушать, о чем толкуют мужики. Когда в сильно запущенном усадебном доме начали работать приглашенные Писемским плотники, он часто присаживался на бревне поблизости от мастеров, расспрашивал их о житье-бытье. Одна из

историй, поведанных словоохотливыми мужиками, стала сюжетной основой рассказа «Плотничья артель», снискавшего огромную популярность в пору подготовки освобождения крестьян от крепостной зависимости...

Однако сельское житье имеет прелесть только тогда, когда оно не навек, когда впереди брезжит что-то иное. Без общества людей, объединенных одними интересами, писателю становится невмочь. «Служенье музам не терпит суеты, но зато и продолжительное уединение не совсем благотворно этим занятиям. И Амос Федорович, может быть, умный человек, однако одним своим умом не до многого дошел. В старинных естественных Историях есть вопрос: какое самое общежитное животное? Ответ: человек». Определив такими словами и свой собственный характер, Алексей Феофилактович начинает сборы в столицу. Жена с сыновьями останутся пока в Раменье – благо за лето дом приведен в порядок, по усадьбе сделаны нужные распоряжения, и семья ни в чем не будет знать недостатка.

Первое расставание надолго. Скорые и обильные старческие слезы теток, рев ребятишек, не понимающих, почему мать вдруг с рыданиями падает на грудь отца... Надеть ладанку с локонами детей и Киты. Перекреститься на отцовские иконы. Шубу на плечи. Еще, еще беспорядочные поцелуи. Вкус слез на губах. «Шапку мне...» Легкий посвист полозьев. Белый, полыхающий под солнцем простор. Прощай, матушка! Прощай и спи спокойно, отец! Нет, даже не от этого так щемит сердце – с молодостью прощается он. Как-то незаметно прошла она – учился, жуировал, мотался на тройках по глухим диким селам, спал на грязных постоялых дворах, корпел над бумагами в темных, подслеповатых конторах... Что же ты видел-то за свои тридцать четыре года? И писал как-то не то все: спешил, спешил, словно другого времени уж не будет. Нет, теперь его слово дорого стоит, надо ценить себя. Теперь он станет писать основательно, долго, всерьез. Да, молодость кончилась...

Литературная экспедиция

В разгар боев за Севастополь, 18 февраля 1855 года, умер Николай I. Перед кончиной царь сказал наследнику престола: «Сдаю тебе свою команду не в порядке». Государственная машина была потрясена войной, явственно обнажились многие изъяны бюрократической системы. Вскоре после восшествия на престол нового императора в придворных верхах раздались голоса, требовавшие крутых перемен. Во главе либеральной партии стоял великий князь Константин Николаевич, второй сын скоропостижно умершего Николая Павловича. Принявший скипетр российских государей Александр II находился под сильным влиянием своего младшего брата, который к моменту смены монархов занимал пост управляющего флотом и морским ведомством на правах министра...

Новые веяния скоро дали о себе знать, и, пожалуй, первыми их ощутили писатели и издатели. Цензура, при том, что все руководства и уставы ее оставались в силе, заметно смягчилась. На страницах журналов стали появляться высказывания, исполненные того духа, который был взят на подозрение после европейских событий 1848 года.

Великий князь Константин Николаевич давно уже питал расположение к литераторам – сословию, не пользовавшемуся доверием при его покойном отце. Многие из них были приняты в Мраморном дворце генерал-адмирала. Близкий приятель и земляк Писемского Алексей Потехин еще в 1854 году выступал здесь перед Константином Николаевичем и его гостями с чтением своей драмы «Суд людской – не божий». Должна была дойти очередь и до Алексея Феофилактовича – слава его, как непревзойденного чтеца своих сочинений, облетела все великосветские салоны столицы. Писемского приглашали наперерыв, и он, обычно прихватив с собой только что приехавшего «завоевывать» Петербург молодого актера Ивана Горбунова, отправлялся читать новые свои вещи, не пропущенные к напечатанию. Писатель основательно рассчитывал, что благосклонное внимание к его сочинениям со стороны сильных мира сего облегчит их прохождение сквозь цензурные рогатки.

В первой половине 1855 года Алексей Феофилактович выступал с чтением «Плотничьей артели», принадлежащей к циклу «Очерков из крестьянского быта». Одновременно шла борьба с самым мелочным и придирчивым из петербургских цензоров Фрейгангом, который, испещрив поля рукописи возмущенными пометками, отказался допустить очерк к

напечатанию в «Отечественных записках». Писемский, однако, не сдавался – в очередном письме к А.Н.Островскому он объявлял: «Не знаю, чья выдерет, а буду биться до последней капли крови».

В это же время Алексей Феофилактович работал над «Тысячью душ» и проверял еще «горячие» куски романа на слушателях. Впечатление оказывалось неизменно благоприятным, и это вселяло в писателя известную самоуверенность, хотя и не закрывало от него недочетов сочинения. В Москву, «любезному Другу Александру Николаевичу» (так Писемский неизменно обращался в своих письмах к драматургу) летит реляция: «Длинным романом своим похвастаюсь: выходит штука серьезная, хоть выполнение пока еще слабо».

В домах петербургских писателей Алексей Феофилактович очень быстро сделался одним из самых желанных гостей. И дело было не только в его мастерском чтении или в достоинстве новых его сочинений. Собратьев по перу привлекла человеческая самобытность Писемского.

Среди новых его друзей не было славянофилов. Тургенев, Дружинин, Некрасов резко отличались от «москвитянинской» группы. Может, поэтому он, в известном смысле единомышленник Погодина, Григорьева и Островского, показался в Петербурге представителем какого-то патриархального мира. Павел Анненков даже спустя несколько десятилетий хорошо помнил то удивление, которое вызвал у него и его друзей пришелец из Чухломы:

"Трудно себе и представить более полный, цельный тип чрезвычайно умного и вместе оригинального провинциала, чем тот, который явился в Петербург в образе молодого Писемского, с его крепкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими наблюдательными глазами и ленивой походкой. На всем его существе лежала печать какой-то усталости, приобретаемой в провинции от ее халатного, распущенного образа жизни и скорого удовлетворения разных органических прихотей. С первого взгляда на него рождалось убеждение, что он ни на волос не изменил обычной своей физиономии, не прикрасил себя никакой более или менее интересной и хорошо придуманной чертой, не принарядился морально, как это обыкновенно делают люди, впервые являющиеся перед незнакомыми лицами. Ясно делалось, что он вышел на улицы Петербурга точно таким, каким сел в экипаж, отправляясь из своего родного гнезда. Он сохранил всего себя, начиная с своего костромского акцента («Кабинет Панаева поражает меня великолепием», – говорил он после свидания со щеголеватым редактором «Современника») и кончая насмешливыми выходками

по поводу столичной утонченности жизни, языка и обращения.

Все было в нем откровенно и просто. Он производил на всех впечатление какой-то диковинки посреди Петербурга, но диковинки не простой, мимо которой проходят, бросив на нее взгляд, а такой, которая останавливает и заставляет много и долго думать о себе. Нельзя было подметить ничего вычитанного, затверженного на память, захваченного со стороны в его речах и мнениях. Все суждения принадлежали ему, природе его практического ума и не обнаруживали никакого родства с учениями и верованиями, наиболее распространенными между тогдашними образованными людьми. Кругом Писемского в ту пору существовало еще в Петербурге много мыслей и моральных идей, признанных бесспорными и которые изъяты были навсегда из прений, как очевидные истины. Писемский оказался врагом большей части этих непререкаемых догматов цивилизации".

Когда в каком-нибудь европеизированном доме заходила речь о женских правах – теме весьма модной в ту пору, Писемский вдруг огорошивал всех неожиданным заявлением:

– Да полноте, сударь, есть ли из-за чего огород городить? Женщина – только подробность в жизни мужчины, а сама по себе, единолично взятая, никакого значения не имеет.

– Но любовь?.. Но жизнь сердца?! – восклицал пораженный исповедник жоржзандовского кредо.

– Э-э, поменьше бы вы читали романов... Серьезные отношения между мужем и женой возникают только с появлением детей. И вообще, обязанности мужа к своей супруге исчерпываются возможно лучшим материальным содержанием ее.

Поднимался шум. Писемского обвиняли в ретроградности. Кто-то кричал: «Но вся Европа...» Другой заклинал: «Жорж Занд дала миру новое евангелие!..»

Однако Алексей Феофилактович не сдавался, напротив, с лукавой улыбкой он еще подливал масла в огонь:

– По учению эмансипации, у вашей супруги должен быть, во-первых, вы – муж, во-вторых, любимый ею любовник, в-третьих, любовник, который ее любит...

И это заявлял автор «Богатого жениха», «Виновата ли она?», писатель, которого все привыкли считать защитником русской женщины – жертвы уродливого семейного строя! За несколько лет до этого он и сам высмеял бы подобные мнения, но теперь, когда жоржзандизм стал расхожей монетой во всех гостиных от Питера до Чухломы, его так и подмывало съязвить по адресу господ эмансипаторов.

Постепенно к парадоксальным высказываниям Писемского привыкли и он стал вполне своим во многих литературных

кружках. По четвергам Алексей Феофилактович появлялся у Краевского, издателя «Отечественных записок», где сходилось в эти дни многолюдное общество, в основном писатели и артисты, однако бывали и крупные сановники и чиновники. Но особенно тесные связи установились у Алексея Феофилактовича с группой писателей, печатавшихся в «Современнике». Они собирались самым узким составом, и при этом никогда не присутствовали случайные посетители, которых немало бывало на «журфиксах» Краевского.

На знаменитой фотографии 1856 года, где сняты ближайшие сотрудники «Современника», Алексея Феофилактовича нет только потому, что его не было в Петербурге. Ведь за несколько месяцев перед тем, как Тургенев, Толстой, Гончаров, Островский, Григорович и Дружинин отправились в салон Левицкого сниматься на дагерротип, Писемский чуть не ежедневно виделся с ними. И если б не командировка морского министерства, надолго оторвавшая его от друзей, на хрестоматийном снимке был бы и Филатыч, Ермил – этими именами звали его в кружке. Первое – по московскому еще обыкновению, донесенному до Петербурга часто наезжавшим сюда Островским. Вторым прозванием Алексей Феофилактович был обязан поэту конца XVIII века Ермилу Ивановичу Кострову, знаменитому гуляке и в то же время на редкость добродушному человеку – его образ сделался в ту пору весьма популярен в писательской среде. В 1853 году большой успех имела пьеса Кукольника о спившемся таланте, а несколькими годами позднее Островский придаст своему Любиму Торцову («Бедность не порок») черты нравственного облика Кострова. Алексей Феофилактович, отличавшийся незлобивостью, принял прозвище, оно даже импонировало ему.

Когда Писемский входил в квартиру Николая Алексеевича, его встречал егерь в охотничьем кафтане с зелеными позументами. Несколько породистых пойнтеров бросались на гостя, норовя обнюхать, облизать его лицо и уж, во всяком случае, толкнуть его в грудь своими сильными лапами. Алексей Феофилактович, хоть и не чужд был охотничьей страсти, старался все же увернуться от собачьих лобзаний и посему стремительно бросался в залу, сопровождаемый сворой лягавых.

– Хорошо, что Николай Алексеевич борзых дома не держит, – переведя дух, говорил Писемский. – Не то затравили бы, как матерого волчару...

На огромной оттоманке, занимавшей одну из сторон залы, обычно уже сидел кто-нибудь из друзей, а могутный Тургенев прохаживался вдоль окон, рассуждая о литературных или политических новостях. Если тут же находился Толстой, то между

ним и Иваном Сергеевичем непременно возникал затяжной спор, а Писемский, по своей привычке всех мирить, старался урезонить противников.

– Господа, ну постарайтесь же унять свое самолюбие, ведь вы только мучаете друг друга этими несогласиями. Человек – это дробь, у которой заслуги числитель, а мнение о себе – знаменатель. Отсюда происходит, что люди с небольшими заслугами, но с большою скромностью очень милы; а люди даже с заслугами, но с огромным самомнением крайне неприятны.

Его увещевания обычно имели успех, и спорщики быстро утихомиривались.

Но когда говорили о литературных достоинствах тех или иных произведений, никто не обижался на откровенность товарищей, ибо каждый уважал в другом подлинного художника, а потому и доверял точности его оценок.

Писемский также чутко прислушивался к мнениям участников кружка, даже просил их быть беспощадными к его промахам. В то лето как раз шли репетиции «Ипохондрика», вскоре поставленного в Михайловском и Александринском театрах. Новые друзья писателя прослушали пьесу в авторском чтении, и мнения их резко разделились. Большинство хвалило пьесу, но наиболее поучительным для себя Алексей Феофилактович посчитал мнение Некрасова, великого знатока театра, хотя его взгляд на драматургию Писемского оказался весьма нелицеприятным.

– Я не отрицаю достоинств пьесы, – говорил Николай Алексеевич, раздумчиво теребя бородку. – Но ведь дело не только в литературном мастерстве. Да, перед нами развивается ряд живых сцен, но мимо них мы проходим и без сочувствия, и без негодования. Что нам за дело до этого ипохондрика, у которого поражен спинной мозг и парализованы умственные способности? Можем ли мы принимать какое-нибудь участие в судьбе человека, половина жизни которого прошла в жалком, мелком, недостойном мыслящего существа беспутстве, а другая половина проходит в праздном хныканье и нравственном отупении? Он был и остался ничтожностью: трудно предположить, чтоб и до ипохондрии был он существом разумным. Нас может благотворно потрясать появление на сцене таких сумасшедших, как Лир, как Офелия, когда нравственная сила падает перед сокрушительной мощью обстоятельств, когда сумасшествию предшествовала борьба и жизнь. Но и в больнице не станем мы смотреть на идиота, если не имеем в виду каких-нибудь новых фактов на пользу науки; тем менее поразят нас горести идиота, сделавшегося от собственной глупости еще идиотичнее. На самую

погибель его будем мы смотреть так же равнодушно, как на смерть курицы, которой повар хладнокровно отрезывает голову...

– Но ведь пьеса забавна, вы этого отрицать не станете, – вступался Дружинин.

– Что с того? Где мысль автора, в чем она? – с этими словами Некрасов поворачивался к Алексею Феофилактовичу.

Тот смущенно разводил руками, поднимался с оттоманки. Но Николай Алексеевич, подняв кверху указательный палец, быстро продолжал:

– Знаю, что вы ответите: я полагаюсь на художнический инстинкт. Не вывезет он вас! Да и не верю я вам. Ведь пишучи «Тюфяка», «Брак по страсти», вот этот новый роман, главы которого давеча читали нам, – тут вы знали, для чего взяли перо в руки!

– И все-таки, милейший Николай Алексеевич, художник не должен насиловать себя... – наконец вступал в спор Писемский. – Оставаясь к себе строгими в эстетическом отношении, мы обязаны говорить публике правду, как мы ее понимаем. Ни Пушкин, создавший нам «Евгения Онегина» и «Капитанскую дочку», ни Лермонтов, нарисовавший «Героя нашего времени» неотразимо крупными чертами, нисколько, кажется, не помышляли о поучении и касательно читателя держали себя так: на, мол, клади в мешок, а дома разберешь, что тебе пригодно и что нет! Вот и пьеса моя, при всех ее несовершенствах, писана с тем настроением: я рисую картину действительности, а вы уж судите-рядите.

– Но Гоголь...

– Что Гоголь – его-то как раз и испортили разные советчики, нажимавшие на поучение как главную цель писателя. При всей высоте его комического полета он, сбитый в конце концов с толку самозваными духовными наставниками, лишенными эстетического разума и решительно не понимающими ни характера, ни пределов дарования великого писателя...

– Насчет «Переписки» вы абсолютно правы, драгоценный Алексей Феофилактович. – Некрасов даже приобнял расходившегося гостя.

Но Писемский явно еще не выговорился.

– Нет, что ни говори, а истинное художество не рассуждает. Вот мы все с вами слушали на днях, как Лев Николаевич описал июльскую ночь в Севастополе. Ужас овладевает, волосы становятся дыбом от одного только воображения того, что делается там. Рассказ написан до такой степени безжалостно честно, что по временам даже слушать невыносимо. Но ведь и тени любезного вам поучения там нет...

Толстой, выпустивший к тому времени всего несколько небольших произведений, был тем не менее в зените литературной славы. Как-то раз, прочитав очередной из «Севастопольских рассказов», Писемский ворчливо заявил в кругу друзей:

– Попомните мое слово: этот офицеришка всех нас заклюет.

Самым последовательным единомышленником Алексея Феофилактовича оказался Дружинин, притязавший на роль идейного вождя «современниковского» кружка. Прочие смотрели на это вполне благосклонно – кому, как не записному критику, формулировать объединяющие их вкусы и убеждения. Тем более, что он не пытался втиснуть их творчество в рамки какого-то строго очерченного направления.

Александр Васильевич был отставным гвардейским офицером, состояние позволяло ему жить на широкую ногу, и он держал себя настоящим английским джентльменом, очень сдержанным в манерах. Безукоризненный костюм, безукоризненно выбритые щеки, безукоризненно обработанные ногти. Холодный блеск монокля.

При всем том, как позднее узнал Писемский, Дружинин был не чужд простых человеческих радостей.

Лето выдалось необычайно жаркое, но высшее общество не торопилось разъезжаться по дачам – англо-французская эскадра стояла в нескольких десятках миль от столицы. Хотя к Петербургу неприятель не мог прорваться из-за того, что фарватер был затоплен судами, а узкие проходы находились под прицелом грозных фортов Кронштадта, жители прибрежных местностей постоянно жили ожиданием бомбардировки или десанта. Вот почему дачи Ораниенбаума и Сестрорецка пустовали, а в душном каменном лабиринте Петербурга не замирал литературный «сезон». Если прибавить к этому, что из-за траура по Николаю I были запрещены любые зрелища, в том числе закрыты театры, то станет понятно, насколько желанно было появление Алексея Писемского с Горбуновым в любом из домов столицы. Бремя славы, впрочем, стало уже тяготить Алексея Феофилактовича, и, собираясь на очередной званый вечер, он ворчливо говорил Горбунову:

– Мы с тобой точно дьячки, нам бы попросить митрополита, чтобы разрешил стихари надеть.

13 июля Иван Федорович, как обычно, заглянул к Писемскому. Алексей Феофилактович выглядел встревоженным. Он сидел в халате за столом, подперев кулаком свою огромную вихрастую голову, а его черные глаза навыкате беспокойно перебегали с предмета на предмет. На вопрос приятеля, что

произошло, Писемский нервно протянул ему вскрытый конверт. Горбунов пробежал письмо – управляющий делами морского министерства князь Оболенский извещал Алексея Феофилактовича о том, что он и Горбунов приглашены на фрегат «Рюрик», стоявший на рейде Кронштадта, для чтения своих вещей великому князю Константину Николаевичу. Предлагалось прибыть 14 июля к двум часам дня на казенный пароход, стоявший на Неве, который должен был доставить приглашенных на борт фрегата.

– Так что же? – недоуменно спросил Иван Федорович. По его мнению, приглашение явиться пред очи второго лица в государстве не могло быть причиной расстройства.

– Как что? По морю-то плыть – не по Волге! – сказал Писемский, по привычке скосив взгляд куда-то вниз и в сторону и став от этого похож на упрямого лобастого бычка.

– Да далеко ли тут! – улыбнулся Горбунов.

– У тебя нерв нет! – взорвался Писемский. – В шхерах-то там налетишь...

– Да какие там шхеры!..

Горбунову припомнились рассказы Островского и других москвичей о фантастической мнительности Алексея Феофилактовича. Говорили, например, что он постоянно печется о своем здоровье, хотя по этой части многие и многие могли бы позавидовать Писемскому. Рассказывали, что он панически боится собак: стоит-де ему завидеть самого маленького и смирного пса, как он поворачивает назад, какие бы срочные дела ни ждали его. А одному из друзей писатель признался: «Мне часто приходится стоять у порога моей двери с замиранием сердца: что, если дом ограблен, кто-нибудь умер, пожар сделался – ведь все может случиться». Так и сейчас Писемский не мог успокоиться при мысли о предстоящем плавании чрез морскую пучину – ероша свою небольшую бородку, он то метался по кабинету, то, повалившись в кресло, начинал машинально листать журнал, глядя мимо страниц. Наконец ему пришло в голову осмотреть пароход. Быстро одевшись, Алексей Феофилактович расчесал свои темные кудри и в сопровождении Горбунова поспешил на улицу. Сев на извозчика, приятели отправились на Кронштадтскую пристань.

Издалека над гранитным парапетом торчала только черная труба парохода и вровень с нею две мачты. Когда Писемский, расплатившись с «ванькой», подошел к деревянному причалу, он увидел плоское, словно раздавленное суденышко с голыми жалкими мачтами, с двумя огромными колесами по бортам. На корме, возвышавшейся над водой на какую-то сажень,

безжизненно висел Андреевский флаг. Алексей Феофилактович засмотрелся на этот флаг и не заметил, как из-под выгоревшего до белизны тента, закрывавшего кормовую часть судна, выглянула усатая физиономия. Не дожидаясь вопроса, Горбунов представился, назвал своего спутника и объявил о том, что они с Писемским намерены осмотреть пароход. Усач скрылся, и минуту спустя навстречу гостям взбежал по сходням молодцеватый лейтенант в белом кителе, украшенном «Георгием». Первым делом он проводил приятелей к машине, блиставшей бронзовыми и стальными колесами, шестернями, поршнями, медными ручками и заклепками, затем пригласил Алексея Феофилактовича и Горбунова пройти в кают-компанию, помещавшуюся в носовой части. Напоследок Писемский пожелал присесть в плетеное кресло под тентом. Приняв картинную позу, он с минуту неподвижно созерцал противоположный берег, над которым возносился шпиль Адмиралтейства. Затем резко встал и раскланялся с командиром судна. Когда поднялись на набережную, Горбунов не приметил на лице Алексея Феофилактовича и следа прежнего беспокойства. Писемский важно кивнул вниз, в сторону суденышка, и изрек:

– Это пароход серьезный.

На другой день в назначенный час чтецы явились на пристань. Здесь их поджидал князь В.Ф.Одоевский, один из немногих петербургских литераторов, прикосновенных к высшему свету. Князь должен был представить генерал-адмиралу Писемского и его молодого друга. На «Рюрик» отправлялись также несколько морских офицеров, так что почти все кресла под тентом оказались заняты. Пары были разведены, и машина с тяжкими вздохами посылала к небу громадные клубы черного дыма, а палуба сотрясалась как бы от сдерживаемых усилий. Пробили склянки, и сейчас же раздался густой рев. Колеса парохода пришли в движение, плицы забили по воде с оглушительным чавканьем. Писемский с опаской взирал на вращавшееся рядом колесо…

Паруса «Рюрика» были зарифлены, но даже с голыми матчами фрегат производил внушительное впечатление. Капитан парохода, словно бы стесняясь неказистости своего судна, остановил его на почтительном расстоянии от флагмана императорского флота. От «Рюрика» немедленно отделился катер, и через несколько минут литераторы и их попутчики сидели на скамьях катера, а дюжина рослых загорелых матросов мощными гребками направляла его прочь от парохода.

Когда гости поднялись на борт фрегата, им были представлены офицеры корабля. Великий князь принимал

доклады командиров судов, и писателям предложили пока осмотреть «Рюрик». Наибольшее впечатление на Писемского произвели пушки – он с уважением взирал на их грузные чугунные тела, но подойти близко не решался. А когда Горбунов увлекся осмотром одного из орудий и даже потрогал его казенник, Алексей Феофилактович не выдержал и сдавленным голосом произнес:

– Отойди!

Гостей фрегата пригласили на марс, и Писемскому, дабы не уронить себя в глазах хозяев, пришлось вместе со всеми карабкаться по вантам. Впрочем, для подстраховки к каждому из штатских был приставлен дюжий детина в тельняшке. Когда две пары мощных рук подняли запыхавшегося Алексея Феофилактовича на смотровую площадку и он разом увидел всю огромную грязно-голубую чашу залива, у него дух захватило и даже, как он потом рассказывал, сделалось головокружение. Все это неохватное пространство в оправе желтых песчаных берегов было усеяно большими и малыми судами и яликами, больше похожими на детские игрушки. Но гранитные бастионы Кронштадта даже отсюда, с вершины мачты, выглядели грозно и неприступно. Сопровождавший гостей офицер плавно повел рукой, затянутой в белую перчатку, в ту сторону, где море уходило за окоем:

– Неприятельский флот, господа!

Все взгляды обратились в указанном направлении. Послышались изумленные возгласы: над горизонтом вздымалась словно бы камышовая поросль. Мачт было так много, что штатские невольно почувствовали себя неуютно. Офицер предложил Писемскому медную зрительную трубу, и Алексей Феофилактович, с некоторой опаской приставив окуляр к глазу, с минуту молча созерцал неприятеля. Неожиданно губы его растянулись в широкой улыбке; в ответ на недоуменные взгляды спутников Писемский протянул им трубу. Посмотрев на запад, Одоевский и Горбунов также развеселились. Оказалось, что все мачты англо-французов увешаны матросскими подштанниками. Получив таким образом доказательство мирных намерений вражеской эскадры, гости в благодушном настроении спустились на палубу.

Великий князь уже покончил с делами и поджидал приглашенных литераторов у себя в каюте. Когда Писемский был представлен августейшему адмиралу, Константин Николаевич благосклонно задал писателю несколько вопросов касательно новейших его начинаний. Алексей Феофилактович отвечал на своем чухломском наречии с нажимом на "о", с тягучими

ударными "а". Титулованный поводырь – князь Одоевский – стал проявлять признаки беспокойства, как-то странно таращиться на Писемского из-за высочайшей спины. Однако тот как ни в чем не бывало продолжал «гутарить» с адмиралом о своих литературных замыслах, пока не приметил, что благожелательная улыбка монаршего брата сделалась какой-то натянутой. Тогда он умолк, и великий князь, воспользовавшись паузой, милостиво заметил: «Я очень люблю этот ваш сочный московский говор. Вы ведь москвич?» Произнесенные тоном завершающего комплимента слова эти как бы ставили точку в разговоре, но мало сведущий в столичном политесе провинциал вместо того, чтобы согласно кивнуть высокому собеседнику, напористо возразил: «Никак нет, ваше императорское высочество, я костромич». Князь Одоевский и стоявший рядом с ним свитский офицер, уже почти не скрываясь, подавали Писемскому сигналы тревоги. Константин Николаевич, направившийся было к другому гостю, приостановился и рассеянно произнес: «Вот как? А я почему-то считал, что вы москвич». – «Не могу знать, почему это вам так казалось, а только я костромич», – горделиво резанул Алексей Феофилактович, никак не желавший понять значения гримас Владимира Федоровича и свиты. «Ах, так?» – хмыкнул адмирал, дернув почему-то щекой. «Точно так – костромич!» – торжественно заключил писатель.

Едва великий князь отошел в сторону, Одоевский коршуном кинулся к приятелю. Обычно сдержанный, «литературный аристократ» был вне себя. «Помилуйте, любезнейший Алексей Феофилактович, не все ли вам равно – москвич вы или костромич! Его высочество, изъявив лестное к вам внимание, изволил сказать „москвич“. „Так точно, ваше высочество, москвич“. И делу конец. И коротко, и почтительно, и всем приятно!.. Ну ладно, не жаль вам своего реноме – о моем подумали б». Свитский тоже расшипелся: «Вот заладили: костромич, костромич! Экая заслуга, что вы костромич! Одна для всех неприятность и, если хотите, даже неуважительность...»

Тут уж и Алексей Феофилактович не стерпел: «Ах, коли так, то желаю вам всем приятного времяпрепровождения. Я что-то себя не в порядке чувствую – мне на берег надобно. Всепокорнейше прошу отправить меня, потому я человек этим вашим церемониям непригодный».

Одоевский понял, что переборщил, и забил отбой. Оба они со свитским принялись извиняться за резкость и уговаривать писателя остаться. Но тот уперся и ничего не хотел слышать, а только твердил, чтоб подавали ему катер. Князь призвал на помощь Горбунова, и только соединенными усилиями уломали

Писемского сменить гнев на милость.

Позвали обедать. Ведомый под руки Горбуновым и Одоевским, Алексей Феофилактович продолжал что-то ворчать, но тон этого ворчания был уже достаточно мирный. А когда приглашенный сесть по левую руку от генерал-адмирала писатель выслушал от него несколько лестных слов в похвалу своему таланту, лицо его совсем повеселело. Стол, накрытый под полосатым тентом на корме, был великолепен. Воздав должное искусству судового кока, выпив затем две чашки чаю, Алексей Феофилактович спросил у великого князя позволения начать чтение. Константин Николаевич энергичным кивком головы еще раз выразил Писемскому свое расположение, и ободренный высочайшим вниманием писатель раскрыл рукопись «Плотничьей артели».

Первую минуту речь Писемского звучала скованно, он то и дело откашливался, скрипел стулом, но вот взгляд его разгорелся, голос окреп, и несравненный чтец предстал перед моряками во всем блеске своего мастерства. Он не столько читал, сколько играл, передавая речи героев разными голосами – от скрипучего старушечьего до низкого, гулкого мужичьего. Лобастая голова его то резко вскидывалась, и тогда пронзительный взгляд Алексея Феофилактовича впивался в кого-нибудь из присутствующих, то низко склонялась к листу, и тогда всем видна была только кудлатая шевелюра писателя. Наконец, совсем разошедшись, Писемский вскочил с места и стал читать почти наизусть, только изредка заглядывая в рукопись. То и дело в продолжение чтения раздавались взрывы хохота, а великий князь даже несколько раз останавливал писателя, чтобы выразить ему свое одобрение. До конца очерка оставалось уже немного, как вдруг до слуха собравшихся донесся глухой звук пушечного выстрела. Алексей Феофилактович вздрогнул, краска сбежала с его лица. Следом за первым один за другим прогремели еще несколько выстрелов.

– Начали? – едва слышно произнес Писемский.

– Это салют, – с добродушной улыбкой объяснил великий князь. – К неприятелю идет пароход с запада.

Канонада продолжалась, и Алексей Феофилактович, виновато взглядывая на присутствующих, теребил угол скатерти. Он продолжил чтение лишь после того, как пальба прекратилась...

Только около одиннадцати вечера моряки согласились отпустить гостей в Петербург. Великий князь долго жал руку Писемскому и наговорил ему массу любезностей. На пароходе Алексей Феофилактович был оживлен и с удовольствием попивал шампанское в компании офицеров. Несколько раз он поднимался

на палубу, чтобы обозреть необычную панораму берега – в безжизненном свете белой ночи краски природы были приглушены, а лишенные теней очертания дальних строений, деревьев казались сошедшими с гравюр петровского века. После полуночи над водой заклубился легкий туман, он быстро размыл картину берега. А скоро путешественники уже с трудом могли различить флаг на корме. Промозглая сырость, забиравшаяся под сюртуки, немедленно заставила всех вернуться в ярко освещенную кают-компанию и потребовать у буфетчика чаю с ромом. Шум колес стал заметно ослабевать – пароход сбавлял ход, – и Писемский сидел как на иголках. Ему начали мерещиться подводные камни, встречные суда, и он снова принялся терзать спутников расспросами о том, что делают пассажиры в случае крушения и долго ли может продержаться на воде человек, не умеющий плавать. Одоевский, едва приметно улыбнувшись Горбунову, подлил Алексею Феофилактовичу в чай изрядную дозу рому и, принудив Писемского быстро опорожнить чашку, спросил для него еще чаю. В несколько приемов заставив Алексея Феофилактовича выпить чуть ли не полуштоф рому, Одоевский достиг своей цели: Писемский забыл о грозящих пароходу опасностях и вскоре захрапел на одном из диванов.

Ближайшим последствием посещения «Рюрика» было то, что однажды утром в середине августа Алексей Феофилактович получил пакет из морского министерства. Директор комиссариатского департамента князь Оболенский извещал: его императорское высочество великий князь Константин Николаевич подал мысль о командировании лучших русских литераторов для изучения быта и промыслов рыболовецкого населения прибрежий морей, омывающих пределы империи, а равно для исследования с тою же целью главных рек России. Оболенский испрашивал согласия Алексея Феофилактовича на такую командировку.

Когда Иван Федорович по обыкновению зашел к Писемскому, чтобы пригласить его обедать, он застал писателя ползающим на полу своего кабинета по огромной карте. Узнав причину этого неожиданного интереса к географии, Горбунов усмехнулся про себя. Выходило, что Писемский не такой уж трус, каким зачем-то любит прикинуться при случае – теперь Алексей Феофилактович, сверкая глазами, рисовал перед гостем картины своих будущих странствий, одну другой внушительнее. Тут же был составлен ответ Оболенскому, в котором Писемский извещал о своем согласии отправиться в путешествие. За обедом в трактире Алексей Феофилактович открыл и более прозаическую подкладку своего столь поспешного согласия – благодаря командировке он хотя бы на некоторое время освобождался от хлопот о заработке.

Сейчас же все мысли его вертелись вокруг того, где можно перехватить сотню-другую до начала публикации романа. Основательно спутывала планы и цензура, из-за которой так долго не удавалось напечатать у Краевского «Плотничью артель». (Только на днях Фрейганг пропустил, наконец, очерк для опубликования в сентябрьской книжке «Отечественных записок».) Хотя с начала года Писемский числился по удельному ведомству, министр Перовский до сих пор не положил ему никакого оклада. От имения жены Алексей Феофилактович имел, в сущности, крохи. Иных же источников дохода не было.

Кому первому пришла в голову мысль об организации этой литературной экспедиции, теперь едва ли возможно установить. Во всяком случае, 11 августа великий князь обратился к Оболенскому с таким письмом: «Прошу вас поискать между молодыми даровитыми литераторами (например, Писемский, Потехин и т.под.) лиц, которых мы могли бы командировать на время в Архангельск, Астрахань, Оренбург, на Волгу и главные озера наши для исследования быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством, и составления статей в „Морской сборник“, не определяя этих лиц к нам на службу».

Сама идея направить для изучения быта населения поречий и поморий талантливых авторов обосновывалась тем, что на будущее предполагалось брать рекрутов для службы во флоте преимущественно из числа жителей таких мест. Так делалось у французов, а, видя на примере ведущейся войны некоторые преимущества западных держав, реформаторы склонны были приписывать их особым методам подготовки личного состава армии и флота.

Великий князь, возглавлявший морское министерство, был одним из главных сторонников заимствования западных форм организации во всех областях жизни. Естественно, что он соответствующим образом влиял на атмосферу во всех звеньях подчиненного ему ведомства. Правой рукой Константина Николаевича был его секретарь А.В.Головнин, молодой человек суровой, неприветливой наружности. При своей холодности в обращении и неразговорчивости Головнин был человеком способным. Он умел использовать положение великого князя – недаром уже через несколько лет секретарь Константина Николаевича сделался министром народного просвещения. В описываемое время он фактически руководил изданием официального органа министерства – «Морского сборника». В политических воззрениях статс-секретарь при министре шел еще дальше своего патрона.

Отсюда понятно, почему «Морской сборник» стал одной из

главных трибун либеральных реформаторов. Уже к середине года журнал приобрел четко выраженный политический характер – на его страницах появились статьи, не имевшие никакого отношения ни к морю, ни к проблемам флота. Идея привлечь писателей к сотрудничеству в журнале принадлежала скорее всего именно Головнину – понимая значение литературы в общественной жизни и желая привлечь к либеральному журналу внимание широкой публики, Головнин мог подать великому князю мысль пригласить в «Морской сборник» самых известных литераторов. Конечно, не могло быть и речи о печатании на его страницах беллетристических сочинений, но само появление среди авторов ведомственного органа знаменитых писателей, пользующихся расположением читателей, отвечало бы целям издателей – внедрять в русское общество мысль о необходимости ломки старых порядков и переустройстве России на западноевропейских началах. А задуманная долговременная командировка литераторов при условии их широкого сотрудничества на страницах «Морского сборника» как раз и могла сделать узковедомственному изданию необходимую рекламу.

Пример морского ведомства оказался заразителен – может быть, потому, что по чиновной привычке руководители прочих министерств ни в чем, даже в либерализме, не хотели отстать от высокого шефа морских сил России. Все спешили обзавестись собственным органом и, конечно, пытались заручиться согласием известных литераторов помещать свои «пиэсы» на страницах, казалось бы, сугубо казенного издания. Так поступали, например, редактировавшийся Заблоцким-Десятовским «Журнал министерства государственных имуществ» (созданный, правда, еще при покойном императоре), «Военный сборник», издававшийся при штабе отдельного гвардейского корпуса, – причем редактором этого генеральского органа состоял не кто иной, как Чернышевский. Министерство внутренних дел создало газету «Северная почта», а прежде того субсидировало «Русский дневник», коим заведовал писатель П.И.Мельников, известный в публике под псевдонимом Андрей Печерский...

Условия командировки были предложены морским ведомством весьма соблазнительные – срок ее для каждого участника определен в один год, причем ежемесячное содержание составляло 100 рублей. К этому следует прибавить гонорары за предполагаемые публикации в «Морском сборнике». Кто из литераторов не согласится повидать за казенный счет дальние края России, обновить запас впечатлений, собрать материал для будущих сочинений! Так, по-видимому, рассуждали инициаторы дела. Поэтому, учтя прямое указание великого князя на

Писемского и Потехина, Оболенский в поисках других кандидатур обратился за рекомендациями к руководителям двух самых влиятельных журналов: к Панаеву и Некрасову как редакторам «Современника» и к Погодину и Шевыреву как редакторам «Москвитянина». Но, против его ожиданий, результаты оказались неудовлетворительны – почти все из рекомендованных не смогли принять участие в экспедиции. Аполлон Майков, например, не смог отправиться в путешествие из-за того, что министр просвещения А.С.Норов не согласился отпустить на столь продолжительный срок цензора Комитета иностранной цензуры. Яков Полонский просто отказался без объяснения причин.

Дело с набором литераторов для участия в экспедиции осложнялось. Хотя от Писемского был получен положительный ответ, возникло препятствие со стороны министра уделов графа Перовского, видевшего невозможным отпустить подчиненного на целый год. Была уже середина октября, а затея не сдвигалась с мертвой точки. Когда великому князю было доложено о состоянии дел, он приказал директору канцелярии министерства графу Д.А.Толстому удвоить усилия по приисканию литераторов, «даже с риском, что выбор этих писателей не вполне будет удачен». Узнав же об отказе Перовского предоставить Писемского в распоряжение морского ведомства, великий князь собственноручно начертал письмо министру уделов, в котором настоятельно повторил свою просьбу предоставить писателю возможность отправиться в командировку. Перовскому ничего не оставалось как удовлетворить просьбу августейшего адмирала. 29 ноября морское министерство наконец получило согласие на откомандирование в его распоряжение титулярного советника Писемского.

Алексей Феофилактович выбрал из всех предложенных местностей Нижнюю Волгу и побережья Каспия. Это был, на его взгляд, самый экзотический маршрут. Писемского манила дикая окраина, где за государственным рубежом России и цивилизованного мира вообще в тяжелой дремоте лежали земли таинственных среднеазиатских деспотий. Астрахань была тем передовым пунктом, куда стекались пестрые толпы купцов из Хорезма, Индии, Персии. Горячий воздух пустыни, опалявший низовья Волги, пьянил когда-то ватаги Ермака и Разина. Здесь же некогда находилась Золотая Орда. Так что, припомнив все это, Алексей Феофилактович без колебаний предпочел юго-восток.

Средняя Волга досталась Потехину, а ее верхнее течение (от Твери до Нижнего Новгорода) взялся исследовать А.Н.Островский. Ближайшим «соседом» Писемского вызвался

быть М.Л.Михайлов, прозаик и публицист, широко печатавшийся в «Современнике». Он избрал для исследования реку Урал, ибо сам был уроженцем тех мест и с детства знал народный быт уральских казаков и башкир. Впрочем, впоследствии стало известно, что только двое из восьми участников литературной экспедиции не были уроженцами тех мест, куда отправились по командировке министерства. Первым из этих двоих оказался Писемский, а вторым – его молодой земляк и приятель Сергей Максимов, рекомендованный устроителем литературной экспедиции Иваном Панаевым.

Некоторые из участников предприятия, задуманного великим князем, попали в число кандидатов лишь в силу того, что наиболее видные литераторы не приняли участия в экспедиции. Например, А.С.Афанасьев-Чужбинский, сотрудничавший в «Современнике», предложил свои услуги по исследованию Днепра и Днестра, ограничив свои требования к министерству лишь до казенной подорожной. Он и так собирался ехать в родные места, а подвернувшаяся оказия предоставляла ему возможность отправиться туда за счет казны.

Чиновник для особых поручений при товарище министра народного просвещения Г.П.Данилевский, также пробовавший свои силы на литературном поприще, попросил командировать его лишь на четыре месяца для изучения быта чумаков (возчиков, доставлявших хлеб из черноземных губерний к портам Черного моря). Впоследствии Данилевский стал знаменитым писателем на исторические темы.

Для изучения Дона и Азовского моря командировался мало известный Н.Н.Филиппов, кандидат Петербургского университета и преподаватель географии в морском кадетском корпусе. Туда же должен был отправиться и Лев Мей, однокашник графа Д.А.Толстого по Александровскому лицею, служивший в это время в археографической комиссии министерства народного просвещения. Согласие на его командировку было получено, но в последний момент болезнь помешала поэту принять участие в предприятии.

Когда с грехом пополам состав задуманной литературной экспедиции определился, управляющий морским министерством барон Ф.П.Врангель приказал чиновникам министерства разработать специальную программу для ее участников. Барон считал, что «Морскому сборнику» нужны серьезные работы, могущие представить практический интерес для русского флота. Этому, по его мнению, не способствовало «появление толпы охотников-литераторов, молодых, даровитых, пожалуй, на составление легоньких литературных (по вкусу нашей публики)

статеек, сентиментальных и живописных, – но нашей цели не соответствующих». Посему, чтобы испытать пригодность кандидатов к серьезной работе, Врангель «положил себе за правило подвергнуть каждого из охотников... некоторого рода экзамену... Экзамен этот должен состоять в требовании предварительной работы, в которой будущий путешественник излагал бы отчет о материалах, имеющихся уже в печати, относительно страны и обитателей, избранных ими к исследованию, с некоторым критическим разбором и с указанием на неполноты; а в заключение составил бы программу, основанную на таком предварительном изучении предмета и разборе его». Чиновники министерства разработали обширный документ, которым должны были руководствоваться в подготовительной работе кандидаты в экспедицию.

Врангель и его сотрудники, надо полагать, всерьез воспринимали объявленную великим князем задачу экспедиции: подробно исследовать все стороны жизни приморского и приречного населения России в видах практической пользы для русского флота. Но, как представляется сегодня, для Константина Николаевича и его «конфидента» Головнина это был лишь предлог. Им хотелось украсить обложку «Морского сборника» именами известных литераторов, а Писемский, Островский, да и Потехин считались в то время звездами первой величины. Михайлов, успевший напечатать в «Современнике» большой роман, был также достаточно хорошо известен. Расчеты реформаторов оправдались: уже в следующем году число подписчиков «Морского сборника» достигло огромной по тем временам цифры – шести тысяч...

Понятно, что, получив от Врангеля продуманную программу, которая ставила литераторам четкие задачи, великий князь отмахнулся от чиновной инициативы: «Я не считаю нужным давать подробную программу для этих исследований, предоставляя каждому составлять описание по собственному усмотрению...» В результате командированные литераторы получили лишь составленную в общих выражениях инструкцию, которая, по сути дела, ни к чему конкретно не обязывала. Писемскому было вручено следующее послание за подписью Врангеля:

"Милостивый государь Алексей Феофилактович!

Вследствие изъявленного Вами желания отправиться по поручению морского министерства обозреть жителей Астраханской губернии и прибрежья Каспийского моря, занимающихся рыболовством и судоходством, для составления по этому предмету статей в «Морской сборник» прошу Вас обратить

при сем особенное внимание на: а) их жилища, их промыслы, с показанием обстоятельств, благоприятствующих и мешающих развитию оных; в) суда и разные судоходные орудия и средства, ими употребляемые, означая их названия и представляя, если возможно, их изображение на рисунке; с) физический их вид и состояние и d) преимущественно их нравы, обычаи, привычки и все особенности, резко отличающие их от прочих обитателей той же страны как в нравственности, так и в промышленном отношении, а равно и в речи, поговорках, поверьях и т.п. Если Вы найдете возможным подметить и другие характеристические черты обозреваемой Вами страны и ее жителей, то совершенно от Вашего усмотрения будет зависеть вместить их в описание, как признаете за лучшее. Морское начальство, не желая стеснить таланта, вполне предоставляет Вам излагать Ваше путешествие и результаты Ваших наблюдений в той форме и тех размерах, которые Вам покажутся наиболее удобными, ожидая от Вашего пера произведения, его достойного как по содержанию и изложению, так и по объему".

Нечеткость в определении обязанностей участников экспедиции привела к тому, что многие из них стали в своих писаниях «растекаться мыслию по древу», а иные вовсе почти ничего не написали. Морской ученый комитет, как официальный издатель «Морского сборника», оценивавший присылаемые статьи, отклонил очерки «Чумаки» Данилевского, «Река Керженец» Потехина, «О Городне» Островского. Писемскому было отказано в помещении очерков быта волжских татар, астраханских калмыков и армян.

Но при этом никто из литераторов ущемлен в правах не был – отвергнутые «Морским сборником» статьи они могли свободно печатать «на стороне». Так, кстати, поступил и Писемский, опубликовавший своих «Татар», «Армян» и «Калмыков» в «Библиотеке для чтения».

Граф Д.А.Толстой снабдил Алексея Феофилактовича рекомендательными письмами к астраханским властям. Писатель получил 600 рублей за первые полгода командировки и подорожную, обеспечивавшую ему фельдъегерскую скорость передвижения. Он накупил массу теплых вещей, несессеров, разного рода походной амуниции и, набив пожитками три поместительных портсака, 9 января 1856 года отбыл из Петербурга в Москву в вагоне первого класса.

Несколько месяцев назад был сдан Севастополь, в Вене шли переговоры о мире, и все вокруг говорили об этом. Даже какой-нибудь незаметный купчик, в иное время озабоченный лишь своими «негоциями», и тот норовил принять участие в общих

дебатах, вставить и свое мнение. И всю дальнейшую дорогу от Москвы до самой Астрахани Писемскому приходилось на все лады обсуждать ход несчастной войны – из уст любого исправника, станционного смотрителя, ямщика слышались одни и те же слова: «Севастополь, Карс, ополчение». Горько было сознавать, что война скорее всего проиграна, что Россия, униженная Европой, долго еще не сможет достойно говорить с враждебными соседями.

В Москве Писемский остановился всего на несколько дней. Повидавшись со старыми друзьями – Островским, Григорьевым, Эдельсоном, – он вскоре мчался хорошо накатанным шоссе в сторону Рязани. Пока ехали лесным краем, на душе у Алексея Феофилактовича был покой, радовали глаз знакомые с детства виды деревень, заваленных снегом, больших торговых сел с наезженными улицами, усеянными конским навозом. То и дело открывались взгляду каменные колокольни под зелеными и синими куполами, помещичьи усадьбы, полускрытые кронами парков. Но уже вскоре после того, как за Рязанью дорога повернула на юг, леса стали встречаться реже, укрытые снегом пашни распластались до самого окоема.

Пролетели Тамбов, Кирсанов, Сердобск. Деревни здесь встречались реже – беспорядочные кучки изб были видны издалека в белом просторе, нестерпимо искрящемся под январским солнцем. Здешние деревенские постройки, сбитые из глины, все, как одна, стояли под соломой. Из дерева были выстроены только церкви да иногда почтовые станции.

Когда с вершины очередного холма перед Писемским наконец открылся Саратов с его разноцветными куполами, с каменными домами и правильными улицами, Алексей Феофилактович умиротворенно вздохнул и перекрестился – здесь его, изнуренного многодневной тряской в возке и измученного клопами на постоялых дворах, ждала лучшая гостиница губернского города, порядочный стол и какое-никакое общество.

Проведя в Саратове несколько блаженных дней, Писемский отправился дальше. Теперь путь его лежал по замерзшей Волге. Путешественника не беспокоили ни рытвины, ни раскаты, на которых можно вылететь из саней и сломать шею. Да и оттого еще стало веселее, что глазу теперь можно было зацепиться хотя бы за гористый правый берег Волги – то черная заросль орешника оживляла склон, то рассыпалась по увалу дюжина изб, то загорались на солнце кресты дальней церкви. Здесь уже чувствовалось дыхание юга. Солнце светило яро, совсем по-мартовски. Лед, чем дальше от Саратова, тем явственней начинал потрескивать. То и дело вдоль дороги чернели огороженные

пряслами полыньи. Алексей Феофилактович все чаще с опаской стал поглядывать по сторонам и спрашивать у ямщиков, не лучше ли ехать берегом. За Царицыном, к удовольствию Писемского, дорога пошла горной стороной Волги, но уже вскоре он пожалел об оставленной ледовой дороге. Местность, расстилавшаяся перед ним, казалась безжизненной – ни единой живой точки нельзя было приметить среди снежного простора. Только изредка мелькали верстовые столбы да чернели среди дороги лужи натаявшей воды. А о покойном пути осталось только мечтать – скоро у Писемского все внутри ныло от беспрестанных рытвин.

18 февраля Алексей Феофилактович увидел Астрахань. Издали она показалась ему совершенно на одно лицо с многими другими приволжскими городами: широкая полоса реки, усеянный зимующими судами и лодками берег, белые, голубые, розовые персты колоколен, золото куполов, стены и башни кремля, длинные каменные пакгаузы, тянущиеся вдоль Волги.

Измученные лошади остановились у станции. Писемский выбрался из возка и растерянно посмотрел в сторону города – между Астраханью и почтовым двором пролегли две версты волжского льда, усеянного полыньями. В это время на крыльцо дома выбежал станционный смотритель и издал некоторый восточного оттенка звук. На зов из-за угла облупившейся мазанки выбежали несколько оборванных калмычат с салазками. Гостю было предложено поместиться на одних, а вещи перевезти на вторых санках. Смотритель объяснил, что лошадям уже не перейти на другой берег – лед проваливался. Писемскому ничего не оставалось, как отдаться на волю «ямщиков». Те, усадив пассажира поудобнее, рысью понеслись от берега. Под тяжестью этой странной упряжки лед со зловещим хрустом лопался и из трещин выступала вода. Так они бежали до середины Волги. Выйдя на крепкий лед, калмычата пошли шагом и только невдалеке от астраханского берега вновь приударили рысью.

Взяв извозчика, Писемский велел ему ехать в лучшую гостиницу. Но тот, почесав затылок, повернулся к седоку и недоуменно спросил: «Это в какую такую, барин? У нас, почесть, все одинакие». Тогда Алексей Феофилактович приказал везти его в ближайшую.

Первое, чем Астрахань поразила писателя, – огромное количество народу на улицах. Казалось, здесь представлены все племена земные: возле дверей бесчисленных лавок сидели на солнечном припеке армяне, разодетые в черные чухи с позументами, в толпе то и дело попадались крашеные красные бороды персов, скуластые безбородые лица калмыков, одетых в какие-то лохмотья. Важно проплывали бухарцы в зеленых халатах

и пестрых чалмах, проносились молодцы-поволжане в распахнутых нагольных тулупах и красных рубахах. И все это кричало, ругалось, торговалось на неведомых наречиях и, по всей видимости, понимало друг друга.

Отель «Тифлис», куда извозчик доставил Писемского, оказался невероятно грязным и вонючим. Алексей Феофилактович думал было сейчас же отправиться в другое, более приличное заведение, но флегматичный нумерной объявил, что в Астрахани нельзя найти ничего более опрятного. И, заметив недоумение на лице гостя, добавил:

– Везде персюки все загадили, ваше высокоблагородие. Купцы персидские то есть.

Алексей Феофилактович чувствовал себя настолько усталым, что не стал проверять истинность слов служителя. Войдя в предложенный ему довольно светлый номер с засаленными рваными обоями, с каким-то невозможным топчаном, из обивки которого торчали пружины, Писемский с брезгливостью осмотрелся. В глаза ему бросилась литография, изображавшая Фауста и Маргариту, густо засиженная мухами. У гостя мелькнула мысль, что здесь, должно быть, гибель насекомых, и он сейчас же спросил об этом у провожатого.

– Так что ж, что клопы? А блохи – об этом уж и говорить незнамо к чему. Да у каждого перса в шапке этих блох больше, чем во всей нашей гостинице. – Сказав это, нумерной с безразличием скользнул взглядом по затоптанному полу и воззрился в окно, за которым открывался кремль с дивным Успенским собором. Невольно посмотрев в эту сторону, Алексей Феофилактович обессиленно присел на край зловещего топчана.

– Постелю, что ли, застелить? – угадал его чувства прислужник.

– Да. И чем вы постояльцев кормите?..

«Он подал огромную порцию стерляжьей ухи, свежей осетрины и жареного фазана, при котором место огурцов занимали соленая дыня и виноград» – так впоследствии описал меню своего первого астраханского обеда корреспондент «Морского сборника».

У Алексея Феофилактовича было несколько рекомендательных писем к местным дворянам и купцам, однако он не собирался воспользоваться ими. Но теперь, попав в этот чудовищный притон, Писемский распаковал один из портсаков и достал все нужные бумаги. Наиболее удобным ему показалось обратиться к некоему Фейгину, к которому у него было письмо от Краевского. Этот знакомец издателя «Отечественных записок» представлял в Астрахани банкирскую контору Исаака Утина и

занимался питейным торгом по откупу. По словам Краевского, он был бы рад в лепешку расшибиться, только бы угодить любому желанию Писемского. Решив первую ночь переночевать в гостинице, дабы не вторгаться в чужой дом в воскресенье, Алексей Феофилактович напился чаю и отошел ко сну.

На другой день Писемский сообщил жене: «Обязательный Фейгин поселил меня у себя. Я сижу в прекрасном кабинете, с камином, на креслах вольтеровских, прекрасно пообедав, с отличным вином». Во вторник 21 февраля он записал: «Сегодня, как Чичиков, делал я визиты: был у губернаторши, вице-губернатора, председателя Казенной Палаты и так далее». Губернатор находился в отъезде, а основное содействие Писемский ожидал получить от него – глава губернской администрации был военным моряком в чине контр-адмирала и поэтому, по расчетам Алексея Феофилактовича, должен был отнестись положительно к затее морского ведомства.

Кое-кто из чиновников, которым представился Писемский, смотрел на писателя с подозрением и держался с ним холодно. Сначала Алексей Феофилактович недоумевал о причинах этого. Но потом один из молодых судейских, недавно вышедший из университета, по секрету объявил ему, что его принимают то ли за ревизора, то ли за правительственного шпиона, присланного доносить о замеченных настроениях в губернии. Писемский посмеялся сначала, но потом представил себе, что и губернатор может взглянуть на него с таким же подозрением, и ему стало не по себе.

Прошла неделя. Алексей Феофилактович наслаждался покоем после перенесенных тягот путешествия, неторопливо бродил полуазиатскими улицами Астрахани, всматриваясь в невиданные формы жизни. Город оказался не так уж велик, но толпа на его площадях и пристанях была едва ли не многолюднее питерской. Здесь, по восточному обыкновению, все совершалось на улице: рядом торговали, ели, веселились. Дочерна загорелые оборванцы безмятежно спали на ярком солнце прямо в придорожном песке.

Наплыв впечатлений был настолько велик, что Алексей Феофилактович не знал, за что приниматься в первую очередь. Островскому он писал: «Астрахань – это непочатое дно для описаний: не говоря уж о губернии, самый город, точно явившийся после столпотворения Вавилонского и неслитно до сих пор оставшийся: Калмык со своим языком, кочевой кибиткой, идолами, Армянин более православный, Армянин более католик, Татарин со своим языком и магометанским толком, Персиянин со своим языком и другим магометанским толком, Русский мужик,

Немец, Казак – все это покуда наглядно еще режет мой глаз, но сколько откроется, когда еще внимательнее во все это вглядишься». Стояли настоящие весенние дни, и Писемский стал уже надеяться на скорую поездку по рыбным промыслам – лед должен был вот-вот сойти. Но тут неожиданно ударили морозы, льдины на Волге прихватило, и Алексею Феофилактовичу за недостатком впечатлений оставалось сидеть в кабинете – холод прогнал с улиц пеструю толпу, и даже бездомные оборванцы, дремавшие по всем закоулкам, куда-то исчезли.

В один из этих дней начала марта вернулся из поездки в Оренбург губернатор Н.А.Васильев. Писемский немедленно представился ему и вручил рекомендательное письмо графа Толстого. Контр-адмирал оказался человеком открытым, добродушным, и опасения, терзавшие Алексея Феофилактовича, сразу отпали. Поинтересовавшись программой исследований, губернатор подвел Писемского к большой карте Каспия и показал ему самые любопытные участки побережья. Первым делом он предложил осмотреть рыбные промыслы, но Алексей Феофилактович сказал, что уже договорился об этом с рыбопромышленником Сапожниковым, обещавшим предоставить для такой поездки собственный пароход. Тогда Васильев пригласил Алексея Феофилактовича посетить Бирючью Косу, маленький островок при впадении Волги в море. Здесь находилась таможня, карантин и брандвахта.

Отплытие со дня на день откладывалось: с верховьев Волги все время подходили массы льда, а в холодные ночи этот лед намерзал у берегов так, что всякое движение в порту становилось невозможно. Наконец 22 марта Алексея Феофилактовича известили, что завтра пароход отойдет на Бирючью Косу при любых обстоятельствах. Рано поутру Писемский явился на пристань. Льду опять было много, но контр-адмирал приказал подавать катер. Несколько матросов, вооружившись пешнями, стали на носу, а другие мощными толчками гнали судно в пробитый во льду проход. Через четверть часа пассажиры ступили на палубу парохода, ожидавшего в свободной ото льда части порта.

Дул сильный северный ветер, но пока пароход шел в виду Астрахани, никто не уходил с палубы. И только когда погрузились в свинцовые воды за кормой главы Успенского собора, а вдоль низменных берегов потянулись однообразные заросли камыша, общество поредело, многие офицеры спустились в каюты. Писемский, однако, не собирался последовать за ними. Его интересовала каждая мелочь. Он спрашивал названия разных типов лодок и судов, встречавшихся по пути, и заносил их в

толстую тетрадь. Увидев горящий на большом пространстве камыш, писатель повернулся к губернатору с вопросом:

– Отчего это?

– Нарочно жгут, иначе он на следующий год не вырастет, – был ответ.

Стали попадаться рыбачьи ватаги по берегам, кое-где виднелись калмыцкие кибитки, возле которых суетились кучи грязных ребятишек. Алексей Феофилактович не выпускал карандаша из рук: зарисовывал типы жилищ, записывал их наименования, услышанные местные термины для обозначения снастей и способов лова.

Начались мели. Первую из них, Княжевскую, пароход миновал благополучно, но перед Харбайской остановился. Это место было проходимо только в том случае, когда моряна нагоняла лишний фут воды. Теперь же, при верховом ветре, пассажирам пришлось вновь переходить на катер. Причалили возле ближней деревни. Мужики, высыпавшие навстречу, в один голос заявили, что и катеру не пройти дальше. Оставалось отправиться к морю на крохотных лодчонках, называемых по-местному бударками.

Когда прошли последнюю мель, солнце уже село, и вдалеке, на едва видной Бирючьей Косе, затеплился огонек маяка. Волга здесь разлилась настолько широко, что берега были едва различимы. Алексею Феофилактовичу мерещилось, будто его бударку несет в открытое море, и он осторожно посматривал на мужика, сидевшего с веслом на корме, боясь заметить в его лице тревогу. Но кормчий оставался безмятежен, хотя россыпи брызг то и дело обдавали его. Шуба Писемского скоро намокла и сделалась тяжелой, словно была подбита железом. Да еще пронзительный ветер, достававший до костей, да сгущающаяся тьма – от всего этого становилось так тоскливо, так безысходно, что Алексей Феофилактович совсем упрятал голову в воротник и постарался вообразить себя не в утлой бударке, а в кресле-качалке у Фейгина. Но представить этого никак не получалось, и Писемскому осталось лишь вопрошать: «Господи, настанет ли когда-нибудь такая счастливая минута, когда я буду там, на земле...»

Через два дня он описывал жене эту поездку гораздо скупее: «...я чувствовал только что меня поднимало и опускало: валы, как какой зверь, поднимались, встряхивали, как гривой, белой пеною и обливали нас. И я... вот по пословице: нужда научит калачи есть... я – ничего! Наконец приехали, но чтоб вступить на берег, к нам вышли матросы и переносили нас на руках, проламывая лед и идя по колено в воде».

Весь следующий день путешественникам пришлось провести на бесплодном островке, так как верховой ветер еще усилился, и пройти к катеру не было никакой возможности. Писемскому показали низкие казармы карантинной стражи, населенные мрачными казаками, провели к самому карантину, который состоял из нескольких облупившихся глинобитных бараков, обведенных рвом.

– Вот здесь умирали чумные и холерные, – объяснял провожатый.

Именно отсюда, с низовьев Волги, уже несколько раз надвигались на Русь никого не щадившие моровые поветрия. Какое-то гадливое любопытство заставляло Алексея Феофилактовича преодолеть невольный страх и переступить порог запущенного домишка, припорошенный хлорной известью. Писемский заглядывал в маленькие грязные комнатки, смотрел на голую землю за окном, на серые низкие тучи, бегущие над пустынным морем. И, передернув плечами от внезапного озноба, просил отвести его к выходу из карантина.

Ночью задула моряна, и к утру катер смог подойти к островку. Двенадцать матросов, все севастопольские георгиевские кавалеры, дружно налегли на весла, и уже через час Писемский поднимался на борт парохода, теперь показавшегося ему несокрушимой твердыней цивилизации посреди водной пустыни.

После поездки на Бирючью Косу Алексей Феофилактович целую неделю сидел над своими записями, и скоро очерк о первом небольшом путешествии был вчерне готов. Писемский собирался отделать его и послать в «Морской сборник», однако это намерение пришлось отложить – адмирал пригласил гостя в большой морской переход до Баку.

Весна тем временем вошла в полную силу. Почки на деревьях начали раскрываться, улицы успели укрыться слоем пыли, городские оборванцы захватили все укромные уголки, освещаемые солнцем, и расположились здесь для сна в самых раскованных позах. Начали прибывать суда из Персии, спустились сверху многочисленные расшивы, барки, струги, беляны и десятки других судов всех размеров и типов, которыми так богата Волга. Перед пристанями вырос частый, тянущийся на несколько верст лес мачт. Все это множество судов, столпившихся возле Астрахани, щеголяло пестрыми парусами и флагами, на которых намалеваны самые причудливые картины, изображавшие то похищение Прозерпины, то прогулку Нептуна, сопровождаемого свитою нереид а тритонов, то Николая-угодника, благословляющего с отвесной скалы караван парусников. Да и сами суда пестрели всеми мыслимыми цветами

– от мачты до руля каждая посудина расписана ярчайшими красками, на носу нарисована какая-нибудь птица Сирах либо совершенно невообразимое чудище о шести ногах, и все покрыто узорами и безграмотными надписями. Пристани и базары кишели разноязычной толпой, которая производила неумолчный гомон, подобный тому, который слышим бывает во время больших пожаров. К этому добавлялся еще скрип сотен телег и арб, рев ослов, крик домашней птицы.

Садясь на пароход, Писемский с каким-то внезапным сожалением окинул взглядом скопление судов, пеструю толпу на берегу – на минуту ему представилось, что он покидает Астрахань в самый разгар торгового сезона и что по возвращении всего этого буйства красок и типов уже не будет...

На этот раз вышли в море без всяких осложнений. Возле Бирючъей Косы пересели на большой пароход «Тарки». Но дальше смогли отправиться только ночью – весь день с моря дул крепкий ветер, и пароходу было не выгрести против него.

К Баку подошли на исходе вторых суток. Ночь простояли на рейде, и только рано утром пароход пришвартовался у пристали. Когда Алексей Феофилактович вышел на палубу, его взору открылся чудный город, амфитеатром расположившийся по склонам залива. Дома с плоскими крышами, озаренные утренним солнцем, чуть розовели на зеленом бархате садов. И надо всем возносился четкий силуэт ханского дворца с минаретом. Это был уже настоящий Восток.

За три дня, проведенных в Баку, Писемскому ни на час не удалось остаться одному, чтобы записать свои впечатления. Офицеры парохода и Алексей Феофилактович с ними сделались на все это время пленниками шемаханского губернатора, который возил гостей по городу, в монастырь огнепоклонников, на нефтяные колодцы. К этому надо добавить бесконечные обеды в восточном вкусе, тянувшиеся часами. В заключение хозяева почтили экипаж «Тарков» роскошной иллюминацией – население города, поголовно поднятое по приказу губернатора, с присущим Востоку размахом выказывало свое расположение гостям-астраханцам: в чернильной темноте южной ночи по холмам, обрамлявшим залив, рассыпались тысячи нефтяных факелов, огненные цепочки поползли вверх и вниз по склонам.

По возвращении в Астрахань губернатор не оставлял Писемского своим попечением, и уже через две недели писатель смог отправиться на восточное побережье Каспия для осмотра Ново-Петровского укрепления, форпоста России, за которым начиналась дикая пустыня, населенная воинственными кочевыми племенами. Невдалеке от Тюб-Караганского полуострова, на

котором была расположена крепость, находился архипелаг Тюленьи острова, где Писемский намеревался познакомиться с бытом зверопромышленников.

Вместе с Алексеем Феофилактовичем отправились академик Бэр и несколько его сотрудников, уже в продолжение ряда лет изучавшие Каспийское побережье. Разговоры, которые велись на пароходе и во время поездки по суше, вращались вокруг различных природных явлений края. Бэр с чисто немецкой последовательностью разоблачал все мыслимые тайны окружающего мира. Когда экипажи с путешественниками проезжали мимо двух озер необычайного розового цвета, Писемский вслух выразил свое удивление и восхищение сим редкостным произведением натуры. На что Бэр сейчас же ответствовал, что его коллега Эйхвальд объяснил это оптическое явление отражением солнечных лучей от растущей по дну озер красноватой водоросли. Впрочем, заметил почтенный академик, он не разделяет этого мнения. Велев кучеру остановиться возле одного из озер, Бэр немедленно взял пробу воды и поместил ее на стеклышко микроскопа. Алексей Феофилактович с некоторым недоумением взирал на спутника, который, покручивая колесико прибора, вполголоса бормотал что-то по-немецки. Но вот Бэр издал торжествующий возглас и поманил к себе сгрудившихся невдалеке коллег. Все по очереди подошли к микроскопу и заглянули в окуляр. Подошел и Писемский: в глазке прибора трепетали несколько багровых тысяченогих тварей. Вслед за Алексеем Феофилактовичем приблизился кучер с кнутом в руке. Спросив дозволения поглядеть в «машину», он перекрестился и прильнул глазом к окуляру. Сначала на лице его изобразилось удивление, потом безмерное отвращение. Бэр снисходительно улыбнулся и, подняв вверх палец, объяснил чудо природы:

– Причина, что этот осер имейт колор роза – в этот вода много этот красный инфузория!

В Ново-Петровском укреплении, расположившемся на вершине горы с обрывистыми склонами, было пыльно и голо – деревья отказывались расти в этой проклятой богом стране. Писемский поднялся на один из бастионов: повсюду, куда хватал глаз, тянулась безжизненная степь, лишенная хотя бы клочка зелени. И на всем огромном пространстве, открытом обзору, Алексей Феофилактович приметил лишь двух тощих верблюдов.

Офицеры были рады приезду путешественников и не знали, чем угодить дорогим гостям. Комендант крепости предлагал устроить целый поход в сторону туркмен, но Писемский поспешно отказался от этого предложения, сославшись на недостаток времени. Он уже достаточно был наслышан об участи

русских, попадавших в плен к кочевникам, и отнюдь не желал испытать ее на себе.

Вскоре после обеда, когда Алексей Феофилактович остался один в отведенной ему комнате офицерского корпуса, к нему явился солдат несколько мешковатого вида. В его лице, иссеченном двумя глубокими складками, легшими от крыльев носа, и резкими морщинами, разбежавшимися от углов глаз, Писемский увидел выражение мрачной решимости. Вошедший отрывисто кивнул и столь же отрывисто произнес:

– Первого линейного батальона рядовой Шевченко.

– Чем могу быть полезен? – спросил Алексей Феофилактович и пригласил визитера сесть.

Шевченко, исподлобья глядя на Писемского, в немногих словах поведал свою историю: жизнь в качестве казачка в помещичьем доме, учеба у художника, освобождение силами влиятельных друзей из крепостного состояния, годы, проведенные в Академии художеств, арест за участие в тайном обществе, девять лет солдатчины в пограничных крепостях. Теперь, после смены монарха, говорил он, можно рассчитывать на амнистию. Самый удобный случай подать прошение о помиловании – коронационные торжества, которые предстоят в августе. Но для этого надо, чтобы ходатаем за Шевченко выступил кто-нибудь из влиятельных людей. Лучше всего, если бы за него похлопотал Федор Петрович Толстой, вице-президент Академии художеств – ведь Шевченко когда-то числился ее питомцем, и Толстой лично знал его. Да и сейчас он не оставлял своего призвания – солдат раскрыл перед Писемским альбом акварелей. В нем были аскетические степные пейзажи, морские виды, изображения жилищ кочевников.

Сложность дела состояла в том, что самому Шевченко казалось невозможным просить за себя, и он без околичностей заявил об этом. Писемский согласился помочь ссыльному: еще в прошлом году Краевский, близко знакомый с супругой вице-президента, устроил в ее доме чтение «Плотничьей артели». Поэтому Алексею Феофилактовичу было вполне удобно обратиться к графине Толстой с тем, чтобы она воздействовала на мужа. Слова писателя ободрили Шевченко – его насупленное лицо несколько оживилось, взгляд карих глаз потеплел.

Они вышли на плац, пересекли его и поднялись на стену укрепления, откуда открывался вид на Каспий. Море лежало в пяти верстах отсюда, но, поскольку форт располагался на горе, берег казался намного ближе. Возле рыбацкой деревни, рассыпавшейся по песчаной косе, виднелся пароход, на котором прибыл Писемский, дальше в дымчато-голубом просторе белели

паруса.

– Красивый вид, – сказал Алексей Феофилактович.

– Красивый, – согласился Шевченко. – Похоже на Херсонщину. А туда повернешься, – он махнул рукой в сторону степи, – сразу вспомнишь, где ты и кто ты есть.

Позднее Шевченко обратился с просьбой о содействии также к академику Бэру, и добрый старик обещал использовать все свои связи для освобождения поэта от солдатчины.

По возвращении в Астрахань Писемский написал ссыльному поэту. Ему хотелось хотя бы словом ободрения поддержать Шевченко:

"Душевно рад, что мое свидание с вами доставило вам хоть маленькое развлечение...

Не знаю, говорил ли я вам, по крайней мере, скажу теперь. Я видел на одном вечере человек 20 ваших земляков, которые, читая ваши стихотворения, плакали от восторга и произносили ваше имя с благоговением. Я сам писатель, и больше этой заочной чести не желая бы другой славы и известности, и да послужит все это утешением в вашей безотрадной жизни!"

Было ли такое на самом деле? По тону письма можно предположить, что Писемский придумал встречу с поклонниками творчества поэта. Если это так, то легко понять, что Алексей Феофилактович мучился невозможностью сразу и непосредственно помочь Шевченко.

Когда через несколько месяцев он добрался до Москвы, то одним из первых его визитов было посещение Осипа Максимовича Бодянского – профессора Московского университета, старого друга Шевченко. Писатель рассказал ему о своей встрече в Ново-Петровском укреплении, передал поручения Тараса Григорьевича.

По приезде в Петербург Писемский исполнил еще одну просьбу Шевченко – разыскал историка Николая Ивановича Костомарова, вместе с поэтом входившего в тайное Кирилло-Мефодиевское общество. После своего недавнего возвращения из саратовской ссылки ученый активно включился в общественную жизнь. Рассказ Писемского о злоключениях Шевченко глубоко опечалил Костомарова. Узнав, что имя поэта было вычеркнуто из списков «политических преступников», подлежавших амнистии, самой вдовствующей императрицей Александрой Федоровной, Костомаров совсем сник:

– За что так-то?..

– Передают, что в поэме «Сон» Тарас Григорьевич ее неуважительно живописал: «...тощей, тонконогой, словно высохший опенок, царицей убогой». Да еще Петра Великого

кровопийцей, палачом и людоедом наименовал...

– М-да-а. – Костомаров растерянно потер подбородок. – Так ведь это когда было-то... Злопамятна матушка.

– Не станем отчаиваться. Надо искать выход, – сказал Алексей Феофилактович, хотя и сам не очень-то представлял, как поступать в таких обстоятельствах. – Толцыте и отверзется...

Старания Писемского, Бэра и других знакомых поэта увенчались успехом. Хлопоты были нелегкими: об этом можно судить по тому, что они растянулись на целый год.

Позднее Шевченко сделает краткую запись в своей автобиографии:

«В 1857 году, 22 августа, по ходатайству графини Анастасии Ивановны Толстой освободили... из Ново-Петровского укрепления. И по ее же ходатайству всемилостивейше повелено быть... под надзором полиции в столице и заниматься своим художеством».

Но пока на календаре 6 августа 1856 года. И рука Писемского выводит на листе бумаги послание Краевскому:

"Почтеннейший Андрей Александрович!

Обращаюсь к вам с моей покорнейшею просьбою: к записочке этой я прилагаю письмо к графине Толстой, жене вице-президента Академии Художеств. Пишу в нем об известном вам несчастном Шевченке, который солдатом в Ново-Петровском укреплении и с которым я познакомился, бывши на Тюк-Караганском полуострове. В чем состоит просьба, вы увидите из письма. Я не знаю имени графини и потому не могу писать к ней прямо. Потрудитесь узнать, как ее зовут, положить письмо в конверт, написать адрес и отправить к графине. Я болею и теперь так ослаб, что едва достало силы написать эти письма..."

В разгар лета Астрахань представляла собой сущее пекло, но не только жара донимала Алексея Феофилактовича. Поездки по городу невыносимы были еще и тем, что над улицами постоянно висели непроницаемые для взгляда клубы пыли, поднятые многочисленными повозками. От этой пыли не спасали даже двойные рамы в помещениях – постель, одежда, бумаги, все, к чему ни прикасалась рука, было покрыто тонким сероватым налетом. При всем том Астрахань, стоящая на низменных островах между протоками Волги, оказалась довольно сырым городом – здесь постоянно свирепствовала малярия, и не зря, видно, отсюда же расползались на всю Россию чумные и холерные эпидемии. Последнему, правда, способствовала скорее неимоверная грязь этого полувосточного города. Из миллионов пудов рыбы, отправляемых Астраханью во все концы света, сотни, если не тысячи, пудов «упущенной» рыбы ежедневно гнили в

трюмах судов и на берегах, привлекая тучи мух, источая невыносимые ароматы.

Здоровье Писемского пошатнулось в этом мучительском климате: он чувствовал постоянное раздражение, боли в сердце, часто его знобило в самые жаркие дни. Пользовавшие его местные доктора объявили Алексею Феофилактовичу, что ему надобно сменить климат, на что писатель сардонически улыбался и покорно благодарил за полезный совет. Едва начался июнь, а он уже не чаял, как бы поскорее покончить с командировкой. Краевский, исправно получавший от Алексея Феофилактовича письма, прочел в одном из них: «Кто Вам похвалит Юго-Восток наш, скажите тому, что он лжет; за все эти степи и морское приволье нельзя отдать одной губернии на нашем севере: здесь ни природы, ни людей – ничего нет!»

Тем не менее Писемский не сидел сложа руки. Он предпринял поездку в степь к калмыкам, посетил татарское предместье Астрахани Царево, наблюдал празднование байрама, для чего все мусульманское население города собиралось в окрестной степи.

Алексей Феофилактович подружился с калмыцким князьком Тюменем. Эта «владетельная особа» выделялась среди соплеменников прежде всего своим одеянием – сильно замызганным гусарским мундиром. Кроме того, Тюмень был большим почитателем шампанского – это обстоятельство немало способствовало его сближению с литератором-этнографом. Однако, усвоив столько привычек цивилизованного человека, князь никак не мог научиться спать в доме. Стоило ему внять усиленным приглашениям подгулявшего приятеля и лечь почивать не на полу кочевой кибитки, а на кровати в комнате, как у него начинала идти носом кровь, и он убегал досматривать сон на дворе под открытым небом. Это, конечно, затрудняло общение, и чувство взаимной привязанности друзей постепенно охладело…

Чем жарче становилось лето, тем сильнее болезнь донимала Писемского. К июлю он слег и так ослаб, что едва мог удержать карандаш в пальцах. Так прошло почти два месяца, но состояние больного не улучшалось. Алексей Феофилактович решил прервать командировку и отправляться в Москву, пока лихорадка совсем не истрепала его. Через силу нанеся прощальные визиты губернатору, некоторым чиновникам и знакомым, Писемский в конце августа отплыл пароходом в Саратов, а оттуда решил добираться сухим путем. Дорога вначале была никудышная, Алексея Феофилактовича во все стороны швыряло на пружинном сиденье возка, и писатель не верил уже, что ему дано еще раз увидеть Белокаменную. Правда, чем ближе к центру России, тем

путь делался ровнее и местность кругом привлекательнее и оживленнее. Но когда тройка с Писемским подкатила к знакомому дому Островского, помещавшемуся возле древнейших в Москве Серебряных бань, Алексей Феофилактович не нашел в себе сил выбраться из брички. На шум подъехавшего экипажа сбежалась прислуга, на крыльце дома появился в халате и на костылях сам хозяин, только что начавший подниматься с постели после серьезного ушиба ноги. (Из-за этого ему тоже пришлось прервать свое участие в литературной экспедиции.) Измученного путешественника осторожно достали из возка и под руки проводили в отведенную ему спальню. Александр Николаевич при этом суетился, стуча костылями, вокруг друга, не зная, то ли самому подхватить его, то ли скакать впереди и сзывать на помощь всех обитателей дома...

Узнав о возвращении Писемского, в дом Островского потянулись московские друзья Алексея Феофилактовича. Общение с ними благотворно действовало на писателя, да и тот уход, которым его окружили у Александра Николаевича, способствовал быстрому восстановлению сил. Он стал выходить к обеду и даже шутить за столом. Однако для тех, кто видел Алексея Феофилактовича впервые после отъезда в Астрахань, перемена, совершившаяся в нем, казалась невероятной. Василий Петрович Боткин, посетивший его в эти дни, писал Тургеневу: «У Островского встретил я Писемского – бледного, исхудалого, больного, – тень прежнего Писемского. Он приехал сюда лечиться. Островский говорит, что у него развилась ипохондрия. Дело в том, что Писемский начитался медицинских книг и нашел в себе многие болезни. Но теперь он вообще чувствует себя лучше».

Немного оправившись, Алексей Феофилактович стал собираться в свое имение к семье. Однако друзья не отпустили писателя: во-первых, говорили ему, ты не успел еще как следует отойти после лихорадки, а во-вторых, своим полумертвецким обликом можешь так перепугать жену, что это может отразиться на кормлении ребенка. (У Писемских недавно родилась дочь, вскоре умершая.) Алексей Феофилактович вынужден был согласиться с этими доводами. А получив известие, что жена сама в скором времени отправится в Питер, Алексей Феофилактович оставил намерение ехать в Кострому. Надо было спешить нанять к приезду семьи квартиру, и, как только доктор дал свое согласие, писатель отправился в невскую столицу. 19 октября, на другой день после приезда, он уже сообщил Александру Николаевичу, что нашел недурное жилье на Лиговке, в одном доме с Дудышкиным, редактором «Отечественных записок».

Вскоре приехала и Екатерина Павловна с новорожденной Дуняшей и сыновьями. Окруженный заботами супруги, Алексей Феофилактович совершенно пришел в себя в засел за работу над своими путевыми записями. 20 ноября он представил барону Врангелю первые очерки об Астраханской губернии, а получив через несколько дней запрос от директора канцелярии морского министерства Д.А.Толстого о ходе работы, пообещал сдать в «Морской сборник» все статьи к марту следующего года.

Поездка в Астрахань и на Каспий нашла отражение не только в полудюжине напечатанных очерков; ближайший по времени написания роман «Взбаламученное море» был бы наверняка иным, не приобрети Писемский опыт жизни на приморском юге. А образы откупщика Эммануила Захаровича Галкина и его сподвижника по гешефтам Иосифа Яковлевича Мозера явно заимствованы не из костромской действительности. Скорее всего прообразом богача-негоцианта послужил «его сивушество» Яков Яковлевич Фейгин (ставший вскоре зятем А.А.Краевского).

Литературная экспедиция была закономерным завершением целого периода в жизни писателя. После многих лет службы Писемский оказался вольным литератором. Но деятельная натура его не смирилась с наступившем «штилем» – в одном из посланий Аполлону Майкову, написанных вскоре после выхода в отставку, писатель сформулировал свой творческий принцип: «Гоголь между многими умными правдами сказал одну неправду, что будто бы писатель должен искать вдохновения в тиши кабинета: вдохновение, я по крайней мере, черпал всегда из жизни, а в уединении, и то временном, непродолжительном, удобно пользоваться этим вдохновением».

Побывав в Астрахани, на Каспии, Писемский впервые соприкоснулся с жизненными началами, резко отличными от тех, что господствовали в среде, породившей его. Общение с народами юго-восточного рубежа России доставило писателю обильный материал для сопоставлений, для сравнительных оценок своего и чужого. Этому посвящены многие письма Алексея Феофилактовича, следы раздумий той поры можно обнаружить и в сочинениях его, появившихся в последующие годы.

Но если даже отвлечься от непосредственного воздействия «литературной экспедиции», отразившегося на произведениях Писемского, то и тогда станет ясно – путешествие оказалось гранью, явственно разделившей творчество писателя. После астраханской поездки с полной, осознанной определенностью обозначился житейский и художнический характер Алексея Феофилактовича. Тогда и сложился окончательно увиденный Анненковым «исторический великорусский мужик, прошедший

через университет, усвоивший себе общечеловеческую цивилизацию и сохранивший многое, что отличало его до этого посвящения в европейскую науку».

Время разбрасывать камни

Вернувшись в Петербург после десятимесячного отсутствия, Алексей Феофилактович заметил значительные перемены во всем. Ни война, ни траур по Николаю I не тяготели над обществом. В театрах одна за другой ставились пьесы, не допускавшиеся прежде на сцену. В литературе тоже царило оживление – возникали новые журналы и газеты, тон печати становился день ото дня более критическим. Особенного шуму наделали «Губернские очерки» Щедрина, печатавшиеся в «Русском вестнике». Публика куда сильнее, чем прежде, стала интересоваться изящной словесностью; тиражи «Современника», «Морского сборника», «Отечественных записок» стремительно росли. Издатели начали сражаться за популярных авторов, ставки гонораров поползли вверх и скоро достигли 200 рублей за лист. В таких условиях журнал скупого старца Погодина начал хиреть – никто к нему не шел. «Москвитянин» занимал позицию отрицания «натуральной школы» и вообще с неодобрением взирал на обличительное возбуждение, вполне обозначившееся к 1857 году. Раньше погодинское издание хоть москвичи читали – все-таки то был единственный толстый журнал на всю Первопрестольную. А теперь новый рупор либерализма, объявившийся на Москве, – «Русский вестник» Каткова – совершенно затмил славянофильский орган; издание ставившее себе «положительные», далекие от критицизма цели, растеряв подписчиков, вскоре закрылось. Ведь даже если бы известные авторы продолжали печататься у Погодина, читатель предпочел бы иные журналы с не столь изящным, зато забористым содержанием. Есть время собирать и время разбрасывать камни.

Поползли неясные слухи о готовящемся освобождении крестьян, и скоро об этом толковали не только в светских и литературных салонах – огромное крепостное население столицы, составленное из отходников-оброчников, тоже заволновалось. В феврале 1857 года на Сенатской площади собралась изрядная толпа, как-то проведавшая, что будет оглашен манифест о «воле». Весть оказалась неверной – в этот день вышел указ о порядке перехода помещичьих крестьян в казенные. Полиция разогнала народ.

Писемского общая атмосфера возбуждения тоже захватила, и он не прочь был поддержать разговор о реформах, о цензурных послаблениях.

Все бы недурно казалось Алексею Феофилактовичу в эту зиму – и издатели за ним ухаживали, готовые все, что он напишет,

немедля отправить в типографию, и в обществе его престиж стоял высоко. Но не было покоя и довольства в душе писателя. Вообразив у себя невесть какой недуг, он ходил по врачам, и хотя те не находили никаких признаков заболевания, Писемский продолжал хандрить.

Впрочем, к весне Алексей Феофилактович поутих, ипохондрия его отступила, он принялся с одушевлением доделывать «Тысячу душ», вспомнил и про свой первый роман. Кое-что сократив в нем, подправив, стал читать знакомым; восторженная реакция слушателей убедила его, что «Боярщина» достойна напечатания. Роман был обещан «Современнику», но публикация его не состоялась из-за разрыва Писемского с издателями журнала. Предлагая «перелицованную» вещь Некрасову, писатель скорее всего думал загладить этим свою вину перед ним. Ведь поначалу он обещал отдать «Современнику» новый роман «Тысяча душ». Но осторожный редактор все не решался заплатить требуемую цену, пока не прочтет все сочинение. Еще в конце 1854 года Некрасов писал Тургеневу: «Он (Писемский. – С.П.) наворотил исполинский роман, который на авось начать печатать страшно – надо бы весь посмотреть. Это неряха, на котором не худо оглядывать каждую пуговку, а то под застегнутым сюртуком как раз окажутся штаны с дырой или комок грязи». Но излишняя осмотрительность подвела Некрасова. Алексей Феофилактович был уже не тем робким провинциалом, который некогда с радостью взял за «Тюфяка», что соизволил дать прижимистый хозяин «Москвитянина».

Панаев, соиздатель «Современника», поняв ошибку своего друга, стал обхаживать Алексея Феофилактовича, чтобы он, не дай бог, не запродал «Тысячу душ» в конкурирующий журнал.

– Иван Иваныч меня по островам в фаэтоне катал, – смеялся Писемский, вспоминая, как благоухающий духами и фиксатуаром Панаев все поправлял у него под боком кожаную подушку. – И напрасно суетился. Я роман Андрею отдал. Покупает на корню, и у него деньги верные. Не надо ходить клянчить.

Андрей Александрович Краевский, издававший «Отечественные записки», действительно был опасным соперником для коллег-издателей. Годом позднее он перехватил «Обломова» Гончарова – прямо-таки вырвал роман у всех своих собратьев-журналистов. Краевский одним из первых высоко оценил талант Писемского, и сотрудничество писателя с «Отечественными записками» продолжалось до тех пор, пока журнал не перешел под редакцию Некрасова и Щедрина.

Начав усиленно работать, Алексей Феофилактович продолжал тем не менее постоянно показываться в обществе. Да и

дома у него бывали гости. Чаще других – кузен жены Аполлон Николаевич Майков, редактор «Отечественных записок» Степан Семенович Дудышкин, завсегдатай тургеневского кружка Павел Васильевич Анненков. Про двух последних Писемский всегда говорил друзьям:

– Это мои присяжные критики. Читаю им все, что напишу.

Субтильный Майков предпочитал помалкивать и только поблескивал стеклышками очков, поворачивая голову то к одному из речистых собеседников, то к другому. Но когда его просили почитать что-нибудь из новых сочинений, он резво поднимался с кресла, собирал в кулачок довольно редкую бороду и принимался декламировать свои антологические стихотворения, изредка перемежая их либеральными, во вкусе эпохи, виршами.

Больше всех восторгался писаниями Аполлона Николаевича Дружинин, также заглядывавший к Писемским. Уж очень по сердцу были теоретику чистого искусства его изящные, далекие не только от современности, но и от самой России стихотворения. Эпизод с книжечкой «1854 год», составленной из злободневных пиэс, Александр Васильевич великодушно запамятовал. А на редкие либеральные всплески реагировал поначалу благожелательно – это было еще внове. Идея искусства, свободного от злобы дня, воодушевляла джентльмена Дружинина до такой степени, что даже в самых «заземленных» вещах он старался увидеть вневременное, освободить от шелухи сиюминутного вечные ценности. «Очерки из крестьянского быта» Писемского, прочитанные большинством современников как обличительные, Александр Васильевич оценил иначе. Знакомство с ними подвигло критика на целую статью об их отдельном издании; причем именно здесь были с наибольшей отчетливостью сформулированы взгляды Дружинина на «чистое искусство». (Писемский, разумеется, попадал в число его зиждителей на русской почве.)

"Не на частные проявления общественной жизни должна быть направлена магическая сила искусства, но на внутреннюю сторону человека, на кровь его крови, на мозг его мозга, – писал критик. – Медленно, неуклонно, верно совершает чистое искусство свою всемирную задачу и, переходя от поколения к поколению, силой своею просветляя внутренний организм человеков, ведет к изменениям во временной и частной жизни общества. Тот, кто не признает этой истины, имеет полное право не уважать искусства и глядеть на него как на склянку духов или чашку кофе после обеда. Никакого mezzo termine[9] тут быть не может. Признавать чистое искусство «роскошью жизни» можно только ценителю, шаткому в своих взглядах. Искусство не есть

роскошь жизни, точно так же как солнце, не дающее никому ни гроша, а между тем живящее всю вселенную. Есть люди, не любящие солнца, но едва ли кто-нибудь зовет его роскошью жизни. В отношении к человеческим недугам и порокам искусство действует как воздух благословенных стран, пересоздавая весь организм в больных людях, укрепляя их грудь и восстановляя физические органы, пораженные изнурением".

Позиция Дружинина оказалась близка взглядам Писемского. Как художник, он болезненно реагировал на попытки истолковать его произведения с прагматических позиций. Однако неверно было бы сказать, что в этом отражалось его отрицательное отношение к эстетике демократов и их противников из лагеря мракобесов, группировавшихся в мелких журнальчиках. Задолго до начала ожесточенной полемики в печати по вопросу о социальном назначении искусства Писемский высказал в частном письме продуманную и достаточно стройную систему взглядов:

"Мне отчасти смешно, а отчасти грустно читать журнальные возгласы в пользу романов из крестьянского быта, в числе которых, между нами сказать, попадаются сильно бездарные и, что еще хуже того, лживые и, пожалуй, настолько лживые, как и романы Марлинского, но мода! оригинально, изволите видеть, курьезно, любопытно! Все это, повторяю еще, между нами сказано, а то, пожалуй, гусей раздразнишь, при свидании поговорю об этом подробнее. Когда придут эти блаженные времена, когда критика в искусстве будет видеть искусство, имеющее в самом себе цель, когда она, разбирая «Обыкновенную историю» Гончарова, забудет и думать о направлении, с которым она написана, и будет говорить, что этот роман прекрасен и художествен, что «Ревизор» вовсе не донос на взяточников-чиновников, а комедия, над которой во все грядущие времена станут смеяться народы, которые даже очень смутно будут знать, что такое чиновник-взяточник, как смеемся мы над «Хвастливым воином», как смеемся даже над «Тартюфом».

Такая позиция казалась явным анахронизмом в эпоху, когда в обществе шло размежевание между сторонниками решительного слома старых порядков и приверженцами постепенных, осторожных перемен. Но Писемскому представлялось, что дружининская проповедь чистого искусства тоже может утихомирить страсти...

После костромской тишины, после усадебного покоя Алексей Феофилактович долго не мог привыкнуть к иному темпу бытия, к накалу споров, свойственному столичной литературной жизни. Да и не он один – Толстой и Тургенев, Анненков и Дружинин тоже морщились, читая иные полемические статьи. Воспитанные

в уединенных дворянских гнездах, они с трудом воспринимали понятия разночинного Петербурга.

Русская литература переживала время великого перелома. Он отражал те социальные перемены, которые произошли в стране за первую половину века. Если прежде основные группировки общественных сил, главные «партии» складывались внутри дворянского сословия, то в середине столетия во весь голос заявили о себе выходцы из сословий, прежде не имевших четко выраженного самосознания. На смену соперничества «арзамасцев» и сторонников «Беседы любителей русского слова», на смену славянофилам и западникам пришло куда более серьезное размежевание: за полемическим противостоянием «Современника» и либеральных журналов скрывалось не только несходство идейных позиций, но и непримиримые противоречия господствующего класса и сил, стремящихся к ниспровержению породившей их социальной системы.

Однако это было понятно в ту пору далеко не всем. Накал страстей объясняли «невоспитанностью», «низким происхождением», «завистью» к верху, присущим выходцам из низов. Противопоставляли «грубости» хорошие литературные манеры, возмущаясь «утилитарностью», присягали на верность чистому искусству. Снова и снова заклинали: помилуйте, господа, так ведь недалеко до кулачных приемов дойти – мы не для извозчиков пишем, а для благородной публики!

Писемский сочувственно выслушивал подобные речи своих новых друзей. И мало-помалу делался усердным исповедником их веры. Это, говорил он, настоящие дворяне, умеющие нелицеприятно судить о ближних и в то же время удерживающиеся от искушения перенести на журнальные страницы свои резкие мнения насчет литературных оппонентов. Они неколебимо стоят за благоприличие, против ругани, которая постепенно обретает права гражданства на страницах русской прессы. Алексей Феофилактович всюду расхваливал эти качества своих приятелей.

Особенно восхищал его Тургенев. Аристократ, красавец, человек необычайно мягкий и тактичный в обращении. Писемский решительно заявлял всем, что Иван Сергеич – первый писатель на святой Руси, и что бы там ни болтали критики, он от этого не отступит. Он просто влюблен был в этого русоволосого голубоглазого гиганта. Тургенев отвечал взаимностью, хотя и держал себя намного сдержаннее, чем простодушный Ермил.

Отношения Писемского и Тургенева не были стабильными, они то разгорались в самую нежную дружбу, то затухали. Но никогда Тургенев не третировал своего собрата по литературе (а

об этом толковали впоследствии некоторые недоброжелательно настроенные к Алексею Феофилактовичу мемуаристы); да одно уважение к его таланту не позволило бы Ивану Сергеевичу уничижительно отзываться об Алексее Феофилактовиче. К тому же Тургенева притягивало своеобразие, масштабность личности, острота ума Писемского. Алексей Феофилактович же попросту превозносил талант Тургенева. О его произведениях он говорил:

– Это – благоухающий сад… и в нем беседка. Вы сидите в ней, и над вами витают светлые тени… его женщин.

Единственное, что вызывало неприятие Писемского, это пристрастие Ивана Сергеевича к светской жизни. Не раз Тургенев выслушивал разносы приятеля, спустившись в очередной раз с высот «монда».

– Что вы, любезный, опять занеслись-то! Не дело писателя по аристократам ходить.

Но Тургенев оставался глух к этим советам. Будучи приглашен наверх, он все мог бросить и умчаться на зов. Раз пришел к нему на вечер Писемский, потом Огарев явился. И тут Ивана Сергеевича в очередной раз «выдернули». Друзья поверили, что ему необходимо куда-то «на единый часок» съездить, и согласились подождать. На следующий день Писемский возмущенно рассказывал друзьям:

– Остались мы вдвоем с Огаревым. Я его в первый раз увидел. Парень душевный… Мы с ним опорожнили графинчик и распалились на Ивана Сергеевича за такое его малодушие: пригласил приятелей, а сам полетел к какой-нибудь кислой фрейлине читать рассказ. Сидим час, другой… И только в час ночи возвращается Тургенев и начинает извиняться. Вот мы его тогда с Огаревым и принялись валять в два жгута. А он только просит прощения…

Не только в компании единомышленников бывал Писемский. Престиж его в разночинских кругах стоял так же высоко, как и в верхах. Обличительные повести сделали свое дело. Это потом, позднее критика начнет задним числом прозревать в ранних произведениях писателя не те тенденции. А пока к его посещению радостно готовились, посылали человека в ренской погреб за лучшим хересом…

Нередко разношерстное литературное общество собиралось и у Писемского на Садовой. В этот дом он переехал в 1858 году, когда освободилась квартира Аполлона Майкова, уехавшего в долгое путешествие по Европе. Как в каждом барском доме средней руки, имелась прислуга: лакей, повар, горничная. Комнат было много, но обставили их без особого изящества, так, на казарменную руку. Вот кабинет недурной отделали. Под него

Алексей Феофилактович занял большую комнату двумя окнами на Юсупов сад. Он самолично повесил над своим креслом литографированные портреты Беранже и Жорж Санд. Против мощного стола поставили большой клеенчатый диван, у другой стенки поместилась оттоманка, на которой любил прилечь хозяин кабинета, когда наскучивало сидеть в кресле или не шло писание. Рядом с входной дверью помещался книжный шкаф. А в углу, образованном шкафом и оттоманкой, висела шуба, поражавшая всех посетителей. Алексей Феофилактович объяснял, что опасается, как бы какой-нибудь истопник не утянул крытую сукном драгоценность из прихожей.

Гостей Алексей Феофилактович принимал совершенно по-домашнему – чаще всего в халате с торчащим из-под него воротом ночной рубашки, в шлепанцах. Покуривая трубку с длинным мундштуком, он возлежал на своем любимом турецком диване и внимательно слушал собеседников. Если разговор по-настоящему занимал его, он вскакивал и начинал расхаживать по кабинету, весомо, несколько покровительственно рассуждая о затронутом литературном или житейском вопросе. Его костромской выговор не производил впечатления деревенской неотесанности, наоборот, Писемский с его свободно и энергично льющейся речью казался каким-то чудом уцелевшим осколком старинного барства. Во времена феодальной раздробленности Руси каждый боярин, надо полагать, гордился своим выговором, как семейным достоянием, свидетельствовавшим о его особости, о его кровном родстве с «отчиной и дединой». Тогда диалекты осознавались как свидетельство независимости. И подчиниться чужому речевому строю значило признать над собой чужую волю, расписаться в несамостоятельности.

Трудно сказать, сохранял ли Писемский свою «говорю» в годы учения в университете, служа в Москве и Костроме. Представляется, что он стал «нажимать» на экзотический выговор, сделавшись известным писателем, слово которого жадно ловилось и почтительно сохранялось в душе – он видел это по глазам слушателей, по их восторженным переглядываниям, когда изрекалось очередное ни на что не похожее мнение.

Говорил Писемский ярко, точно и остроумно определяя характерные особенности лиц и общественных явлений. Его суждения о собратьях-писателях надолго западали в память собеседников.

Друзей, любивших бывать у Писемских, привлекали, конечно, не только занимательные беседы с хозяином и возможность хорошо пообедать. Людям нравилась сама атмосфера этого полукостромского-полупетербургского дома. Добрым гением его

была милая Екатерина Павловна, тактичная, умная, гостеприимная. Тургенев, хорошо знавший семейство Алексея Феофилактовича, однажды написал ему: «Я уже, кажется, вам сказал раз, но ничего, – можно повторить! не забывайте, что вы выиграли главный куш в жизненной лотерее: имеете прекраснейшую жену и славных детей».

Дети Писемского действительно «удались» – на них с умилением засматривались все гости. Старший Паша сильно походил на отца; это был веселый, добродушный крепыш. Меньший Коля отличался большей задумчивостью, грациозностью. Его красивое личико с тонкими чертами лица вызывало у отца приступы восторга, он подхватывал мальчика на руки, целовал, бормоча всякие забавные прозвища. Впрочем, он старался не выделять ни одного из братьев и к обоим относился с одинаковой нежностью. Дети пользовались в доме полнейшей свободой; не раз они вбегали в кабинет Алексея Феофилактовича, когда у него сидели гости, но отец не гнал их, напротив, прервав беседу, гладил сыновей по голове, ласково шутил с ними, с явной гордостью за них поглядывая на посетителей.

Екатерина Павловна также производила на посетителей, впервые бывавших у Писемского, неотразимое впечатление. Стройная красивая женщина с ясным и приветливым выражением лица была своего рода добрым гением этого дома. На любые шумные выходки Алексея Феофилактовича она смотрела очень просто. Стоило ему ввалиться после ночного гульбища с компанией случайных приятелей, как на столе в гостиной являлся чай и Екатерина Павловна, кротко поглядывая на мужа и его гостей, предлагала им взбодриться. Эта манера обращения действовала сильнее всякого крика. Гуляки вдруг разом смирнели и поспешно ретировались, а сам Писемский, пряча глаза, скрывался в кабинете и, завернувшись в плед, коротал ночь на своей любимой оттоманке.

На другой день Алексей Феофилактович то и дело принимался бормотать извинения, но Екатерина Павловна вопросительно изгибала бровь, и он стыдливо умолкал. На неделю-другую Писемский уходил в работу, и только изредка вызывал к себе жену звоном колокольца, чтобы сказать:

– Кита, я здесь намарал несколько листиков. Перепиши, дружок, по-человечески да поставь где нужно французские фразы…

Домоседствовал писатель по водворении в Петербурге довольно долго. Служба в министерстве уделов его не обременяла – единственное, что он сделал до своего выхода в отставку (апрель 1857 г.), это пересмотрел дела одного из полков.

Но, привыкнув к каким-то регулярным занятиям, Алексей Феофилактович ощущал непривычную пустоту, да и перспектива остаться при одном литературном заработке его пока что пугала. Посему он без больших сомнений принял предложенное Дружининым место соредактора «Библиотеки для чтения».

Александр Васильевич стал во главе этого известного издания в ноябре 1856 года, сменив предприимчивого, но беспринципного журналиста Старчевского. Его пригласил новый владелец «Библиотеки» – молодой, хваткий инженер-предприниматель Вячеслав Петрович Печаткин. Это был человек торговой складки, нечто вроде Краевского. Ему хотелось превратить журнал в доходное дело, а Дружинин с его связями мог привлечь к сотрудничеству видных писателей. Когда Александр Васильевич предложил издателю кандидатуру Писемского как заведующего изящной словесностью и критикой, Печаткин соблазнился возможностью выставить на обложку одно из самых громких литературных имен – это была тоже недурная приманка для читателя.

Раньше Алексей Феофилактович разделял отвращение своих собратьев по перу к бойкому, вульгарному рупору Сенковского, излюбленному дремучей провинцией. В одном из писем 1855 года он негодовал после первого знакомства со столичной печатью: «Некоторые петербургские журналы, как, например, „Библиотеку для чтения“ и „Пантеон“, следует похоронить. Надобно знать, какую мерзость человечества составляют сотрудники этих журналов». Но под руководством Дружинина «Библиотека» представлялась ему совершенно иною – он готов был предпочесть ее даже прежним своим журнальным привязанностям.

Заняв место соредактора, Алексей Феофилактович со рвением принялся за дело. Прежде всего он вспомнил о старых друзьях-москвичах и написал Островскому: «Получив это письмо, будь так добр: собери всю вашу московскую братию: Григорьева, Эдельсона, Алмазова, Шаповалова и еще кого знаешь, участвовавших в молодой редакции покойного „Москвитянина“, и попроси у них от меня покорнейше помочь мне; я открою им свободнейший орган для выражения их убеждений, в которых, вероятно, мы не будем разниться и которые в „Библиотеке“ будут состоять в том, чтобы восстановить и хоть сколько-нибудь раскрыть не достоинства уж, а свойства человеческие русского человека, которые „Русский вестник“ окончательно у него отнял, и что в самых пороках и преступлениях наших есть нравственное макбетовское величие, а не мелкое мошенничество, которым они все хотят запятнать. Второе: привести в ясность, напомнить те

эстетические требования, без которых Литература все-таки не может назваться Литературой: – и мельниковский донос (в „Медвежьем угле“) на инженера все-таки не повесть и вовсе не имеет той прелести, которою она благоухает для некоторых». Последнее указание на рассказ П.И.Мельникова (Андрея Печерского) говорит о том, что обличительное направление, только начинавшее развиваться в полную силу, уже вызывало раздражение у Писемского, возможно, не без влияния жреца «чистого искусства» – Дружинина. Да и статьи Чернышевского и Добролюбова, высмеивающие «обличительство», он, надо полагать, читал.

Но «командир-редактор», как называл Алексей Феофилактович своего коллегу, не очень-то склонен был подаваться в сторону русофилов. При своем англоманстве, джентльменских манерах и вкусах, он являл собой типичный образец литературного западника. Позиция руководимого им журнала вызывала восторг у самых заклятых противников «славянской» партии. В.П.Боткин писал Дружинину: «В московском кругу мнение о „Библиотеке“ вашей самое благосклонное: ее считают не только хорошим журналом, но самым честным и чистым». Василий Петрович разумел круг либералов, группировавшихся вокруг катковского «Русского вестника».

К этому времени в литературе явственно обозначились «партии» – в одних журналах все яснее слышался голос радикально настроенной молодежи, в других – раздраженное ворчание «староверов». Некрасовский «Современник», еще несколько лет назад объединявший лучшие литературные силы всех направлений – и западников, и «москвитян» вроде Островского и Писемского, – к концу 1850-х годов стал основной трибуной революционной демократии. После прихода в журнал Чернышевского и Добролюбова, выступивших с яркими критическими статьями, писатели умеренных взглядов, такие, как Тургенев и Анненков, стали все реже бывать в редакции.

Но и в «Библиотеке» с самого начала выявились расхождения между соредакторами. Так, Дружинин решительно восстал против первой же статьи Евгения Эдельсона, заказанной московскому критику Алексеем Феофилактовичем. И разногласия мало-помалу накапливались...

С точки зрения оживления беллетристического отдела «Библиотеки» Писемский сделал немало. При нем в журнале напечатаны такие значительные произведения, как «Три смерти» Толстого, «Первая любовь» Тургенева, некоторые из «Губернских очерков» Щедрина, «Воспитанница» и «Гроза» Островского.

Вспомнил Алексей Феофилактович и про своих старых приятелей-костромичей. Тот самый Николай Дмитриев, с которым когда-то гимназист Писемский сразился на кулачках за право называться первым сочинителем, печатает в «Библиотеке» две свои повести. Сергей Максимов, приобретший уже известность как знаток народного быта, выступает с художественными очерками о знахарях и колдунах. Знакомец по Тюб-Кареганскому полуострову Тарас Шевченко присылает стихи, и они также появляются на страницах журнала. И своими собственными сочинениями Писемский старается поддержать престиж «Библиотеки» – здесь опубликованы драма «Горькая судьбина», путевые очерки о поездке в Астрахань, повести «Старая барыня» и «Старческий грех», роман «Боярщина». То есть почти все, написанное им в петербургские годы, впервые увидело свет в его журнале. Только «Тысяча душ», запроданная Краевскому задолго до прихода Алексея Феофилактовича в «Библиотеку», появилась в «Отечественных записках».

Этот роман, до сих пор остающийся самым известным произведением Писемского, печатался в журнале Краевского с января по июнь 1858 года. Ни над одной из своих книг Алексей Феофилактович не работал столь продолжительно. Задуманный еще в Костроме, роман по ходу писания претерпел несколько весьма существенных изменений, что отразилось и на стройности его композиции, и на единстве идейной концепции.

В пору цензурных строгостей «мрачного семилетия» (1848-1855) нечего было и думать о создании широкого полотна, изображающего Россию на социально-политическом «срезе». Писатель признавался друзьям, что сделал своего главного героя Калиновича смотрителем уездного училища, а не губернским чиновником, так как опасался, что, задев службу, навлечет на себя гнев цензуры. Оттого-то, когда условия для печатания стали благоприятными, писатель «на ходу» произвел своего персонажа в вице-губернаторы и послал его воевать с чиновным произволом в ту самую губернию, где Калинович когда-то мелко и бесславно подличал.

Осенью 1854 года Алексей Феофилактович сообщал из своего раменского уединения кузену жены Аполлону Николаевичу: «Не знаю, писал ли я тебе об основной мысли романа, но, во всяком случае, вот она: что бы про наш век ни говорили, какие бы в нем ни были частные проявления, главное и отличительное его направление практическое: составить себе карьеру, устроить себя покомфортабельнее, обеспечить будущность свою и потомства своего – вот божки, которым поклоняются герои нашего времени – все это даже очень недурно, если ты хочешь: стремление к

карьере производит полезное трудолюбие, из частного комфорта слагается общий Комфорт и так далее, но дело в том, что человеку, идущему, не оглядываясь и не обертываясь никуда, по этому пути, приходится убивать в себе самые благородные, самые справедливые требования сердца, а потом, когда цель достигается, то всегда почти он видит, что стремился к Пустякам, видит, что по всей прошедшей жизни подлец, и подлец черт знает для чего!»

Так оно и шло на протяжении первых трех частей романа, законченных еще до поездки в Астрахань. Калинович соблазнял мечтательную, умненькую Настеньку Годневу и, обманув ее, уезжал в Петербург, дабы там продать себя за тысячу душ немилой богачке. При всем том он сочинял какую-то тусклую беллетристику, занимался самоедством, но все же поступал не по совести. Словом, вырисовывался незаурядный, новый и для самого Писемского, и для тогдашней литературы тип[10], воплощавший в себе и черты сентиментала, и расчетливого подлеца.

Но, окунувшись после «литературной экспедиции» в атмосферу либерального ажиотажа, Алексей Феофилактович бросил прежний план, погнался за обличительной остротой во вкусе тогдашней публики.

Изменив своей позиции художнического бесстрастия – видимого, внешнего, – писатель соблазнился возможностью впрямую, «наотмашь» расквитаться с бюрократическим мирком, в котором по милости судьбы ему пришлось вариться лучшие годы молодости. Однако публицистический наскок на темные стороны жизни не дал тех художественных результатов, на которые рассчитывал писатель. Он с оторопью осознавал, что так удачно вылепленные им вначале полнокровные образы вдруг стремительно отощали, превратились в ходячие аллегории, роман начал рассыпаться...

Надо было спасать Главную Книгу – так он именовал в душе свой роман. Нельзя было больше обсахаривать подлеца Калиновича, делать из него борца за правду. Нравственное чутье подсказывало писателю, что не может в корне переродиться человек, основавший свое благополучие на таком идейном фундаменте: «В жизни, для того чтоб сделать хоть одно какое-нибудь доброе дело, надобно совершить прежде тысячу подлостей». Поэтому Писемский сообщил его «правдоустроительной» деятельности некоторый налет мстительности – Калинович крушит тех, кто когда-то способствовал его падению, причем поступает по всем правилам подлости. Один из подчиненных нового вице-губернатора

говорит: «Рожа-то у канальи, как у аспида, по пословице: гнет дуги – не парит, сломает – не тужит». Но все-таки объективно Калинович оказывается служителем справедливости и терпит поражение в столкновении с ретроградными верхами. Некогда обманутая им Настенька с голубиной кротостью прощает его и возвращает ему свое сердце. Нет, не задалась вторая половина романа, не туда занесло его с этим реформаторством...

Главная идея «Тысячи душ» та же, что почти через десять лет будет разработана Достоевским в «Преступлении и наказании». Писемский открыл в русской литературе галерею героев, перешагивающих через собственную совесть, совершающих изначальное зло ради будущего добра. Но поскольку художественное воплощение задуманного, поначалу столь убедительное, было нарушено, образ Калиновича не получил окончательного, логически законченного развития, которое могло придать книге столь же неотразимую убедительность, какой достиг позднее автор «Преступления и наказания».

Те из собратьев по перу, что жили в Петербурге или появлялись здесь наездом из Москвы, в основном приняли роман без всяких оговорок. В пору появления новое сочинение Писемского было оценено как крупнейшее литературное событие. Это был, безусловно, лучший роман 1858 года. Не так уж мало для той поистине классической поры – каждый год появлялось что-то выдающееся. 1856-й – «Губернские очерки» Щедрина, «Рудин» Тургенева, 1857-й – «Юность» Толстого, 1859-й – «Обломов» Гончарова, «Дворянское гнездо» Тургенева...

Современников радовало не только мастерство писателя, но и его социальный критицизм. М.Е.Салтыков, сам много служивший, находил «Тысячу душ» редкостно правдивым произведением – в той части, которая касалась чиновного мира. Но его слух резанули светские описания: «Я чрезвычайно люблю роман Писемского, но от души жалею, что он сунулся в какое-то великосветское общество, о котором он судит как семинарист. Это производит ужасную неловкость и недовольство в читателе. Притом в самой завязке романа есть натяжка: когда ж бывает, чтобы штатные смотрители училищ женились на княжнах? У нас карьеры делаются проще: посредством преданности, лизанья рук... Ошибка в том, что автор извлекает своего героя из слишком низкого слоя, из которого никто и никогда не всплывал наверх. У нас люди этого слоя, при железной воле, разбивают себе голову, а не карьеры делают. Правда, что если б он поступил иначе, то не было бы и романа».

С симпатией отнесся к новому произведению своего литературного собрата Гончаров, который также хорошо знал, что

за джунгли эти самые «служебные отношения», выведенные Писемским. Именно он был цензором романа, когда «Тысяча душ» печаталась в журнале. Только усиленное заступничество Гончарова дало Краевскому возможность без переделки опубликовать четвертую, наиболее острую по тем временам часть. Причем сам просвещенный цензор получил за это выговор.

Демократическая публика с восторгом приняла «Тысячу душ». Ее не столь уж заботили вопросы о художественной соразмерности частей произведения, о психологической правде образов. Сила обличения, явленная в романе, искупала в глазах молодежи все шероховатости. Даже по прошествии нескольких лет лидер радикальных отрицателей Дмитрий Писарев напишет: «О таком романе, как „Тысяча душ“, нельзя говорить вскользь и между прочим. По обилию и разнообразию явлений, схваченных в этом романе, он стоит положительно выше всех произведений нашей новейшей литературы».

Вопросы, стоявшие перед Калиновичем, так или иначе решали молодые люди тех лет: переступить или нет через маленькую подлость для будущего торжества правды и красоты, нужен или нет «первоначальный капитал» для устроителя справедливости? Того исступления, с которым бедный Раскольников вынашивал свои антиномии (Наполеон я или тварь дрожащая), конечно, не было – это, по мнению учеников Бентама и Бюхнера, слишком мифологией попахивало, мистикой. Вопрос о боге, о черте для них был как день ясен. Боборыкин описывал своих восторженных современников, горячо принявших новейшие естественнонаучные учения, особенно Дарвина:

"Тогда и студенты и студентки повторяли в каком-то экстазе:

– Человек – червяк!

В этой формуле для них сидело все учение, которое получило у нас смысл не один только научный, а и революционный!"

И эпопею Калиновича прочитывали так: поначалу героя среда заела, а потом, когда (приобретя положение) он попытался ей за это отомстить, она его доконала. А путь, который он избрал... Ну это же как день ясно – прямехонько в тупик. Надо было на месте, в своем училище творить добро... Да нет, все равно ничего не дали бы сделать. Так, может, все-таки верно он поступил, пойдя Наверх? Помилуйте, господа, ну зачем так категорично – ведь это все-таки литература, сочинение; никто вам не предлагает поступить так же.

Поднимался шум, говорили разом несколько человек. Потревоженный табачный дым, дотоле сизым пологом висевший над обществом, начинал ходить клубами. Чай остывал, цилиндрики пепла все чаще падали на скатерть, чья-то широкая

длань в чернилах начинала рубить мутный воздух, другая, узкая длань ребром колотила по всему столу, словно топор, делящий мясную тушу. Робкий петербургский рассвет разливался за окном, и кто-то, заметив это, останавливал охрипших диспутантов. Как-то разом умолкали, залпом выпивали холодный чай, хрустели суставами, подходили к окну. «М-да, комета становится все ярче. Не иначе к нам в гости пожалует... Не зря народ толкует, что это к войне либо к мору. Если серьезно, без поповщины, то я вижу в этом природном знамении великий знак, господа: освобождение грядет!»

По деревням, по людским дворянских усадеб ползли слухи о грядущем освобождении. Никто – ни помещики, ни крестьяне не знали толком, каким будет это освовождение. Одни ждали молочных рек и кисельных берегов, другие трепетали перед новой пугачевщиной.

Алексей Феофилактович тоже с тревогой ждал крестьянского освобождения. Писатель много думал все эти годы о судьбе деревни, о будущем России, которое окажется в руках тех, кто сегодня еще не имеет даже права именоваться гражданином своего отечества. Вышедшая из-под его пера драма «Горькая судьбина» (1859 год) стала своего рода литературным манифестом в пользу освобождения. Несколько десятилетий спустя, когда видна будет вся грандиозная перспектива русской культуры XIX века, крупный литературовед той эпохи А.И.Кирпичников назовет драму Писемского самым резким "наряду с «Записками охотника» протестом против крепостного права. Он писал: «...это сильная, красивая и честная пьеса, делающая честь народу, из которого она вышла, и художнику, который сумел так хорошо понять свой народ».

Материал для «Горькой судьбины» дала, как и почти для всех прочих сочинений Писемского, жизнь российского захолустья. Еще в 1847 году, когда он поселился в деревне и усиленно занялся литературными трудами, в Чухломском уезде произошел случай, ставший сюжетной основой драмы.

Дворовый человек Михайлов подозревал свою жену Елизавету в любовной связи со старостой деревни. Даже родившегося ребенка он не признавал своим. Однажды, когда жена вышла из дому, ревнивый супруг вообразил, что она отправилась к любовнику, и в смятении бросился к своему двадцатинедельному сыну. На следствии Михайлов показал, что, взяв младенца из зыбки, он перекрестил его, поцеловал и швырнул на пол. Об этом убийстве производилось следствие, причем Писемскому пришлось заниматься делом Михайлова, когда он поступил на службу чиновником особых поручений.

А через десять лет после описанного преступления в том же самом Чухломском уезде произошел еще один уголовный казус: крепостной мужик ударил ножом помещика, которого подозревал в любовной связи со своей женой. Алексей Феофилактович, несомненно, хорошо знал детали и этого дела – благодаря переписке с родней, общению со знакомыми, наезжавшими из Костромы, он постоянно оставался в курсе губернских новостей.

Соединив в рамках одного сюжета оба случая, кое в чем «подправив», «романизировав» действительность, писатель организовал житейский материал по законам сцены. В тоне изображения главных действующих лиц пьесы и на этот раз сказалось давнишнее отвращение Писемского к слабодушным рыцарям фразы. Главный герой драмы – питерщик Ананий Яковлев – представляется не тем патологическим ревнивцем, каким был убийца собственного ребенка. Это сильный, умный, честный мужик. А барин Чеглов-Соковин оказывается полным ничтожеством, неспособным по-настоящему вступиться за совращенную им «мужнюю жену». Лизавета из «Горькой судьбины» прижила ребенка со своим господином во время долгой отлучки Анания. Он, узнав об этом, прощает ее, но, увлеченная «изящным» барином, она слышать не хочет о том, чтобы уехать с законным своим супругом в Питер. Жалкий ее соблазнитель также препятствует Ананию увезти Лизавету. Затравленный не столько господином, сколько подлым старостой и покорным ему «миром», герой убивает «господское отродье», а сам бежит. Но через некоторое время Ананий отдается в руки правосудия, сломленный сознанием вины, тяжестью греха.

Когда пьеса была представлена в цензуру, автор весьма основательно опасался, что описанная им история вызовет настороженное отношение; к тому же первый вариант «Горькой судьбины» завершался не столь мирно, как напечатанный. Ананий Яковлев, выбравшись из леса после своего бегства, убивал старосту Калистрата. Но, к удивлению писателя, цензор пропустил драму без особых придирок. Алексей Феофилактович намеревался отдать рукопись в набор, как вдруг посыльный принес извещение о том, что министр народного просвещения Ковалевский затребовал пьесу для прочтения. А через несколько дней Писемского пригласили к министру. Выслушав горячие похвалы своему таланту, писатель сразу понял, что дело идет о каких-то новых препятствиях к печатанию...

Да, он прекрасно понимал, сам будучи помещиком, что значит теперь писать подобные острые вещи, касающиеся быта крепостных. Правительство готовит эмансипацию, и возбуждать в таких условиях страсти... Нож, кровь, мщение, несправедливость

владельца – этим не стоит играть. Столица наполнена такими вот питерщиками, как Ананий Яковлев, они заполняют галерку, да и журналы в трактирах почитывают. Какие понятия они унесут в свои деревни, насмотревшись подобных пьес?.. Ничего не попишешь, придется переделывать, кое-что смягчить, кое-что убрать – совсем чуть-чуть, речь не идет о грубой вивисекции. Провожая Алексея Феофилактовича к выходу из кабинета, министр бережно поддерживал его за локоть и с приятностью на лице бормотал прощальные похвалы...

Вынужденная отсрочка с печатанием пошла на пользу пьесе. Алексей Феофилактович читал ее друзьям и получил несколько дельных советов, которые пригодились при доработке «Горькой судьбины». Знаменитый актер Мартынов пришел в восторг от услышанного, но усомнился, что Ананий мог стать атаманом разбойников и убить бурмистра.

– Нет, это нехорошо, – в раздумье проговорил артист. – Ты заставь его лучше вернуться с повинной головой и всех простить.

Писемского поразила точность проникновения Мартынова в психологию героя, он разом увидел искусственность, мелодраматичность концовки, смутно ощущавшуюся им с самого начала. Порывисто обняв Александра Евстафьевича, писатель тут же объявил присутствующим, что изменит финал согласно его предложению.

Напечатанная в ноябре 1859 года в «Библиотеке для чтения» драма вызвала в основном положительные оценки критики. В Анании Яковлеве увидели «идеал... основанный на коренных чертах характера, свойственного русскому народу» (Г.А.Кушелев-Безбородко), «черты широкой размашистой натуры! Черты чисто русские» (С.С.Дудышкин). С восторженной статьей выступил М.Л.Михайлов, объявивший «Горькую судьбину» «произведением того высокого, чистого искусства, которое мы ценим столь высоко, видя в нем руководящую и зиждущую силу». Революционный демократ поставил драму Писемского превыше всего в тогдашней литературе: «Мы не знаем произведения, в котором с такою глубокой жизненной правдой были бы воспроизведены существеннейшие стороны русского общественного положения. Представить такую поражающую своей наглядной действительностью картину горьких явлений нашего быта мог только художник, весь проникнутый народною силой и сознанием этой силы».

Но были и иные мнения. Те, кто искал поучений, кто привык первым делом отыскивать в произведениях перст указующий, оказались в растерянности. Перста не было! Константин Аксаков печатно возмутился: «Трудно себе представить более неприятное

и даже оскорбительное впечатление, какое овладевает при чтении этой драмы. В драме выведено весьма нравственное лицо, крестьянин Ананий... Отчего же бы, кажется, возмущаться? Кажется бы, напротив! Но противоречие заключается в самом художественном изображении этого лица, в той полной неискренности, с какою это нравственное лицо представлено, в том глубоком отсутствии внутреннего сочувствия, в том совершенно внешнем отношении, в какое стал к нему художник». А в самом конце статьи критик приговорил: «Нет, кажется, лица с нравственным элементом не удаются г.Писемскому. Калиновичи – другое дело. Калинович – это Дон Карлос г.Писемского. Но зато при таком Дон Карлосе нет сил изобразить сколько-нибудь нравственное лицо, и всего менее – русского крестьянина».

Закрыв книжку «Русской беседы» с этим отзывом, Алексей Феофилактович пожал плечами: до каких же пор его будут сечь за пресловутое бесстрастие? Калинович, видите ли, художественное лицо, тип, а мужика не с руки изображать.

Не знаешь, кому и верить. Ну ладно, «Современник» то и дело задевают критики «Библиотеки для чтения», может, поэтому тот желчи не пожалел. А Константин Аксаков? Уж с ним-то никаких контр не было... Его же родич – Федор Иваныч Тютчев – на днях после чтения «Горькой судьбины» сказал: «Не знаешь, художник ли подражал здесь природе, или природа ему».

Нет, дело было не в личных или литературных счетах. В ту горячую пору, когда размежевание между враждующими общественными партиями достигло предела, от каждого писателя ждали прежде всего четко заявленной позиции. Это казалось важнее всякой художественной диалектики. Не с нами, значит, против нас – так ставили вопрос радикалы всех лагерей. И отсюда та жестокость поношений на журнальных страницах по адресу писателей, не желавших склониться к однозначности. Вот и в «Горькой судьбине» было нечто, не позволявшее дать ей однозначно положительную оценку...

Лучшим судьей оказалось время. Драма Писемского вошла в число классических пьес русского театра. Великие актеры воплощали на сцене образы, созданные воображением писателя. Роль Лизаветы стала высшим достижением гениальной Стрепетовой. Станиславский сыграет Анания – и это будет также одна из главных его актерских удач.

Писемский оказался писателем несовременным. Он ускользал от дидактического циркуля, коим пытались обмерить образы и идеи его произведений. Не обретя определенности заявленных симпатий (ах, как легко и ясно было все в «Браке по страсти», в «Богатом женихе»), обвиняли писателя в безмыслии, в тупом

натурализме. «Скрытность» раздражала, объективность представлялась равнодушием. И только на рубеже веков, когда общество поотвыкло от поучений, когда оно начало различать полутона, Писемского стали понимать и оценивать более беспристрастно. Эстетически развитый читатель, не требовавший наводящих указаний, для которого он писал, в массе явился с новым столетием. Но сам автор остался где-то там, в ином времени, полузабытый, полупохороненный критикой.

Статья Иннокентия Анненского о «Горькой судьбине» была одной из немногих попыток осмыслить творческое наследие Писемского через призму прошедших десятилетий. Выступление выдающегося поэта и проникновенного читателя, не ставшее, к сожалению, началом «ренессанса» Писемского, по сей день представляется наиболее точным и глубоким прочтением «Горькой судьбины», дает ключ к пониманию творческой манеры писателя, особенностей его художественного мышления.

Анненский полагал, что пьеса Писемского открывает собой историю новой русской драмы и, ставя ее выше большинства произведений отечественной драматургии, сопоставлял с трагедиями античных классиков. Критик доказал, что «Горькая судьбина» представляет собой «чисто социальную драму», развенчивающую идею крепостного права не словесно, а всем строем, всей, так сказать, атмосферой, воссозданной драматургом. В произведении на зрителя воздействовали не события, не монологи персонажей, а сама неотвратимость, роковая предначертанность совершающегося. Поняв это, Анненский определил и ту особенность Писемского, которая закрывала от многих критиков идейную глубину его творений: «Идеи Писемского внедрялись в самый процесс его творчества, приспособлялись к самым краскам картины, которую он рисовал, выучивались говорить голосами его персонажей, становились ими: и только вдумчивый анализ может открыть их присутствие в творении, которое поверхностному наблюдателю кажется литым из металла и холодным барельефом».

Современники не смогли с такой бережной точностью определить особость писателя, его своебышность (излюбленное слово Писемского). Но «Горькую судьбину» оценили все-таки в основном правильно – об этом свидетельствует то, что она была вместе с «Грозой» Островского первой пьесой, получившей Уваровскую премию – высшую награду, присуждавшуюся Академией наук произведениям драматургии.

Однако, несмотря на это, сценическая судьба драмы оказалась нелегкой, на сцену ее долго не пропускали. У кого только из сильных мира сего не читал ее Алексей

Феофилактович, но никто не смог посодействовать постановке «опасной» пьесы.

В один из таких суматошных дней, занятых беготной по редакционным делам, по устройству злополучной «Судьбины», Алексей Феофилактович встретил Михаила Михайловича Достоевского, хлопотавшего, по слухам, о разрешении на издание нового журнала. Об этом много говорили в литературных кругах столицы. Писемский, как руководитель одного из ведущих ежемесячников, естественно, испытывал особый интерес к тогда еще малознакомому табачному фабриканту – неужто еще один Печаткин объявился, видать, литературное дело действительно становится выгодным помещением капитала. Алексей Феофилактович первым поздоровался с Достоевским и, мельком взглянув на стоявшего рядом с ним невысокого господина в цилиндре и в видавшей виды шубе, отметил про себя какое-то сходство между незнакомцем и Михаилом Михайловичем – выражение глаз, что ли, показалось ему весьма характерным. По соискатель своего места в петербургской журналистике тут же разрешил его недоумение.

– Позвольте представить вам моего брата Федора Михайловича...

Они потом много раз виделись на различных четвергах, пятницах, в книжных лавках, подолгу беседовали, но особой тяги, симпатии друг к другу не ощутили. Впрочем, Алексею Феофилактовичу казались очень занимательны оценки Достоевского-младшего. Но о том, что больше всего интриговало в нем Писемского, Федор Михайлович молчал – а самому расспрашивать его о петрашевцах, о каторге, о солдатчине было попросту бестактно.

В середине апреля 1860 года Литературный фонд устроил спектакль по гоголевскому «Ревизору», все роли в котором играли известные писатели. Сбор должен был пойти в пользу новоучрежденного Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (таково было полное наименование Литературного фонда). Писемский, широко известный своими актерскими талантами, получил роль городничего, а среди других главных исполнителей оказался и Федор Михайлович. Почтмейстер Шпекин, сыгранный Достоевским, не очень-то взволновал публику, завороженно следившую за великолепным городничим и юрким прохиндеем Хлестаковым, в роли которого выступал журналист Петр Вейнберг. Но Алексею Феофилактовичу, хорошо разбиравшемуся в актерской игре, показалось, что Достоевский тонко понял суть своей роли, и после спектакля он сказал ему несколько лестных слов.

Позднее оба писателя неоднократно участвовали в публичных чтениях, устраивавшихся Литературным фондом в Пассаже. Здесь собирались зимой и весной 1860 года самые известные литераторы. Публика, до отказа забившая зал, рукоплескала людям, совсем недавно вернувшимся из ссылки, освобожденным от солдатчины – Костомарову, Шевченко, Плещееву…

Писемский был одним из основателей Литературного фонда – его подпись стояла под протоколом первого собрания вновь учрежденного общества 8 ноября 1859 года. На рубеже 50-х и 60-х годов в литературе уже наметились принципиальные расхождения между «партиями» консерваторов, либералов и сторонников революционного действия. Литературный фонд замысливался как объединение, способное возвыситься над «страстями», и в то же время с определенно прогрессивным направлением. На фотографии 1859 года, запечатлевшей первый Комитет фонда, рядом стояли критики-оппоненты Чернышевский и Дружинин[11]. Идейный руководитель революционных демократов, приветствуя мысль о создании общества, писал: «…мелкие личные несогласия должны быть отброшены в сторону, когда представляется возможность соединиться для дела, которое принесет пользу не одним нуждающимся литераторам, но и может возвысить положение всей литературы…»

Первые же акции Литературного фонда, за которые голосовал и Писемский, вызвали симпатии к новому обществу в демократических кругах. Назначение пенсии семье В.Г.Белинского, выдача пособий Ф.М.Достоевскому и другим малоимущим писателям – средства для этого собирались во время публичных чтений и драматических представлений, устраивавшихся силами писателей. Писемский играл на таких вечерах едва ли не первую скрипку.

Когда Литературный фонд добился освобождения от крепостной зависимости родственников Т.Г.Шевченко, это было воспринято многими как своего рода демонстрация политических устремлений нового общества. Аплодисменты, которыми публика награждала участников чтений в Пассаже, выражали не столько оценку художественных достоинств их произведений, сколько признание гражданской позиции писателей.

Дружинин, бывший инициатором создания Литературного фонда, частенько морщился, слыша на заседаниях Комитета мнения о том, что при назначении пособий необходимо учитывать образ мыслей и направление литератора. Особенно настаивал на этом Петр Лавров – активный сотрудник «Библиотеки для чтения». Соредактор Писемского по журналу однажды не выдержал и ядовито заметил:

– Вы готовы наградить всякого, кто обругает или побьет городового.

Алексей Феофилактович не стал тогда возражать Дружинину, хотя в глубине души считал его стремление всех и вся примирить во имя так называемой благопристойности и порядочности слишком наивным. Александру Васильевичу все казалось, что он имеет дело с какими-то чопорными джентльменами – во всяком случае, такими он представлял себе своих читателей. Кругом кипела совсем иная жизнь, но англоману Дружинину разночинная молодежь и ее вожди виделись каким-то досадным нарушением разумного порядка вещей.

Непонимание закономерности происходящего присуще даже лучшим представителям тех сил, которым суждено покинуть историческую арену. Им все кажется, что стоит восстановить «приличие» и общественный порядок, как «смутьяны» сами собой исчезнут. Оттого-то они и заклинают: надо поддерживать мир, не ссориться, пусть все будет чинно и благопристойно. Они горой стоят за спокойствие и дружно негодуют, когда кто-то пытается нарушить его хотя бы посредством печатного слова.

Не балансировать между различными общественными силами, а занять четкую позицию – таково было требование времени. Но именно этого больше всего и не хотелось сторонникам «благонравия». Дружинин безутешно скорбел, наблюдая поляризацию литературных сил: «Поэты и художники, по призванию своему обязанные изображать жизнь и общество во всесторонних их проявлениях, увидели себя под двойным гнетом и, так сказать, под двойною неблагосклонною цензурою. С одной стороны, придирчивые классы общества не давали им вполне высказаться в отрицательную сторону, во всяком указании на общественный порок видя преступную злоумышленность, с другой, сама литература указывала им путь обличения или, по крайней мере, недовольства настоящим, во всяком их светлом образе видя уступку и нелиберальность. Если я изображал дурного помещика, наверху мне говорили, что я подрываю нерушимое крепостное право, если в моем труде попадался помещик добрый и просвещенный, снизу провозглашали, что я отстаю от дела протеста и братаюсь с общественными пороками».

И далее это положение подтверждалось ссылкой на литературную судьбу ближайшего сотрудника: «Писемский попробовал в одной повести вывести отличного исправника, и Писемского заявили чуть не ренегатом в деле прогресса».

Алексею Феофилактовичу, конечно, приятно было читать о себе такое. Кому не лестно прослыть объективным творцом, ваятелем нетленного образа Истины, возносящейся над страстями

века?.. Как и многих его собратьев по перу, Писемского подкупали столь прямолинейные похвалы и в то же время отталкивала нелицеприятная критика революционных демократов, звавших писателей идти дальше, стать выразителями чувств прогрессивной молодежи.

Положение Писемского было двойственным. С Дружининым его связывала и общность дела, и очевидные для всех групповые пристрастия. Но, в сущности, он тяготился своей зависимостью от «командира-редактора», его похвалы также оставляли чувство неудовлетворенности. Что ни говори, а они были сделаны из разного теста – теперь-то Алексей Феофилактович прекрасно понял это. Очарование первых месяцев пылкой дружбы миновало, и Писемский увидел, что благополучному Дружинину, всю жизнь проведшему в комфорте, не ведавшему, что значит борьба за существование, трудно понять своего коллегу, который долгие годы на собственной шкуре познавал прелести «идиллической» жизни в глубинке...

Даже по-человечески они были очень разными. Александра Васильевича отличало необыкновенное самодовольство. (В дневниках его то и дело попадаются фразы: «Я слишком умен, как все мои герои...», «Я всегда буду стоять в первых рядах литературы...».) А Писемский, напротив, знавал долгие периоды тягостной хандры, сомнений, неуверенности в своих силах. Никогда бы не смог он написать что-нибудь подобное дружининскому: «Долгов у меня нет, денег хватает, горя и забот не имеется. Многих людей я люблю, и они меня любят, в душе моей нет ничего тяжкого и недоброго. С таким настроением мне почти везде хорошо и везде приятно...»

И долги у Алексея Феофилактовича были, и враги. И к людям он относился с большой требовательностью, ценя в них прежде всего самобытность и смелость мысли. Оттого-то со временем у него начали вызывать неприязнь благовоспитанные сочинения Дружинина. В частных письмах его есть отзывы о писаниях Александра Васильевича, совершенно неудобные для печати.

Когда совместная работа в журнале перестала связывать обоих писателей, быстро сошли на нет и их приятельские отношения. Писемский почти прекратил бывать у Дружинина и только в редких вежливых записках приносил свои извинения, что не может посетить его – «занят ужасно всевозможными делами».

Взбаламученное море

В конце 1860 года страдавший от чахотки Дружинин оставил редакторство «Библиотеки для чтения», и Алексей Феофилактович сделался единоличным руководителем журнала. Первым программным выступлением его стало объявление об издании «Библиотеки», и уже в этих скупых строках отразились личные пристрастия «земного», реально мыслящего Писемского. Об изящном, о поэте и толпе – понятиях, излюбленных прежним редактором, здесь не поминалось. Оставаясь верным идее объективности искусства (именно в таком смысле понимал его «чистоту» Дружинин), автор проспекта на 1861 год писал, что «во внутреннем характере... журнала должно произойти существенное изменение». Писемскому хотелось, чтобы «Библиотека» более активно участвовала в обсуждении общественных вопросов, в журнальной полемике. Но позиция, заявленная достаточно общо, не обещала резко выраженного направления, редактор явно надеялся держаться золотой середины. Центральная часть объявления выглядела так:

"По своему способу смотреть на вещи редакция «Библиотеки для чтения» столько же далека от того, чтобы проникнуться духом порицания и крайней неудовлетворенности, сколько и от того, чтобы приходить в восторг от характера того совершающегося на наших глазах движения, в которое вовлечены все действующие силы нашей страны.

Наряду с многими другими размышляющими людьми, мы имеем наклонность думать, что, за исключением отъявленных врагов рода человеческого, действиями всех остальных человеческих существ скорее управляет желание добра и правды, чем какие-нибудь другие побуждения; только различные умы, вследствие подчинения их разнообразным влияниям, утрачивают свое природное свойство понимать добро и истину одинаковым образом. В этом заключается обильный источник коллизий между человеческими волями и убеждениями. Но в этом же самом, с другой стороны, открывается и способ смотреть на неблагоприятные факты не как на злоумышленные поступки, и представляется возможность не почитать заблуждение за преднамеренную ложь. Издаваемый нами журнал никогда не будет упускать из виду эту простую истину. Живая борьба из-за живых предметов, конечно, может и даже должна вызывать на увлечение, тем не менее высказанная нами правда постоянно будет присуща духу нашего журнала: этого требуют как чувство собственного достоинства со стороны лиц, принимающих в нем

участие, так и безусловная необходимость честного поведения в отношении к чужим личностям, неодинаково с нами думающим или поступающим".

Сказано несколько туманно, но уже здесь можно узреть все основные слагаемые идейной платформы будущего автора «Взбаламученного моря». Впрочем, легко увидеть их задним числом, зная всю историю духовного развития писателя. А современникам, считавшим Писемского одним из столпов обличительства, совсем непросто было понять из приведенных строк, что «Библиотека» станет мало-помалу в ряды умеренных, даже консервативных, по тогдашним понятиям, изданий. И произошло это одновременно с усилением раскола между революционно-демократическими кругами и «постепеновцами»...

Вошло в употребление словцо «красный» – либеральный цензор академик А.В.Никитенко метил им в своем дневнике неблагонамеренных руководителей общественного мнения. И что особенно удручало просвещенного попечителя литературы – «они (то есть лидеры демократической молодежи. – С.П.) как будто захотели бросить перчатку правительству, вызвать его на бой, вместо того чтобы соединить свои прогрессивные стремления с лучшими его видами – в которых нельзя же ему отказать вовсе – и таким образом сделать его, так сказать, своим помощником, с своей стороны помогая ему во всем благом и не стараясь вдруг, одним ударом, сломить его ошибки и старые предания».

Благодушному Александру Васильевичу не казалась противоестественной мысль о том, что оппозиция должна сливаться с правящей элитой в экстазе взаимной предубедительности. Будучи воспитан в условиях николаевского режима, когда взаимоотношения в обществе строились по иерархическому принципу, академик Никитенко представлял себе эти отношения по схеме «приязнь – вражда». Либо то, либо другое. Обвиняя своих противников в крайностях, он сам оперировал черно-белыми категориями. Сказывалось отсутствие навыков политического мышления...

Писемский, часто беседовавший с Никитенко и его единомышленниками на заседаниях Литературного фонда в многочисленных салонах столицы, пытался разобраться, кто прав в спорах, стихийно возникавших в обществе, полыхавших на страницах печати. До него доходили сведения, что и в правительственных кругах настороженно относятся к полемическим крайностям, и вместе с другими приверженцами осмотрительности и умеренности он начинал опасаться наступления реакции.

Подлинное обострение общественно-политической ситуации

в стране произошло после появления манифеста об отмене крепостного права. Те, кто надеялся, что правительство решительно порвет с прошлым, поняли из этого документа, что их чаяниям не суждено сбыться, что за коренные преобразования надо бороться не только на словах…

Манифест 19 февраля 1861 года был обнародован неожиданно. Вернее, все знали, что он уже подписан царем, но относительно сроков его публикации ходили самые разноречивые слухи.

5 марта заканчивалась масленица. В этот воскресный день все по вековечной традиции семьями приходили в церковь, чтобы причаститься перед началом великого поста и «простить грехи» друг другу. Поэтому храмы как никогда были забиты народом. Правительство не зря выбрало «прощеное воскресенье» – люди в этот день настраивались на миролюбивый лад, лучшей атмосферы для оглашения «Положений 19 февраля» нельзя было и придумать. К тому же вряд ли кто покусится на бунт в стенах церкви. Посему и манифест было поручено читать священникам по окончании службы…

Только треск свечей нарушал гробовую тишину, установившуюся в храме. Алексей Феофилактович тоже затаив дыхание вслушивался в слова манифеста, размеренно звучавшие с амвона.

– Крепостные люди при открывающейся для них новой будущности поймут и с благодарностью примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта…

Послышались скептическое покашливание, вздохи. Там и сям начали переговариваться. Стоявший неподалеку от Алексея Феофилактовича квартальный грозно обвел взглядом публику и требовательно шикнул. Спокойствие ненадолго восстановилось.

– Некоторые думали о свободе и забывали об обязанностях… по закону христианскому всякая душа должна повиноваться власть предержащим… воздавать всем должное и в особенности кому должно: урок, дань, страх, честь… законно приобретенные помещиками права не могут быть взяты от них без приличного вознаграждения или добровольной уступки, что было бы противно всякой справедливости пользоваться от помещика землею и не нести за сие соответственной повинности…

Вокруг снова заволновались. Теперь даже шиканье полицейского не произвело успокоительного действия. В толпе замелькали личности в партикулярных шубах, но с очень цепкими взглядами и совсем не штатской выправкой. Вот двое таких господ подхватили под руки какого-то мастерового и потащили

его к выходу, вот сгрудились вокруг крестьян-отходников...

– Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в «Положении» повинности... – продолжал читать священник, возвысив голос в попытке заглушить ропот.

Но шум все нарастал. Он сделался совершенно недвусмысленным, когда с амвона раздались слова:

– Как новое устройство... не может быть произведено вдруг и потребуется для сего время примерно не менее двух лет.

Кто-то крикнул:

– Да господа-то, в два года-то все животы наши вымогают!

Священник заметно севшим голосом прочел:

– До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности...

На этих словах чтение манифеста пришлось прекратить, пока полиция и проворные господа с цепкими взглядами не восстановили порядок.

Идя домой из церкви, Алексей Феофилактович и Екатерина Павловна испытывали отнюдь не умиротворение по случаю «прощения грехов»; на душе у них было смутно, тревожно.

То, на что утром как-то не обратили внимания, бросалось теперь в глаза – повсюду пестрели драгунские и уланские мундиры, в переулках, выходивших на Невский, стояли конные команды.

Возбужденные кучки мастеровых, студентов, «питерщиков» виднелись возле лавок и питейных заведений. Проходя мимо, Писемские слышали отдельные возгласы: «Надули!», «Не того мы ждали!..», «Два года! – подумать только...»

Народ явно принял манифест без особого ликования...

А вскоре после этого до столицы стали доходить слухи о крестьянских бунтах, о крутых расправах, учиненных над мужиком воинской силой.

Волновалась и молодежь. Сначала Петербургский, а за ним и другие университеты превратились в арену столкновений между студенчеством и властями. Освистанные профессора убегали из аудиторий, ректоры и попечители учебных заведений, осажденные в своих резиденциях, уповали только на полицию, не надеясь уговорами водворить спокойствие...[12]

Вспоминая годы своего учения, Писемский сокрушенно качал головой:

– Ничего не пойму... То ли мы были смирнее, то ли теперь время такое бунташное настало?..

Никитенко, сам преподававший в университете, везде и

всюду ругал безответственных профессоров, которые будто бы в погоне за дешевой популярностью возбуждают студентов к неповиновению.

– Вы слышали? – кричал академик, размахивая жилистыми крестьянскими руками. – Известная партия всячески старается провести в профессора философии Лаврова.

– А что, Петр Лаврович у меня в журнале целый ряд статей о гегелизме напечатал, – отвечал Писемский. – Весьма, я вам доложу, учено...

– Всеми силами надо спасать университет от такого философа, – не слушая возражений, горячился Никитенко. – Продлись долго такое направление в нашем юношестве, наша молодая наука быстро станет увядать, и мы решительными шагами пойдем к варварству.

Писемский не принимал крайностей – ни «беснующиеся умы» (как именовал их Никитенко) не привлекали его, ни взбудораженные событиями последних месяцев либералы, которым теперь мерещились впереди всяческие ужасы. Полагая, что самое благоразумное и достойное в эти неспокойные времена – уберечься от того, чтобы тебя затянули в «партию», Писемский и начертал первое свое программное заявление в качестве редактора «Библиотеки для чтения».

«Редакция... столько же далека от того, чтобы проникнуться духом порицания... сколько и от того, чтобы приходить в восторг...»

Ближайшее будущее показало, что это была наивная попытка «в одну телегу впречь... коня и трепетную лань...».

Первый год редакторства Алексея Феофилактовича оказался для журнала не особенно урожайным. Роман Потехина «Бедные дворяне», пьеса «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» Островского, «Гаваньские чиновники» Генслера. Этого последнего литератора Алексей Феофилактович оценил неожиданно высоко. Зарисовки быта петербургских немцев настолько понравились ему, что он неоднократно читал их на публичных выступлениях в Пассаже. Благодарный Генслер посвящал Писемскому свои новые сочинения. В начале 1862 года «Библиотека» напечатала новые его наблюдения над жизнью соплеменников – «Куллеберг». Не забывал Алексей Феофилактович также про родича своего Аполлона Майкова – и в беллетристическом отделе постоянно появлялись его стихи и критические статьи.

На рубеже десятилетий публика ждала не столько изящного слова, сколько резкого, хлесткого как бич глагола публициста и критика, также озабоченного интересами политическими, социальными. У каждого уважающего себя журнала было

несколько остро пишущих сотрудников, трактовавших общественные вопросы. В годы редакторства Писемского в «Библиотеке» нашли приют Д.Ф.Щеглов, Н.Н.Воскобойников, Е.Ф.Зарин, П.Д.Боборыкин. Первый из них, публиковавший статьи под псевдонимом Охочекомонный, служил учителем гимназии и рассуждал в основном о проблемах образования, об учениях западных социалистов. Воскобойников, занимавший определенно либеральные позиции, был убежденным противником «Современника» и вместе с редактором «Библиотеки» вел против журнала Чернышевского довольно резкую полемику. Е.Ф.Зарин также изострял перо в наскоках на радикалов.

Не отставал от своих соратников-полемистов и совсем молодой П.Д.Боборыкин, помещавший в «Библиотеке» фельетоны под псевдонимом Петр Нескажусь. Он зубоскалил над крайностями нигилизма. Какой переполох вызвали его выступления! Его можно сравнить только с тем шумом, который поднялся после статьи в журнале «Век» по поводу публичного чтения в Перми некой Толмачевой «Египетских ночей» Пушкина. Автора ее, Камня Виногорова (псевдоним П.И.Вейнберга), клеймили как защитника варварства, невежества, домостроевщины. Одним из немногих изданий, поддержавших "безобразный поступок «Века» (под таким названием эта история и вошла в анналы истории русской журналистики), была руководимая Писемским «Библиотека». Охочекомонный тоже считал, что читать такое для дамы безнравственно.

Василий Курочкин издевался в «Искре» над позицией публициста: "...канкан художественнее и нравственнее превосходного стихотворения Пушкина?.. Будьте же последовательны: предложите закрыть все музеи и ступайте с Аскоченским[13] в Летний сад разбивать камнями непокрытые статуи". А по поводу статьи Боборыкина Курочкин напечатал в «Искре» целый стихотворный фельетон «Цепочка и грязная шея», представлявший собой пародийную вариацию на тему «Горя от ума».

Все эти публикации «Библиотеки для чтения» можно было бы истолковать как прямое отражение позиции редактора – они появились сразу после смены руководства журнала. Но собственные выступления Писемского с серией острых фельетонов на общественные темы позволяют считать публицистику и критику его сотрудников лишь фоном его идейной позиции. Охочекомонный, Нескажусь, Зарин и Воскобойников (Н.-ов) были классическими либералами. А редактор «Библиотеки» избрал именно эту породу петербургских деятелей как объект для своих сатир.

Едва став во главе журнала, он с одушевлением берется за новое для себя амплуа. Три фельетона, один за другим появившиеся в первых номерах 1861 года, ясно свидетельствуют, что для Писемского особо ненавистным был тип болтуна, истово исповедующего всякую модную идейку. Правительство готовило целую серию реформ – начиная с отмены крепостного права, кончая введением земского самоуправления. Столичное чиновничество, еще недавно с гордостью носившее тесный мундир николаевского пошива, теперь дружно подлаживалось к начальническому свободомыслию. Созданный Алексеем Феофилактовичем образ статского советника Салатушки, от имени которого писались фельетоны, представлял собой квинтэссенцию служилого либерализма, весьма широко разлившегося по министерским канцеляриям в конце 1850-х – начале 1860-х годов. Писемского отвращала не сама идея планируемых реформ, а то высокомерие, с которым водворяли «волю» Салатушка и ему подобные. Отношение писателя к этой публике определенно отрицательно: «...на нас лежат другие, более серьезные обязанности – обязанности делать преобразования, давать развиться под фирмою наших распоряжений разным народным силам, уничтожать преграды, ставимые невежеством и апатичностью русского народа. Откровенно говоря, это так трудно, так неопределенно, особенно же, совершенно не зная этой огромной России».

Говоря о литературных вкусах статскою советника, Писемский отмечал, что Салатушка предпочитал беззубые фельетоны Дружинина (писавшею под псевдонимом Чернокнижников): «Приятное перо имеет этот фельетонист!.. выстрел как будто бы и был произведен, а между тем никто не задет, и даже ни в кого особенно и мечено не было, а – так, произведена была только маленькая игра с фантомами собственного воображения. Такого рода гласности каждому благонамеренному человеку желать надо...» Из журналов либерал в вицмундире выше всего ставил «Русский вестник», до начала шестидесятых годов считавшийся весьма розовым изданием: «...услуг, оказанных этим журналом России, я даже не в состоянии перечислить: хоть бы взять с одного этого обличительного направления, введенного им в литературу. Читатель, может быть, даже и не знает, что не столько самое общество, сколько мы, петербургские чиновники, питали гнева и озлобления против взяточничества губернских и уездных чиновников; и вот – на страницах „Русского вестника“ в первый раз пылкий Щедрин показал это зло и сразу выставил его в настоящем свете. Прежде обыкновенно как-то смутно и смешанно понимали, что мы –

чиновники и другой – чиновник, и что это все равно; по тут Россия наконец увидела разницу губернских и уездных чиновников от чиновников департаментских и министерских. По всем этим очеркам мы святы и непорочны, яко ангелы. Я даже сильно подозреваю, что сам автор по духу своему должен быть чисто министерский чиновник, потому что так ненавидеть и преследовать этих маленьких червей можно только человеку, который или начальствует над ними, или ревизует их; а потому чем строже он к ним относится, тем более для него заслуг».

Позиция, по-скоморошески заявленная устами Салатушки, в общем не расходилась с воззрениями демократической общественности на чиновных реформаторов, подобно флюгеру вертевшихся согласно «дуновениям» свыше. Да в выступления других авторов «Библиотеки» в основном воспринимались вполне спокойно, если не считать тех, кто непосредственно задевался в статьях и фельетонах журнала. Репутация издания, руководимого Писемским, была вполне добропорядочной, по мнению большинства пишущей братии и читателей.

Алексей Феофилактович не считался консерватором, скорее наоборот. «Библиотека» то и дело печатала обширные материалы о социалистических учениях, о французской революции; критика, хотя и с эстетским уклоном, в общем держалась мнений, признаваемых за передовые. И такое представление о журнале и его редакторе соответствовало действительности.

Но тем разительнее, тем неожиданнее для Алексея Феофилактовича оказалось выступление журнала «Искра», последовавшее в ответ на вполне безобидный фельетон в декабрьской книжке «Библиотеки для чтения» за 1861 год, подписанный: «Старая фельетонная кляча Никита Безрылов». Безымянный автор[14], обрушившийся на Писемского (а именно он укрылся под ерническим псевдонимом), заявлял, что русское печатное слово никогда «не было низводимо до такого позора, до такого поругания, до какого низвела его „Библиотека для чтения“ в декабрьском фельетоне своем». Далее следовали обвинения Безрылова в самом черном обскурантизме. А в конце статьи следовал приговор самому Писемскому как редактору журнала (Елисеев не знал, кто является автором фельетона) – писатель отлучался от прогрессивного лагеря и помещался в соседстве Аскоченского и прочих одиозных фигур.

Удивленный, уязвленный редактор «Библиотеки для чтения» немедленно отзывается на выпад «Искры». В небольшой заметке за подписью самого Писемского, помещенной в первом номере за 1862 год, говорилось: «Как ни слабы мои труды, но моим непотворством ни вправо, ни влево я – полагаю – заслужил

честное имя, которое не будет почеркнуто в глазах моих соотечественников взмахом пера каких-то рьяных и неизвестных мне оскорбителей моих». Далее следовал ответ Никиты Безрылова, в котором «фельетонная кляча» без особых потуг на остроумие, с какой-то растерянностью отводила предъявленные обвинения.

Главный спор возник по трем пунктам: воскресные школы, женская эмансипация, литературные чтения. «Искра» объявила безрыловское балагурство на этот счет вылазкой патологического реакционера, хотя в самом тексте фельетона никаких резкостей не было. Безрылов не отвергал идею воскресных школ для детей бедняков, а только подсмеивался по поводу того, что наставники «разным замарашкам – мальчикам и девочкам... говорят: вы...». Автора фельетона раздражало не намерение приобщить детишек к образованию, а смешное начетничество педагогов, истово уверовавших в спасительность новейших теорий воспитания. Писемский, хорошо знавший душу ребенка, ратовал за детское детство, против иссушения юных мозгов, может быть, верными, но скучными рассуждениями.

Насчет свободы женской тоже ничего страшного сказано не было, и Елисееву напрасно чудился в речах фельетониста звон кандалов, выковываемых про нежный пол. Безрылов ополчился против свободной любви – такой, как ее понимали либеральные елистратишки из петербургских министерств. Не против понятия, а против истолкования этого понятия восставал фельетонист!

И наконец, усмешка по поводу литературных чтений. Кто-кто, а Писемский имел право усомниться в их ценности. Ведь он был одним из их организаторов, на его глазах совершилась стремительная девальвация этого поначалу весьма популярного дела. Проводились чтения под эгидой Литературного фонда, и первые из них имели шумный успех, ибо публика валом валила «на корифеев». А любительские спектакли, роли в которых исполняли известные деятели литературы и журналистики! И там Писемский неизменно оказывался в числе ведущих актеров – даже спустя полвека многие помнили писателя в облике городничего и Подколесина. И вот его-то обругали за ретроградность, за непонимание великого значения мероприятий Литфонда, проводившихся для сбора средств нуждающимся литераторам и ученым. «Вы говорите, что я подвергнул насмешке литературные чтения, – возмущался Безрылов. – Позвольте! Литературные чтения – прекрасное дело; но если их в год будут давать по сту и если будут читать по большей части одни и те же литераторы и перед одной и той же публикой, как хотите, они потеряют свое значение».

Выпад «Искры» был направлен не только против Писемского, но и против руководимого им журнала. Иначе невозможно объяснить накал страсти в анонимной статье Елисеева. Мало ли было тогда всяких действительных ретроградов, зубоскаливших над прогрессом и его знаменосцами, но никому не досталось такой оплеухи, как Писемскому. Даже привыкшая к полемическим крайностям журналистов литературная общественность того времени была поражена выступлением сатирического издания. Д.И.Писарев печатно заявил: «Искра» оклеветала недавно г.Писемского; несмотря на все эти клеветы, следующие друг за другом как частые извержения мелких грязных вулканов, публика продолжает относиться к оклеветанным субъектам так же кротко и ласково, как она относилась к ним до выхода в свет клевещущих статей и статеек. Пушкин остался великим русским поэтом, несмотря на сиплые крики булгаринской партии; Писемский по-прежнему останется первым русским художником-реалистом и по-прежнему будет пользоваться сочувствием и уважением всех мыслящих людей России, несмотря на все восклицания хроникера «Искры», напоминающего собою моську в известной басне Крылова".

Группа известных литераторов, среди которых были Краевский, Майков, Благосветлов, Потехин, подписала против выпада «Искры» протест, который должен был появиться в печати, и только бестактное выступление газеты «Русский мир», заранее известившей о готовящейся акции, сорвало планируемую публикацию.

Писемский давно уже испытывал недоверие к способам полемики, утвердившимся к концу пятидесятых годов в петербургской журналистике («В литературе везде и всюду происходит полнейшая мерзость: все перегрызлись, перессорились, все уличают и обличают друг друга», – писал он Тургеневу). А после истории с «Искрой» Алексей Феофилактович стал смотреть на левый фланг ее с нескрываемой враждебностью. Курочкина со Степановым, издателей сатирического еженедельника, так больно уязвившего его, он почитал за личных недругов. И в одном из ближайших номеров «Библиотеки» решил отомстить им. Получив верстку фельетона Боборыкина «Пестрые заметки», редактор вставил в нею одну фразу в том месте, где шла речь о выступлении Чернышевского на литературном вечере. После слов «Я отказываюсь изобразить тон и перлы этого рассказа во всей их непосредственности» редактор вписал следующее: «Все это принадлежит к области „Искры“... и она – если только, по своей не совсем благородной натуришке, не струсит – должна воспользоваться экспромтом г.Чернышевского».

Вышел скандал еще горший для Алексея Феофилактовича, чем тот, что последовал за безрыловским фельетоном. Редакторы «Искры» прислали весьма грозное письмо. В псы говорилось: «Мы не хотим знать, кто писал эту статью; она помещена в журнале, издающемся под вашею редакциею, и потому вы должны за нее отвечать». Далее авторы послания требовали, чтобы Писемский публично отказался от фразы, касающейся их журнала, а при невыполнении этого ожидали «удовлетворения, принятого в подобных случаях между порядочными людьми» и вопрошали, когда Писемский может принять секундантов, чтобы договориться об условиях дуэли. Алексей Феофилактович ответил весьма резко: «На каком основании вы требуете от меня ответа по статье, напечатанной в „Библиотеке для чтения“? В вашем журнале про всех и вся и лично про меня напечатано было столько ругательств, что я считаю себя вправе отвечать вам в моем журнале, нисколько уже не церемонясь, и откровенно высказывать мое мнение о вашей деятельности, а если вы находите это для себя не совсем приятным, предоставляю вам ведаться со мною судебным порядком».

Затея с поединком казалась Писемскому нелепой. Впрочем, его противники больше не настаивали на дуэли. Они ограничились тем, что выставили ответ Писемского в книжном магазине Серно-Соловьевича, часто посещавшемся петербургской интеллигенцией.

Нетерпимость часто становится причиной заблуждений – искровцы, конечно, были не правы в оценке деятельности Писемского, узость их взглядов не позволила им объективно оценить позицию редактора, помещавшего в руководимом им журнале апологетические работы об учении Дарвина, резко критические выступления против кастовости духовенства. Взять хотя бы 1862 год – в «Библиотеке для чтения» из номера в номер появлялись такие статьи, как «О правах женщины в России», «По поводу наших браков», «Вопрос о правах женщины». Увлечение Писемского естественными науками, проявлявшееся в чрезвычайном обилии посвященных им материалов, должно было, казалось бы, привлечь к журналу симпатии разночинной молодежи.

Алексей Феофилактович недоуменно вопрошал друзей и коллег-журналистов: это как же так – я реакционер? Да что они, журнал мой не читают? Знакомые сочувственно вздыхали, советовали не обращать внимания на недругов. Кое-кто ворчал, что в России мало кого интересует подлинно глубокое научное знание. В разрезанной и растянутой на шпильках лягушке видят столь же идеологически значимый символ, как распятие, а

утверждение о том, что человек произошел от обезьяны, принимается как благовествование новой веры. Недаром немалый процент среди нигилистов составляют выученики семинарий, получившие весьма скромное светское образование и привыкшие выстраивать любую полученную информацию по канонам катехизиса: вопрос – исчерпывающий, не знающий сомнений ответ...

Что ж, в таких рассуждениях была доля истины. Но в том-то и дело, что часть истины не может заменить ее самое. Не Елисеев, не Антонович были виноваты в том, что ни дня не учились в светских учебных заведениях. Мудрено ли, что, отряхнув со своих ног семинарскую пыль, они довели свое неприятие всякого идеализма до парадоксальности, выстроили исступленную веру безверия. Не правильнее ли переложить часть ответственности за возникновение кулачных нравов в тогдашней журналистике на общество, воспитавшее главных оруженосцев прогресса?..

Конфликт с «Искрой» произошел во время наибольшего обострения общественно-политического положения в стране – этот период известен как революционная ситуация конца 1850-х – начала 1860-х годов. После проведения крестьянской реформы и начала межевания земель в деревне заполыхали бунты – мужик почувствовал себя обманутым, обделенным. Об этом же постоянно писал герценовский «Колокол», широко распространявшийся по России. Писемский хорошо был знаком со взглядами издателя газеты, во многом разделял их. После столкновения с руководителями «Искры» Алексей Феофилактович пребывал в растерянности – ведь человек, которого он привык уважать, по ряду вопросов смыкался, как ему казалось, с его противниками. Поэтому одной из главных целей его первой поездки за границу было свидание с Герценом...

В начале мая 1862 года Писемский сообщал Краевскому из Дрездена: «Я тащусь по Европе и пока, кроме хлопот по дороге, никаких еще особых удовольствий не получил». Думается, подавленное настроение, не покидавшее писателя после полосы зимних скандалов, повинно в том, что красоты цивилизации не произвели на него большого впечатления. Прибыв через месяц в Лондон, он сразу же явился к Герцену. Но издатель «Колокола» проводил лето на острове Уайте, и связаться с ним не удалось. Однако Писемский не смирился с этим – встреча с Герценом была просто необходима ему, чтобы нащупать твердые ориентиры в той общественной сумятице, что царила вокруг него. Он ждал ответа: случайно ли то судилище, которое учинили над ним на страницах «Искры», или он действительно в чем-то отстал от времени и поделом получил от более сведущих и передовых

людей. Поэтому Алексей Феофилактович решил дождаться возвращения лондонского эмигранта и написал ему письмо с просьбой о свидании: «Одна из главнейших целей моей поездки в Лондон состояла в том, чтобы лично узнать вас, чтобы пожать руку человека, которого я так давно привык любить и уважать. Когда вы воротитесь? Пожалуйста, сообщите об этом Огареву, которого я имел счастье знать еще в России». К этому посланию писатель приложил три томика только что вышедшего Собрания своих сочинений с просьбой принять книги «в знак глубокого уважения».

19 июня Алексей Феофилактович получил записку с извещением о приезде Герцена. Писемский приглашался на встречу со знаменитым Искандером...

Подъехав к трехэтажному особняку, где жил издатель «Колокола», писатель отпустил кэб и внимательно оглядел дом. Обитель Герцена производила впечатление солидности, основательности. Такой же благородно-изящной оказалась обстановка в гостиной, куда лакей провел гостя. Внимание Алексея Феофилактовича привлекла картина, изображавшая колокол, поддерживаемый летящими гениями; над ним парила дама в сарафане и кокошнике. Приглядевшись, Писемский понял, что эта женская фигура олицетворяет «Полярную звезду». Внизу под колоколом грудилась толпа внимающих звону человечков, среди которых можно было узнать Александра II, некоторых генералов и архиереев.

Мягкие шаги заставили Алексея Феофилактовича оглянуться. Перед ним стоял невысокий упитанный человек с узкими плечами, что, впрочем, удачно скрадывал хорошо пошитый сюртук; длинные с проседью волосы Герцена были гладко зачесаны назад, ухоженная борода также отливала серебром. Писемский пытался узнать в этом вальяжном господине того живого худощавого молодого человека, которого когда-то видел на лекциях Грановского, но нет – время совершенно изменило его облик, да и густая растительность на лице скрывала знакомые черты.

Беседа, начавшаяся в гостиной, продолжилась в кабинете. Оказалось, что там их поджидал еще один гость Герцена – могутный господин с длинной волнистой гривой и неприбранной бородой. Когда он поднялся и заговорил своим зычным протодьяконским басом, Алексей Феофилактович в первое мгновение решил, что перед ним какой-то расстрига или раскольник, из тех, что наезжали за правдой в Лондон. Но Герцен представил своего знакомою:

– Михаил Александрович Бакунин, публицист.

Усадив гостей у камина, предложив им сигары, Герцен с позволения Алексея Феофилактовича уведомил Бакунина о конфликте, возникшем между петербургскими журналами, и высказал свое отношение к деятельности Писемского как редактора «Библиотеки». Он был не в восторге от выступлений его сотрудников, и хотя многое в позиции «Современника» Александра Ивановича тоже не устраивало, точек совпадения со взглядами Писемского оказалось немного. Однако тон разговора поначалу держался вполне дружелюбный. Но едва коснулись путей дальнейшего развития России, от светской учтивости не осталось и следа.

Писемского смущала та самоуверенность, с которой его собеседники возводили свои воздушные замки. Община как условие социального обновления! Это только вдали от России можно прийти к подобным умозаключениям. Послужили бы вы десяток лет по ведомству государственных имуществ, поездили по глухим уездам – другое запели бы. Община для мужика – хомут, никаким социализмом от нее не пахнет. Всякому самостоятельному, хозяйственному крестьянину она не даст развернуться как следует; земли своей и той не имеет пахарь по милости общины. Не успеет к одному наделу привыкнуть – передел затевают. И получает мужик несколько лоскутьев, раскиданных по разным концам. А задумай он какие-нибудь нововведения – мир на дыбы поднимется: почто-де от отцовских да дедовских заповедей отстал! И потравят его посадки скотиной, а самого как колдуна и еще бог весть какого злыдня обегать станут.

Бакунин не вытерпел и гулко забухал своим страшным басом. Позвольте с вами не согласиться! Что касается знания народа... Помилуйте, господа, мы все тут помещики, все в деревне живали. Поймите, если построить новую Россию на общинном начале, то отпадет всякая нужда в чиновниках, исправниках, полицейских. Государство упразднится! Вольная федерация сельских обществ, нечто вроде гернгутерских колоний в Североамериканских штатах. Полная свобода для внутреннего развития каждого, невиданный рост человеческой личности – вровень с богами...

Герцен тоже считал, что Писемский слишком узко взглянул на дело – речь-то шла не о той общинной практике, коей свидетелем бывал Алексей Феофилактович. Идея, очищенная от житейской грязи, – вот что свято в мирском начале. Русский мужик стихийный социалист, ему претит всякое возвышение на счет других. Не в силе бог, а в правде, говорит он. И законно видит залог устроения общества по правде в равенстве.

Писемского поразило, как сильно переменились взгляды

Александра Иваныча со времен московских баталий начала сороковых годов. К славянофилам он относился теперь без прежней резкости. Как и раньше, он смеялся над их стремлением возвратиться к «допетровской лежанке» и беседовать оттуда с народом, облачась в охабень и мурмолку. Но по многим своим высказываниям Герцен явно сближался с Хомяковым и Аксаковым. То, что он говорил о русском народном характере, общине, круговой поруке, определенно походило на писания славянофильских журналов. А отзывы его о европейском обществе, сложившемся после революций сорок восьмого года, весьма напоминали Алексею Феофилактовичу иеремиады Шевырева о гниющем Западе. Что же касается вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависимости, то программа Герцена во многом повторяла положения славянофильской программы[15].

Но неожиданно Александр Иванович заговорил и о своих сомнениях. Пятнадцать лет прошло с той поры, когда он покинул родину. Временами ему казалось, что он утратил понимание происходящего в России – когда к нему являлись такие вот скептики, как Писемский, или безусые горланы, обвинявшие Герцена в отсталости, мягкотелости. Но большинство из тех, кто посещал лондонский дом изгнанника, выражали свое восхищение его деятельностью, сообщали о том резонансе, которым сопровождался каждый удар «Колокола». Ему доставляли бездну всяких сведений о внутреннем положении страны, детали чиновных злоупотреблений, пересказывали содержание разговоров между мыслящими людьми в столицах и провинции. Разве этого мало, чтобы чувствовать пульс России, понимать смысл совершающегося?

– Одно дело – понимать настроение образованного общества, – отозвался Писемский. – По этой части вы, Александр Иванович, иному петербуржцу или москвичу сто очков дадите. А вот касаемо глубинки российской... Никакие рассказы не заменят живого общения с народом. Надо жить в его среде, слышать ничем не скованную речь его, чувствовать то же, что он. Мужик теперь не тот пошел. Вот хотя бы прошлое лето взять – я тогда в имение жены под Костромой ездил. Людей точно подменили. Какой там не в силе бог! С кольем, с дубьем лезут – подай-де подлинный царский манифест, а тот, что нам в церкви поп читал, подложный... Просвещать, вбивать в голову начала правды надо, а не искать откровений в болтовне темного люда. А то вон появились сударики – по деревням бродят да в кабаках мужичков смущают. С огнем играют...

Он подробно описал эту свою поездку в российскую глубинку

через несколько месяцев после освобождения крестьян. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он проезжал по уездам, населенным мелким дворянством, – незапаханные поля. Местные землевладельцы, когда он спрашивал о причинах этого запустения, какими-то дикими голосами жаловались: «Не слушаются нынче нас рабы наши». Видел он даже малодостаточных помещиков и помещиц с докрасна загорелыми лицами, которые, как заправские мужики и бабы, орудовали косами на лугах. Алексей Феофилактович пытался было втолковать им, что их страдания не идут в сравнение с тем великим благом, что последовало за манифестом 19 февраля, – двадцать миллионов душ обрели свободу. Можно ведь ради этого и частью своего благосостояния поступиться. «Язык-то без костей, – кричали ему в ответ. – Никому от этой воли счастья не будет. Мужик, как саврас без узды, сейчас в кабак сорвется, и ничем его оттуда не вышибить – он теперь сам с усам. Одни предводителишки дворянства уездные да губернские и рады – им, дьяволам, жалованье дали. А нам говорят еще – с земли будете платить по пятнадцати копеек. Нас ограбили, да мы же и плати!»

Вот то-то и есть, что все недовольствуют, замечал Герцен. И помещичье хозяйство под гору пойдет. И мужик, не получивши всей земли, будет горе мыкать. Нет, надо было все отдавать тем, кто сам пашет. Хватит, попользовались за службу царю землицей. Теперь надо другими, более современными способами себя прокармливать.

Да разве он против народного освобождения?! Писемскому даже обидно стало, что его заподозрили в непонимании очевидных выгод России. Он издавна, еще со времен университета и службы по крестьянским делам, сторонник разрешения тех уз, которые некогда наложены были на народ с целью отделаться от забот и попечений о нем.

– Не испытываю ни малейших сантиментов по отношению к мужику, в каких выдержаны разговоры в Питере о реформе, – на высоких тонах заговорил Алексей Феофилактович. – Я совершенно свободен от розовых надежд, которые возлагаются многими на освобождение крестьянского населения, и не доверяю обещаниям множества благ, имеющих произойти от одного «свободного» труда, и не прихожу в восторг при мысли, что с эмансипацией прибывает на Руси несколько миллионов полноправных граждан и собственников. На все подобные заявления я смотрю, как на ораторские приемы или как на излияния благородного душевного настроения... Впрочем, готов признать такие речи весьма полезными в виду воспитания и приготовления умов к совершающейся эмансипации, но сам

отношусь к ней чрезвычайно просто. Освобождение мужика кажется мне необходимостью для страны потому, собственно, что оно – освобождение и дает способ каждому найти свой образ и превратиться из старой, бесформенной души в определенную личность. Но затем отказываюсь верить, что вместе с освобождением должна непременно наступить и эра обновления народа, что с освобождением народ покинет некоторые бытовые привычки, возмущающие нравственное чувство, изменит прирожденные свои наклонности и поправит свои представления о порядке и образе жизни согласно с новыми условиями существования, в которые поставлен...

Бакунина и Герцена поразила наивность такого представления о каких-то вневременных свойствах народной души. Нет, ближайшие же десятилетия докажут, какими семимильными шагами пойдет мужик к высотам культуры. Россия еще покажет Западу пример справедливого общественного устройства, она явит миру такой образ демократического развития, который и не снился Европе!

Но, слушая их, Алексей Феофилактович с сомнением качал головой: э-эх, вашими бы устами да мед пить. Какие уж там семимильные шаги, какой пример демократии...

Высказав Герцену свои представления о реальном положении дел в деревне и не скрыв при этом отрицательное отношение к попыткам взбунтовать мужика, Писемский ясно увидел, что рассчитывать на поддержку «Колокола» в споре с «Искрой» и «Современником» не приходится. Расстались холодно...

По возвращении в Россию Алексей Феофилактович был тщательно обыскан на таможне – ему стало ясно, что властям известно о его свидании с лондонским эмигрантом. А еще через несколько дней разнесся слух об аресте служащего петербургской торговой фирмы Ветошникова, также обысканного при возвращении из-за границы. Несчастный клерк вез полученные от издателей «Колокола» письма к их знакомым и информаторам в России. Когда корреспонденция попала в руки властей, многочисленные адресаты Герцена, Бакунина и Огарева были арестованы. «Легко им там давать поручения, а люди идут за это на каторгу!» – раздраженно думал Алексей Феофилактович. Пройдет всего несколько месяцев, и Герцен прочтет в романе «Взбаламученное море» подробное описание происшествия на таможне и назовет образы героев романа шаржами.

Поездка в Лондон оказалась для Писемского тем последним толчком, который заставил его занять определенную позицию в условиях поляризации общественных сил.

Да еще рассказы о петербургских пожарах в мае, случившихся

вскоре после отъезда Писемского за границу, разожгли его неприязнь к «горланам». Дело в том, что молва настойчиво утверждала, будто Петербург жгли злонамеренные провокаторы, желавшие вызвать народный бунт. Показывали Алексею Феофилактовичу и прокламации с призывами к топору – одну из таких подсунули под дверь Федору Михайловичу Достоевскому...

Все это вызывало потребность как следует объясниться с идейными противниками, показать им свое истинное отношение к тревожным вопросам времени. И почти сразу по возвращении писатель садится за новый роман. Друзьям своим он объявляет, что задуманное произведение – главная книга его жизни. Работается хорошо, зло – по целым дням Алексей Феофилактович не выходит из кабинета. Кое-кто из приятелей посоветовал обратить внимание на выступления Каткова в «Русском вестнике» – и Писемский с удивлением обнаружил некоторые точки совпадения своих взглядов с позицией несимпатичного ему прежде издания. Статья Каткова "Заметка для издателя «Колокола», в которой Герцен обвинялся в коверканий судеб неопытной молодежи, показалась Алексею Феофилактовичу вполне справедливой. После случая с Ветошниковым на скамью подсудимых угодило несколько десятков человек, и Писемскому, самому испытавшему унизительную процедуру обыска, представлялись убедительными аргументы «Русского вестника». Писемский почему-то не ставил себе вопрос: а не жандармы ли виноваты, заглядывающие в портки в поисках крамольных сочинений? Логика его была такова: за «Колокол» сажают – значит, виноват Герцен, предлагающий свое издание едущим в Россию. Но ведь еще год назад он сам писал, что «мысль может уничтожаться только мыслию, а не квартальными и цензорами...».

Дела по «Библиотеке для чтения» оказались заброшены – Алексей Феофилактович никакого желания не испытывал заниматься журналом после зимних скандалов. Да и времени не было разъезжать несколько раз в неделю через весь город – от редакции на Малой Итальянской на Васильевский остров к цензору. Алексей Феофилактович стал подумывать о том, чтобы передать кому-нибудь опостылевшую «Библиотеку». Наиболее подходящим кандидатом ему казался Боборыкин.

– Что бы вам, Петр Дмитриевич, не взять журнал? Вы в нем – видный сотрудник, у вас есть и состояние, вы молоды, холосты... Право!..

Печаткин тоже не чаял, как расстаться с несчастным изданием, и вместе с Писемским продолжал уговаривать неподатливого молодого романиста. Тем временем Алексей Феофилактович установил через старого московского друга

Бориса Алмазова контакт с Катковым и вел с ним переговоры о продаже романа. Почти одновременно издатель «Русского вестника» предложил писателю занять место руководителя беллетристического отдела.

Перспектива освободиться от тягостных хлопот по цензуре, по издательству и заниматься чистой редакционной деятельностью привлекала Писемского. Да и Петербург изрядно надоел писателю за эти годы. Ладно бы еще уважали, ценили его талант, а то ведь вон до чего дошло – как последнего щелкопера по сусалам отвозили прилюдно. Не обременяли б его дети-гимназисты, давно уехал бы в деревню (еще осенью 1858 г. он жаловался Майкову: «Если бы не это предстоящее воспитание детей, то я дня бы не остался в Петербурге, до того он мне надоел: город плохих товаров, продажных страстишек, мелкого умишка, пустого труда»). А в Москву – туда можно, там такого газетного базара нет, слава богу, да и университет тамошний не чета этому выскочке питерскому. Наконец, не чужой город Москва – каждая улица знакома, в любом трактире обязательно увидишь приятеля. А друзей у него там куда больше, чем здесь, – Островский, Алмазов, Эдельсон, да и с университетской поры еще многие москвичи его помнят.

Решению принять предложение «Русского вестника» способствовало и то, что беллетристический отдел журнала пополнялся произведениями тех писателей, которых высоко ценил Писемский. Иван Сергеевич Тургенев только что напечатал там своих «Отцов и детей» – для Алексея Феофилактовича, работавшего над «Взбаламученным морем», это было большой моральной поддержкой. Эвона куда пошло, господа либералы (до утверждения в общественном лексиконе слова «нигилист» пользовались всякими расплывчатыми обозначениями ультралевых элементов), – так повернулось, что за вас скоро все талантливые литераторы возьмутся: вон и Гончаров какой-то роман пишет.

Подобные мысли придавали писателю новые силы, и собственный труд виделся ему как существенный вклад в идейную борьбу. Статьи катковского журнала еще больше подогревали возникшую у него неприязнь к «крикунам». После романа Тургенева слово «нигилист» не сходило со страниц «Русского вестника» и быстро обратилось в бранную кличку. Писемскому новый термин тоже пришелся по нраву, и он со вкусом произносил его в редакциях, в книжных лавках, везде, где собирался пишущий люд. «Спасибо, ай спасибо Ивану Сергеевичу за пущенное им в ход словечко! Нихиль – ничто. Ничтожники! Ничтожества!..» Но, как ни заводил себя Писемский, иной раз

закрадывалось сомнение: а не поспешил ли он, может, следует дать новому роману отлежаться, еще раз обдумать все, в том числе и позицию молодых ниспровергателей? Однако, вспомнив про договоренность с «Русским вестником», грустно усмехался и начинал укладывать свои бумаги и книги…

В последний день января 1863 года Алексей Феофилактович выехал из Петербурга в Москву, чтобы навсегда поселиться в Первопрестольной. В портсаке у него лежал готовый роман, обещанный Каткову. На сердце было неспокойно – как-то примут его новое детище, в котором он хотел, по его словам, представить «верную, хотя и не полную, картину нравов нашего времени, и если в ней не отразилась вся Россия, то зато тщательно собрана вся ее ложь».

Начав работать в редакции, Писемский не спешил с изложением новых идей, ему хотелось присмотреться и к руководителю «Русского вестника», и к его сотрудникам. Он помнил, что когда-то через посредство Каткова его первый роман попал в «Отечественные записки» – тогда Михаил Никифорович был молодым профессором Московского университета, ходил в больших либералах. В интеллигентских кружках Москвы хорошо были известны слова Белинского о том, что Катков – «великая надежда науки и русской литературы», знали и приведенное на страницах «Современника» письмо «неистового Виссариона», в котором говорилось о Каткове: «Он один из лучших людей, каких только встречал я в жизни». Да и много позднее, уже после 1856 года, когда он взял на себя редактирование «Русского вестника», за ним сохранялась репутация сторонника радикальных реформ. Поначалу журнал и вел эту линию: на его страницах активно обсуждались проблемы ликвидации крепостного права, причем Катков требовал освобождения крестьян с землей. «Русский вестник» стоял за ослабление цензуры, за отмену телесных наказаний. «Губернские очерки» Щедрина, которые так пришлись по душе чиновному либералу Салатушке, тоже печатались у Каткова.

Но со времени обострения общественного противоборства на рубеже десятилетий журнал стал занимать гораздо более осторожную позицию, пока совсем не принял сторону правительства в его борьбе против «смутьянов» и лондонских пропагандистов.

Однако это далеко не всем было понятно в ту пору, и «Русский вестник» продолжал пользоваться вполне солидной репутацией, привлекавшей к нему известных авторов. А это последнее обстоятельство обеспечивало широкую популярность журнала. Дело в том, что Катков выступал с позиций резко

критических по отношению к правительству, он вполне прозрачно намекал на необходимость серьезных реформ, отстаивал свободу печати, причем утверждал, что врагами этой свободы являются равно и реакционеры вроде Аскоченского, и представители революционного лагеря. Запугивая таким образом либеральную интеллигенцию и чиновничество, «Русский вестник» стремился представить свой консервативный «прогрессизм» как единственно верную политическую платформу, способную обеспечить торжество гуманности и справедливости[16].

Для Писемского, поначалу не жаловавшего «Русский вестник» за крайнее западничество, за его четко выраженную англоманию, теперешние позиции Каткова оказались вполне приемлемыми. Он явно подавался в сторону близких Алексею Феофилактовичу «москвитянинских» идеалов, отказывался от мечтаний устроить российскую государственную жизнь по британскому образцу.

Писемского не очень-то смущало то, что взгляды редактора «Русского вестника» изменились столь стремительно. Этот процесс превращения либерала в консерватора, происшедший на глазах у всего образованного общества за несколько лет, был, по мнению Алексея Феофилактовича, весьма характерен для России. Разве не были членами свободолюбивого кружка «Арзамас» С.С.Уваров и николаевский министр юстиции Д.В.Дашков? В молодые годы, как рассказывал Юрий Никитич Бартенев, они были самыми отчаянными вольтерьянцами. А потом что вышло?

Публикация «Взбаламученного моря» началась в мартовской книжке журнала и продолжалась до августа. Роман был «гвоздем сезона» по беллетристическому отделу, все прочее, появившееся рядом с ним, свидетельствует о том, что новый помощник Каткова не очень-то преуспел в приискании значительных сочинений для «Русского вестника». Старый приятель Писемского Николай Дмитриев поместил довольно водянистую – в полном соответствии с предметом изображения – повесть «Кивач» (название водопада). Да на конец года пришелся целый залп дамских повестей – «Моя судьба» Камской, «Лишняя» Новинской, «Два брата» Толычовой. С поэзией было лучше – из номера в номер печатались стихи Фета и Майкова. Приглашая поэтов и прозаиков к сотрудничеству в журнале, Алексей Феофилактович усиленно рекламировал свое издание как наиболее солидное: «Какие почтенные и обязательные люди издатели „Русс. Вестника“, об этом лично я считаю неловким даже и говорить» (из письма Полонскому); «печататься в „Рус. Вестнике“ следует всем порядочным людям» (из письма Майкову).

Но ничего особенно значительного, что могло бы поднять престиж прозаического отдела журнала, Писемскому не удалось

приискать.

Сотрудничество писателя в журнале, продолжавшееся чуть больше года, пришлось на период острого политического кризиса, связанного с польским восстанием. Именно в 1863 году окончательно определился охранительный курс «Русского вестника». Но Писемский, видно, не оправдал надежд редактора, и уже летом 1864 года ему пришлось оставить место заведующего беллетристическим отделом. Позднее в письме Тургеневу он объяснит причину разрыва с Катковым: «С первых же дней у нас пошло как-то неладно: видимо было, что они привыкли к какому-то холопскому и подобострастному отношению своих сотрудников и что им более нужен корректор, чем соредактор – чем дальше шло, тем натянутее и несноснее становились наши отношения, так что мы почти одновременно и к обоюдному удовольствию решились прервать их». Думается, не только личная антипатия сыграла роль в охлаждении отношений Писемского с шефом «Русского вестника», но и несходство идейных устремлений, политических взглядов. Как бы то ни было, уход из редакции журнала на некоторое время оставил Алексея Феофилактовича без литературного «крова», и писатель не знал, куда податься в почти сплошь враждебном журнальном мире.

Публикация «Взбаламученного моря» действительно способствовала тому, что Писемский стал своего рода изгоем, которого с равным ожесточением клеймили критики всех направлений...

Действие романа походило на какую-то шутовскую карусель. Герои то и дело разражались филиппиками против хлыщей, которые от безделья шатаются по демократическим и светским гостиным, всюду рассевая плевелы пустозвонства и легкомыслия. Но автору, как видно, казалось мало этого, и он от первого лица произносил программные речи.

Изменило почему-то художническое самообладание. Какая уж там беллетристика, – наверное, думал Писемский, лихорадочно исписывая лист за листом. «Взбаламученное море» – роман политический! Кричали, что вам надоело слушать про любовные вздохи, про соловьиные трели? – вот и читайте про дело. Обвиняли в холодности, объективизме, равнодушии – и «Тюфяк», мол, со спокойненьким сердцем писан, и то и другое не по вам было, поучения все искали – нате, поучайтесь, господа хорошие!

В конце романа происходил как бы итоговый разговор между главным героем Александром Баклановым и его старым другом:

"– Где же корень всему этому злу? – воскликнул Бакланов...

– Да, я думаю, всего ближе в нравственном гнете, который мы

пережили, и нашем шатком образовании, которое в одних только декорациях состоит, – так, что-то такое плавает сверху напоказ! И для меня решительно никакой нет разницы между Ванюшею в «Бригадире», который, желая корчить из себя француза, беспрестанно говорит: «helas, c'est affreux!»[17], и нынешним каким-нибудь господином, болтающим о революции...

– Неужели же во всем последнем движении вы не признаете никакого смысла? – спросил Бакланов.

Варегин усмехнулся.

– Никакого!.. Одно только обезьянство, игра в обедню, как дети вон играют".

Завершив повествование, автор не удержался, чтобы не поставить все точки над "и", и заявил:

«Рассказ наш, насколько было в нем задачи, кончен. За откровенность нашу, мы наперед знаем, тысячи обвинений падут на нашу голову. Но из всех их мы принимаем только одно: пусть нас уличат, что мы наклеветали на действительность!.. Не мы виноваты, что в быту нашем много грубости и чувственности, что так называемая образованная толпа привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не делать, или делать вздор, что, не ценя и не прислушиваясь к нашей главной народной силе, здравому смыслу, она кидается на первый фосфорический свет, где бы и откуда ни мелькнул он, и детски верит, что в нем вся сила и спасение!»

Предчувствие не обмануло Писемского. Обвинений на его голову пало предостаточно. Но вот досада – все они сходились к одному: на действительность сочинитель именно наклеветал. Не было в жизни такого паноптикума нравственных уродов, какой изобразил писатель. Не была она такой одноплановой, серой, глупой.

Хоть и предвидел Алексей Феофилактович, что не пощадят его критики, но предполагал он все-таки нечто вроде безрыловского скандала. Однако реакция печати и общества превзошла самые мрачные его ожидания...

По старой памяти Писемский любил гулять по бульварам – со студенческих лет знакомый до последнего деревца Тверской стал и теперь обычным местом его прогулок. Выходя перед обедом из редакции «Русского вестника», помещавшейся неподалеку – на Страстном, – Алексей Феофилактович неспешно шагал в сторону монастыря, проходил под его стеной к площади и, переждав лихача, переходил через мостовую на бульвар. То и дело раскланиваясь со знакомыми, он двигался в сторону кофейной, находившейся в середине Тверского, как раз напротив дома обер-полицеймейстера. Иногда писатель заглядывал в заведение,

чтобы пропустить «предварительную», и следовал дальше по направлению к дому (он снимал тогда квартиру на Сивцевом Вражке). В кофейной постоянно сидело много студентов – кормили здесь хоть и дурно, зато дешево. Молодежь вскоре прознала, что знаменитый литератор постоянно фланирует по бульвару, и быстро запомнила его в лицо. «Русский вестник» тем временем печатал главу за главой «Взбаламученное море», и, когда в конце лета студенты вернулись в Москву после каникул, как раз вышла последняя книжка с окончанием романа.

В один из жарких дней начала сентября, когда разомлевший Алексей Феофилактович проходил мимо кофейни, обмахиваясь газетой, из дверей заведения высыпала толпа в студенческих сюртуках, и на писателя обрушился шквал мяуканья, свистков, душераздирающих воплей. Под ноги ему шлепнулось несколько растрепанных книжек «Русского вестника». Писемский в первую секунду не понял, что кошачий концерт предназначался ему, и стал с удивлением озираться. Но все гуляющие (а их было немало в этот час) как-то странно смотрели на Алексея Феофилактовича, и тогда он сообразил, что освистывают его, его роман...

Печатная обструкция «Взбаламученного моря» началась еще летом, и застрельщиком ее стал Аполлон Григорьев в «Якоре».

Это было особенно болезненно для Писемского – еще совсем недавно, в «москвитянинские» годы, талантливый критик считал ею светочем нового мироотношения, а теперь именовал «органом мещанской реакции». Да и другие вчерашние единомышленники с нескрываемой враждебностью встретили роман. С.С.Дудышкин, редактор «Отечественных записок», поместил в своем журнале резко отрицательный отзыв. П.В.Анненков в «Санкт-Петербургских ведомостях» оценил «Взбаламученное море» весьма невысоко. В большой петербургской газете «Голос», издававшейся А.А.Краевским, появилась анонимная статья (ее автором был А.П.Милюков), в которой говорилось: «Если первая половина сочинения отличается характером обыкновенного современного романа по обработке многих сцен и лиц, то со второй половины оно принимает характер фельетонный. Художественного развития тут нет уже и следов: сцены являются случайно, становятся отрывочными, можно сказать – газетными; рассказ принимает тревожный, лихорадочный тон, превращается в какие-то беллетристические афоризмы. Вновь появляющиеся лица – не только не характеры, даже не портреты, а небрежные эскизы, с чертами неполными и угловатыми. Вы чувствуете, что романист с каждой новой сценою все более и более теряет спокойствие, превращается в публициста, в газетного фельетониста, который следит только за новостями текущего дня,

с заранее взятой программой». И даже «Библиотека для чтения» отрицательно отозвалась о «Взбаламученном море». А «Современник» и «Русское слово» оценили роман как откровенно реакционный.

Алексей Феофилактович, обычно хладнокровно относившийся к критике, теперь не вынес – обратился к Алмазову, чтобы тот где-нибудь печатно вступился за роман. Ему казалось, что всеобщее поношение – результат какого-то странного сговора между либералами, нигилистами и «эстетиками». Но если б он отнесся к своему детищу поспокойней, то согласился бы, что нельзя было давать в журнал совсем сырую вещь. А.В.Никитенко, прочитав только первые две части романа, уже записал в дневнике: «Новый роман Писемского, которого две части напечатаны в „Русском вестнике“, „Взбаламученное море“, содержит в себе обрывки тряпья, в которые завернута русская народность и из которых уже нашито множество товара на нашем литературном рынке». А ведь это относилось к лучшим, наиболее отделанным главам. Общее же впечатление петербургского знакомого от романа Писемского оказалось еще хуже.

А Шелгунов, ознакомившийся с романом в тюремной камере Петропавловской крепости, писал на волю: «...На той неделе я читал „Взбаламученное море“ Писемского и нашел только один недостаток – в Писемском нет вовсе ни того ума, ни того таланта, какой ему приписывали. Впрочем, у нас всегда любят прокричать человека. Сначала поднимут выше небес, а потом начнут топтать в грязи. Так сделали нынче и с Писемским. Увлечение, говорят, признак молодости; а что русские еще молоды, это мы и сами говорим про себя; следовательно, все в порядке вещей. В „Взбаламученном море“ нет ни силы, ни глубины мысли...»

Выходит, отрицательное отношение к сочинению Писемского заявлялось не только присяжными критиками, но и частным порядком – в разговорах, дневниках. Такого всеобщего осуждения писатель удостоился впервые – прежние его произведения, как бы резко о них ни писали, всегда разбирались уважительно, редко кто пытался начисто отрицать их художественное значение. Теперь главным его просчетом было отступление от житейской правды, на верность которой он всегда присягал. Снова погоня за «остротой» подвела его. В самом деле, поспешность Алексея Феофилактовича могла вызвать только удивление – если иные из его повестей и пьес переделывались по нескольку раз, не сходили с письменного стола по году и больше, то «Взбаламученное море» целиком написалось за четыре-пять месяцев. И это роман, по объему равный «Тысяче душ», на который у Алексея Феофилактовича ушло около трех лет...

Непродуманность, поспешность – самые большие враги литературы. Потому даже высокоталантливый человек может создать книгу, населенную блеклыми статистами, которые тужатся высказать как можно больше истин на единицу романной площади. Но художественная правда убеждает не количеством аргументов, а их весомостью. Будь Бакланов не такой односложной (при всей противоречивости) личностью, развенчание либерального болтуна могло бы выйти куда убедительнее. А превращение уголовника по духу Басардина в идейного борца низводило остроту идейного противостояния между революционерами и правительством на уровень какого-то бульварного анекдота. Салтыков-Щедрин справедливо писал, что «нападающая мысль», представителем которой был Писемский, «просто говорит: молодое поколение – это социалисты, материалисты, жулики, нигилисты, мазурики и прелюбодейцы, а затем начинает рассказывать анекдоты о том, как некто Басардин украл золотую табакерку. Из всех этих слов публика понимает только одну половину, то есть жульничество и т.д., и сверх того твердо знает, что воровать табакерки в законах не разрешается; но этого уже довольно, чтобы пробудить во всех сердцах благодарность за то, что так просто и наглядно истолковали значение тех слов, которые до сих пор казались мудреными. Начинаются рукоплескания; воришка Басардин получает наименование социалиста и передового человека и возводится в звание представителя молодого поколения...»

За «Взбаламученным морем» прочно закрепилась репутация первого классического антинигилистического романа. (Хотя «Отцы и дети» появились годом раньше и словечко «нигилист» широко распространилось именно с легкой руки Тургенева, эта книга стоит особняком.) Такое обозначение применялось и применяется в отношении большой группы произведений, появившихся на протяжении 1860-х годов, – «Некуда» и «Обойденные» Лескова, «Марево» Клюшникова, «Кровавый пуф» Крестовского и многие другие. Вообще русская литература, за редкими исключениями, быстро отозвалась на появление нигилиста. «Обрыв» Гончарова, пьесы Льва Толстого «Зараженное семейство» и «Нигилист» также прямо примыкают к антинигилистическому направлению. Даже позднее, в 70-е годы, интерес к теме не оставляет крупнейших русских писателей. Начиная работу над «Анной Карениной», Толстой намеревался показать грехопадение героини, попавшей в компанию нигилистов, и только позднее отказался от этого плана, увлеченный открывшейся ему глубиной проблем семьи. А Достоевский создал в это же время «Бесов» – самое глубокое из

произведений, посвященных «отрицателям».

Но, начиная длинную вереницу политических романов, «Взбаламученное море», в сущности, является сочинением антилиберальным. Главный объект изобличения здесь – не дети, а отцы – люди сороковых годов, вспоившие и вскормившие отрицателей. Сих последних писатель не очень-то и осуждает – во всяком случае, симпатичная ему Евпраксия судит о них как об «идеалистах и мечтателях». Родоначальники всяких беспорядков и пороков русской общественной жизни – дрянные дворянчики вроде Бакланова, который "праздно вырос, недурно поучился, поступил по протекции на службу, благородно и лениво послужил, выгодно женился, совершенно не умел распоряжаться своими делами и больше мечтал, как бы пошалить, порезвиться и поприятней провести время... представитель того разряда людей, которые до 55-го года замирали от восторга в итальянской опере и считали, что это высшая точка человеческого назначения на земле, а потом сейчас же стали с увлечением и верою школьников читать потихоньку «Колокол». Эта порода бездельников – когда писатель выводил ее в прежних своих сочинениях – вызывала дружное осуждение критики. И ограничься Писемский на этот раз баклановыми, его, пожалуй, поругали бы слегка в некоторых журналах, да на том и простили б.

Однако Алексей Феофилактович неосмотрительно задел молодежь. И сделал это достаточно бестактно, исказил побудительные мотивы оппозиционности. Он увидел в одних людей сомнительной нравственности (Басардин), в других неопытных птенцов, становящихся жертвой легкомысленных эмигрантов (Валериан Сабакеев).

И еще одна линия романа Писемского вызвала суровые претензии общественности. В некоторых сценах и рассуждениях услышали брюзжание крепостника, недовольного реформой. Тогда, через каких-то два года после манифеста 19 февраля, это воспринималось как кощунство.

Но дело было сложнее. Алексей Феофилактович слишком много лет провел в деревне и общался с крестьянами, чтобы не понимать, от какого гигантского груза традиций надо было освободить мужика. Писемский знал, что никакой некультурности народа нет и в помине. Напротив, за тысячелетие исторической жизни Россия нарастила мощный культурный слой, ту почву, на которой развивался психический строй, лад души каждого, кто родился на этой земле. Мощная бесписьменная культура, питавшая нравственные понятия народа, была весьма серьезным препятствием для внедрения в его среду тех идей, с которыми носились книжные гуманисты. Близко знавший и

понимавший Алексея Феофилактовича Павел Анненков оставил интересное свидетельство, касающееся взглядов писателя:

«Писемскому казалось, что без сильных „нравственных авторитетов“ народ не расстанется ни с одним из тех свойств, которые получил в период рабства и чиновничьих притеснений, а только приноровится к новым учреждениям и в их рамках разовьет еще с большей энергией дурное нравственное наследство, полученное им от прошлого. Он не придавал особенного значения и будущему развитию благосостояния освобожденных, на которое многие рассчитывали как на сильный нравственный двигатель: жизненный опыт привел его к заключению, что богатство и нажива могут быть родоначальниками еще больших пороков и безобразий, чем сама скудость, которая считается их матерью. Откуда явятся люди для предполагаемой им миссии, Писемский не знал. Он не мог сказать, придут ли они со стороны самого народа, или вышлет их наше духовенство; явятся ли они из земства, или создаст их та часть либеральной бюрократии нашей, заслуги которой по борьбе с сословными предрассудками и с эгоизмом различных классов общества он всегда признавал и высоко ценил. Писемский пророчил только, что пройдут еще многие и долгие годы, прежде чем „освобождение“ даст все те результаты, каких ожидают от него теперь же слишком нетерпеливые публицисты и патриоты. С таким-то багажом предвзятых мыслей Писемский и выступил в качестве консерватора перед литературой и публикой, настроенными совсем иначе».

Но Анненков писал это уже умудренным годами человеком, да и был он к тому же одним из тонких критиков, хорошо чувствовавших не только особенности художественной ткани произведения, но и отличительные черты мышления его автора. Писемского же, он знал на протяжении нескольких десятилетий. Другим, более прямолинейно мыслящим людям недосуг было разбираться во всех нюансах мысли писателя, и они, подобно П.Н.Ткачеву, критику-народнику, считали, что все антинигилистические произведения – «…обвинительные акты, которые под диктовку III Отделения писались и пишутся г.г. Авенариусами, Стебницкими (псевдоним Лескова. – С.П.), Писемскими и Крестовскими с братией».

После всеобщей печатной обструкции Писемский еще больше утвердился в своей антипатии к Петербургу. Если до того у него и были какие-то сомнения относительно своего дальнейшего устройства, то теперь он окончательно решил связать свою судьбу с Москвой. Как-никак имелись тут и газеты, мирволившие автору «Взбаламученного моря», и критики, готовые благожелательно

разобрать его новые сочинения. Конечно, литературный мир второй столицы был куда беднее – из крупных писателей здесь жил один Островский, – но Алексею Феофилактовичу, хорошо помнившему свое костромское уединение, было вполне достаточно периодических изданий, театров и салопов Москвы, чтобы ощущать себя включенным в общественную жизнь.

Приняв решение осесть в Москве на постоянное жительство, Алексей Феофилактович стал приискивать подходящее жилье – наемные квартиры ему порядком надоели, да и вообще не по-московски это было – снимать. То ли дело собственное жилище – придешь к Островскому, сразу почувствуешь, что тут все свое, обжитое, обогретое душою… Летом 1864 года Писемский приобрел двухэтажный дом с полуподвалом в одном из переулков, отходящих от Поварской. Район считался самым аристократическим (ох уж это любимое публикой словцо!) – здесь стояли особняки больших московских бар. Сюда, кстати сказать, поселил своих Ростовых и Лев Толстой («Война и мир»).

Приведя купленную недвижимость в порядок (Писемский отделал в доме четыре больших квартиры для сдачи внаем), выстроив под своим смотрением флигелек для себя во дворе, Алексей Феофилактович перебрался в Борисоглебский переулок летом 1865 года. Здесь он прожил до конца своих дней. Хозяин из него вышел весьма рачительный – всякий крупный гонорар он употреблял на благоустройство усадьбы, что выражалось, между прочим, в возведении флигелей, коих Писемский успел выстроить четыре. Причем каждой новой постройке присваивалось имя того произведения, на доход от которого она была возведена. Дом назывался «Взбаламученным морем», один из флигелей – «Людьми сороковых годов», другой – «В водовороте» и так далее.

Собственное жилище писателя было обсажено тополями и акациями, здесь всегда царила тишина, нарушаемая только голосами птиц. Спрятавшийся в глубине двора двухэтажный флигель хорошо знали московские литераторы, да и приезжие из Петербурга или из провинции нередко появлялись на средах у Писемского. В этом своеобразном салоне неизменно царил сам хозяин, удивлявший и восторгавший не только новых посетителей, но и старых знакомых неистощимым арсеналом шуток, анекдотов из собственной жизни. Старый друг Алексея Феофилактовича Анненков вспоминал о своих встречах с писателем в его гостеприимном доме: «Редкое свойство Писемского – всегда походить на самого себя и класть особую печать своего духа и ума на все предметы обсуждения – делало беседы с ним занимательными и оригинальными в высшей степени. Он не потерял способности различать за тонкой тканью

мыслей и слов настоящее лицо людей и представлять их себе, так сказать, в натуральном состоянии, такими, какими они должны были являться самим себе, в своей совести и в своем сознании. Анализ этот, впрочем, нисколько не имел того острого, упорного и надоедливого характера, который не оставляет никакой мелочи без исследования и перевертывает ее на все лады, добиваясь от нее во что бы то ни стало какого-либо слова. Он выражался у него обыкновенно одним метким определением, часто юмористической фразой, которые почти всегда и терялись в дальнейшем разговоре. Иной раз, слушая Писемского, приходило на ум, что в нем повторяется: опять старый, московский тип ворчливого туза, удалившегося на покой, но тут была и существенная разница. Тузы этого рода все принадлежали к вельможному чиновничеству нашему и приводились в движение завистью, обманутым честолюбием, злобой после падения их властолюбивых надежд, между тем как Писемский, хотя и мог назваться тузом литературным, но жажды повелевать и кичиться перед людьми никогда не испытывал, чувства зависти не знал вовсе и в своих заметках покорялся единственно природному свойству своего ума».

А другой близкий знакомый Писемского – профессор Кирпичников, – вспоминая свои визиты к Алексею Феофилактовичу уже в семидесятые годы, когда, как считал критик, явно обозначился упадок его таланта, подчеркивал тем не менее: «Всегда поражал он меня ясностью своего огромного ума, силою своего резкого, чисто народного остроумия. Но всегда после беседы с ним получалось в общем тяжелое, тоскливое чувство. Нельзя было не сознавать, что это остатки былого величия, что богатырский талант сошел со старой дороги, а новой не может найти; что преследование одних, равнодушие других, жалостные или неумелые похвалы третьих не дают ему осмотреться, бесят его и ослепляют. А годы все уходят, и все громче звучат в душе печальные слова: моя песенка спета!»

Но эти настроения возникли уже тогда, когда Алексей Феофилактович только поселился в Борисоглебском переулке. Ему было всего сорок пять, а он уже начал ощущать тягостные приступы хандры, которая лишала его всякого желания писать, думать, видеть кого-либо. В письме, датированном ноябрем 1866 года, он сетовал: «Я теперь владетель дома, усадьбы, временно обязанных крестьян, распорядитель 5000 годового дохода – словом, материальная сторона жизни улажена; но никак нельзя сказать того про духовную мою сторону, а паче всего про литературную частицу в оной стороне… Как и чем я ни прикидывайся – проприетером, чиновником, но в сущности я все-

таки заражен до мозгу костей моих писательством и органически неизлечимый литератор, но литература-то именно последнее время как-то и дает мне щелчки».

Когда Алексей Феофилактович думал о своем теперешнем положении, ему приходило в голову сравнение с матерым зверем, которого обложили в лесной трущобе красными флажками. Крики, грохот трещоток, стук палок по стволам деревьев. Он мечется по замкнутому пространству, голоса преследователей все ближе, вот-вот грянет выстрел... Возможно, в попытке вырваться из создавшейся вокруг него ситуации, уйти от изнуряющей душу общественной борьбы Писемский вновь начал хлопотать об определении на службу. А может быть, требовала какого-то иного поприща его деятельная натура, может быть, ощущал писатель недостаток жизненных впечатлений и ему хотелось пополнить свои представления о современной службе, о тех людях, которые пришли в преобразованные правительством учреждения. Весной 1866 года по протекции министра внутренних дел П.А.Валуева Писемский назначается советником московского губернского правления. Прощай, борода, прощай, засаленный халат. Вот-вот портной принесет новый вицмундир, и благоухающий лавандой титулярный советник Писемский отправится представляться генерал-губернатору.

Прослужил он шесть лет без перерыва (1866-1872), причем, как и прежде, характеризовался начальством с самой положительной стороны. Это для писателя (богема!) уж совсем удивительно. Будь у Алексея Феофилактовича здоровье поизрядней, он, чего доброго, и в генералы вышел бы.

Журнально-газетное поношение «Взбаламученного моря» заставило писателя замолчать на год. Только весной 1864 года он принялся за трагедию «Бывые соколы», а закончив ее, написал во второй половине года цикл рассказов «Русские лгуны», который мыслился автором весьма широко. Но по цензурным условиям Алексею Феофилактовичу пришлось вскоре оборвать задуманное, и в «Отечественных записках» Краевского увидели свет только восемь небольших новелл. Общая мысль цикла была изложена Писемским в предисловии к публикации:

"Люди, названные мною в заголовке, вероятно, знакомы читателю. Когда я встречался с ними в жизни, они производили на меня скуку, тоску и озлобление; но теперь, отодвинутые от меня временем и обстоятельствами, они стали дороги моему сердцу. В них я вижу столько национального, близкого, родного мне... Начав с простейших элементов, мне, вероятно, придется перейти и к гораздо более высшим типам. Поле мое, таким образом, широко. Я только робею за свои силы, чтобы все эти

фигуры отлить из достойного металла, с искусством и точностью, достойными самого предмета, и в этом случае наперед прошу читателя обращать внимание не столько на тех добрых людей, про которых мне придется рассказывать, как на те мотивы, на которые они лгали.

Выдумывая, всякий человек, разумеется, старается выдумать и приписать себе самое лучшее, и это лучшее по большей части берет из того, что и в обществе считается за лучшее. Лгуны времен Екатерины лгали совсем по другой моде, чем лгут в наше время. Прислушиваясь со вниманием к тем темам, на которые известная страна в известную эпоху лжет и фантазирует, почти безошибочно можно определить степень умственного, нравственного и даже политического развития этой страны".

В воображении писателя рисовалась целая энциклопедия лжи; приходится только сожалеть, что дальше первой серии дело не пошло. Покончив с «Лгунами», Алексеи Феофилактович на несколько лет вообще распростился с прозой – может быть, потому, что слишком огорчительны были неуспех (вернее, антиуспех) романа и унизительное для него молчание критики по поводу новых рассказов. Один из немногих отзывов о них носил весьма грозный оттенок: «После „Взбаламученного моря“ г.Писемскому оставалось только превратиться в веселого рассказчика смехотворных анекдотиков, и это превращение действительно произведено им на страницах „Отечественных записок“, в которых он описывает в настоящее время „Русских лгунов“. Эти рассказцы могли бы с большим успехом фигурировать даже в московском „Развлечении“, и я не теряю надежды на то, что г.Писемский, вымоливший себе непонимание будущего, когда-нибудь действительно пойдет оканчивать свою литературную карьеру в какой-нибудь столь же мизерной газетке».

Последняя фраза не на шутку взволновала Алексея Феофилактовича. Ему казалось, что литературные противники задались целью выжить его из всех крупных изданий. Вряд ли какой-нибудь из журналов, дорожащий подписчиками, осмелится пренебречь рекомендациями влиятельных критиков – а они, словно сговорившись, дружно требуют изгнания Писемского из «порядочного общества».

Единственным утешением для Алексея Феофилактовича было то, что он был не одинок в своем отношении к террору критики и руководимых ею «зеленых» читателей. Ивана Сергеевича тоже обругали. И название-то какое у статейки той было: «Асмодей нашего времени»! То ли Базаров в виду имелся, то ли сам Тургенев. И это про Ивана Сергеевича – деликатнейшего,

умнейшего человека, врага всякого застоя, первого, кто поднял свой голос против крепостного права! Да за одни «Записки охотника» Россия вечно будет благодарна ему. «Асмодей»! – да кто вы такие, чтобы хулить великих мужей? За версту несет от вас, господа, поповским духом – одни словечки чего стоят. Не иначе этот Антонович тоже из «кутейников»[18].

Отношения с Тургеневым, одно время – с конца 1850-х годов – значительно охладевшие, – переросли в эту пору в настоящую дружбу. Все началось с письма Алексея Феофилактовича, отправленного в Баден-Баден в мае 1866 года. После пяти лет, в течение которых оба писателя не виделись, Тургенев, наверное, воспринял пространное послание Писемского как крик о помощи. Почти всеми оставленный, Алексей Феофилактович горько жаловался на непонимание, и Ивану Сергеевичу, также жестоко обиженному критикой, были глубоко понятны чувства его старого знакомого. Словно и не было долгого перерыва, словно не было стольких лет чужбины – Тургенев ясно услышал за строками письма высокий, чуть с хрипотцой голос Ермила, увидел его живые карие глаза, доверчиво глядящие на собеседника. И он немедленно принялся за ответ. Теплый, участливый тон этого письма ободрил Алексея Феофилактовича, он снова написал Ивану Сергеевичу…

Все шестидесятые и семидесятые годы Тургенев жил в основном за границей, и виделись они не часто – обычно во время приездов Алексея Феофилактовича на лечение в Германию и Францию. Но сознание общности их литературной судьбы, понимание того, что оба они принадлежат по своим идеалам к «людям сороковых годов», которых к тому времени оставалось не так уж много, стало основой их сближения. Для Писемского Тургенев сделался, без преувеличения, самым близким человеком, их обширная переписка – лучший памятник этой трогательной дружбы.

Особенно ободрило Алексея Феофилактовича то, что Иван Сергеевич одинаково с ним относился к тем многочисленным общественным партиям, которые определяли тон русской жизни в шестидесятых годах. Когда он прочел в мартовской книжке «Русского вестника» за 1867 год тургеневский «Дым», восторгам его, казалось, не будет конца. В те дни от каждого из своих московских знакомых он требовал немедленно приняться за роман.

– Как, вы еще не читали «Дым», не вкусили его чудесного аромата? Это величайшая и самая едкая сатира на наше неумное общество! Виват Тургеневу!

И посетителям его сред он восторженно кричал, размахивая

растрепанной книжкой журнала:

– По моему разумению, все более умные, более образованные и более честные люди в Москве горой стали за эту умнейшую сатиру. И, напротив, самолюбивая да лживая челядь господ Антоновичей, именующаяся читающей публикой, злится до бешенства, рычит против «Дыма». Да черт их всех дери!..

После таких наступательных рекомендаций у гостей, естественно, пропадала охота спорить, даже если тургеневский роман и не представлялся им верхом совершенства.

На деле взгляды Алексея Феофилактовича существенна отличались от тех, что заявлены тургеневскими героями. Не был он таким крайним западником, как Потугин, не считал Европу святым Граалем для русской культуры. Его подкупило прежде всего отрицательное отношение к болтунам радикального толка, собиравшимся для многочасовых словопрений на богатом немецком курорте[19]. Он был, разумеется, согласен и с неприятием реакционеров, твердо проведенным в «Дыме». Но усмешки над славянофилами?.. Писемский тоже не принимал славянофильских крайностей, его раздражала восторженность их вождей и идущей за ними публики. Но то было неприятие крайностей, а по сути Писемский никогда не изменял своему «москвитянинскому» прошлому – все его произведения той поры проникнуты явным сочувствием к идеям славянофилов. И тут нет серьезного противоречия – можно принимать какие-то идеи, но критически относиться к их исповедникам. Сказывался вечный антиромантизм Писемского, его неприязнь к звонким словам и патетическим позам...

Одним из немногих близких ему в ту пору людей оставался Павел Васильевич Анненков. Хотя он и ругнул печатно «Взбаламученное море», но в отличие от многих из петербургской пишущей братии не изменил своего отношения к Алексею Феофилактовичу. Их нечастые встречи всегда приносили обоим радость, оба они были по-человечески симпатичны, а потому и интересны друг другу. Писемский клялся своим московским приятелям:

– Я куплю его портрет и оставлю детям моим в наследство с такой надписью: «Этот человек поддержал вашего отца своею дружбою в самое тяжелое время его жизни!»

Анненков помог Писемскому выхлопотать через министра внутренних дел место в московском губернском правлении. Он же постоянно устраивал журнальные дела Алексея Феофилактовича, ходатайствовал перед дирекцией петербургских театров о постановке его пьес, содействовал тому, чтобы их пропустила цензура. А работы по этой части у него было немало – пьесы шли

как из рога изобилия.

Замолчав на несколько лет как прозаик[20], Писемский ощутил неодолимую тягу к театру. За первые годы московской жизни из-под пера его вышло шесть пьес: «Бывые соколы», «Бойцы и выжидатели», «Птенцы последнего слета», «Самоуправцы», «Поручик Гладков», «Милославские и Нарышкины». Большая часть их – исторические.

Обращение к минувшему – явление вообще характерное для литературы того времени. Островский, Алексей Константинович Толстой и Лев Мей писали исторические драмы, Лев Толстой работал над романом об Отечественной войне, и даже Салтыков-Щедрин публикует в 1869-1870 годах «Историю одного города», где в фельетонном духе переосмысливались династические предания Романовых. Представляется, что взгляд в прошлое был закономерен после бурного периода конца 50-х – начала 60-х годов, когда интересы общества и литературы устремлялись прежде всего на предметы, требовавшие решения сейчас, немедленно. Взбаламученное морс улеглось, и появилась потребность увидеть корни грозных социальных процессов, поколебавших спокойствие империи. Поэтому и начался исторический поиск первопричин, первоидей...

Пьесы Писемского, написанные в эти годы, с трудом пробивались в печать, еще незавиднее была их сценическая судьба. Некоторые писателю вообще не удалось увидеть в актерском исполнении – к примеру, «Поручик Гладков» был разрешен к постановке только в 1905 году! Но то, что допускалось на сцену, зритель 60-х годов принимал горячо. Интересно отметить, что восторженный прием объяснялся отчасти самим выбором материала для пьесы – в письме Писемского Анненкову о «громадном успехе» «Самоуправцев» читаем: «Эффект был поразительный на первом представлении – видимо, что публике страшно надоели купеческие чуйки и даже фраки и сюртуки на сцене; увидя павловские мундиры, пудреные парики и вообще всю обстановку того времени, она просто пришла в восторг». Глубокое, все усиливающееся внимание к прошлому родины стало с той поры постоянным фактором литературно-общественного самосознания. И Писемскому принадлежит заметная роль в пробуждении этою интереса...

Некоторые из исторических пьес писателя вызывали насмешки – к примеру, «Поручик Гладков» и «Самоуправцы» стали объектами ядовитых пародий. Вышучивался намеренно архаичный язык, дикие страсти, изображенные в этих произведениях. Что, впрочем, не повредило трагедиям – они ставятся до сих пор.

К сожалению, многое в известных нам текстах пьес «обкатано», спрямлено в результате переделок – цензура бесцеремонно требовала таких изменений, которые касались всего строя произведения. Сохранилось свидетельство человека, слышавшего первый вариант «Бывых соколов», открывавших новый период в творчестве Писемского... Анатолий Федорович Кони, учившийся в Московском университете, бывал у Алексея Феофилактовича вместе с будущим исследователем творчества Писемского Александром Кирпичниковым и однажды приехал к нему на дачу, когда работа над трагедией только-только закончилась. Пригласив своих молодых друзей в кабинет, писатель стал читать, вернее, играть написанное. Он только изредка заглядывал в рукопись и, когда стало смеркаться, не дал даже зажечь свечи – так что слушали его в почти полной тьме. Впечатление от пьесы благодаря мастерскому исполнению, самой обстановке было, конечно, особенно глубоким. И все же несомненно, что Кони не преувеличивал, когда писал: "Я никогда впоследствии не читал и не слышал ничего, что бы производило такое потрясающее впечатление трагизмом своего сюжета и яркими, до грубости реальными, красками. В этой драме был соединен и, так сказать, скован воедино тяжкий и неизбежный рок античной трагедии с мрачными проявлениями русской жизни, выросшей на почве крепостного права. Жестокость и чувственность, сильные характеры и едва мерцающие, условные понятия о добре и зле, насилие и восторженное самозабвение – были переплетены между собой в грубую ткань, в одно и то же время привлекая и отталкивая зрителя, волнуя его и умиляя. Откровенность некоторых сцен, совершенно необычная в то время, напоминала по своей манере иные места в шекспировских хрониках...[21]

По тогдашним цензурным условиям такая пьеса, конечно, не могла появиться не только на сцене, но и в печати. И действительно, когда через много лет я прочел в печати «Бывых соколов», я не нашел в них даже отдаленного сходства с тем, что мы слышали от Писемского в памятный августовский вечер. То, что он нам читал тогда, было словно положено в щелок, который выел все краски и на все наложил один серенький колорит. Самый сюжет был изменен, смягчен и все его острые углы обточены неохотною и потерявшею к своему произведению любовь рукою. Контуры типических, властных и суровых лиц оказались очерченными слабее и далеко не производили прежнего впечатления... Едва ли сохранилась первоначальная рукопись «Бывых соколов» при том разгроме семьи Писемского, который произвела судьба. И об этом нельзя не пожалеть: теперь

эта вещь могла бы быть напечатана целиком и показать, что модным в наше время резким откровенностям сюжета может соответствовать редкая в наше время глубина житейской правды..."

Когда чтение пьесы окончилось, потрясенные слушатели несколько минут сидели в каком-то ватном оцепенении, потом, не в силах вымолвить ни слова, только с чувством пожали похолодевшую руку писателя. А когда он вышел к вечернему чаю, видно было, что он еще живет пьесой – тяжело молчал, неохотно отвечал на вопросы.

Пьесы, написанные после «Взбаламученного моря», Алексей Феофилактович пытался пристроить в большие журналы, но их или не брали, или не пропускала цензура. Только три драмы из шести увидели свет при жизни писателя – причем напечатал их владелец нового журнала «Всемирный труд» доктор М.А.Хан.

Всякое затеваемое «на пустом месте» издание нуждалось в крупных именах, которые могли бы привлечь читателя, помочь собрать значительную подписку. Но это было очень непросто – если кто-нибудь из «китов» и разражался раз в год повестью или рассказом, на него набрасывались редакторы больших журналов с солидной репутацией – «Отечественные записки», «Русский вестник», «Дело», несколько позднее «Вестник Европы». В таких условиях перехватить произведение «туза» можно было лишь за высокий гонорар. Хан заплатил Писемскому по 250 рублей за лист хотя пьесы не назовешь увлекательным чтивом, способным увлечь публику.

Но согласие Писемского печататься во второразрядных журналах не объяснишь лишь «генеральскими» ставками. Начала действовать запущенная враждебными критиками машина бойкота, и для владельцев наиболее популярных изданий Писемский надолго сделался одиозной фигурой – одним из тех «китов», за которыми не бегали, а кому приходилось самому искать литературное пристанище. Потому и оказывал он благосклонность редакторам вновь возникавших толстых ежемесячников.

Летом 1868 года к Алексею Феофилактовичу приехал из Петербурга Василий Владимирович Кашпирев, вознамерившийся издавать новый журнал «Заря». Писемский написал к тому времени только первые главы романа «Люди сороковых годов», но когда Кашпирев прослушал их и краткое изложение будущего содержания, сделка состоялась. Вскоре издание разрешили и в прессе появились объявления о программе нового журнала – в нем на первом месте значилось имя Писемского.

С январского номера 1869 года «Заря» начала печатать

огромный роман, который завершился только в сентябре. Писемский настолько основательно разгрузил мошну Кашпирева, что в редакционном кружке стали ворчать, будто Алексей Феофилактович разорил издателя. Однако, когда писатель приезжал в Петербург и являлся на среды Василия Владимировича, все бывали несказанно рады ему – он вносил веселость, оживление в несколько чопорную, скучноватую атмосферу, создаваемую длинными схоластическими речами Н.Н.Страхова (исполнявшего обязанности редактора), Д.В.Аверкиева и других критиков, участвовавших в «Заре». Собственно, говорили они, как писали – обстоятельно, умно, но без огня. Страхов считал, что так и подобает выступать в печати достойным людям – «писать надо в облачении, а не с шапкой набекрень», говаривал он.

«Заря» была ярко выраженным славянофильским рупором, но без деклараций, характерных для московских изданий Ивана Аксакова. Потому-то журнал и «не шел», подписка на него оказывалась довольно скромной. А ведь здесь публиковались произведения крупных прозаиков и поэтов (Достоевский, Фет, Майков, Щербина), писания критиков отличались прекрасным литературным вкусом и точностью оценок (достаточно сказать, что «Заря» первой оценила значение эпопеи Толстого: Н.Н.Страхов заявил со страниц журнала, что «Война и мир» – творение гениальное, хотя это мнение мало кто разделял в то время. Публицистика журнала была еще значительнее – в первый же год своего существования «Заря» поместила одно из характернейших произведений русской политической мысли XIX века. Трактат Н.Я.Данилевского «Россия и Европа», печатавшийся параллельно с «Людьми сороковых годов», представляет собой наиболее стройное и законченное из теоретических сочинений славянофильского лагеря. На полвека раньше немецкого философа Шпенглера, считающегося основателем теории циклического развития цивилизаций, Данилевский создал учение о культурно-исторических типах. Отрицая существование единой всечеловеческой цивилизации, ученый выделял несколько частных цивилизаций в истории – причем основные начала, на которых зиждется их развитие, он считал особым достоянием народов определенного культурно-исторического типа. Писемского, всегда интересовавшегося современной наукой, увлекли первые же страницы труда Данилевского, печатавшегося «по соседству» с его романом. Он отчеркнул ногтем на полях то место трактата, где ученый сформулировал относящиеся к выведенным им культурно-историческим типам законы исторического развития.

Согласно этим законам всякое независимое племя или семейство народов, говорящих на родственных языках, составляет самобытный культурно-исторический тип. При этом основные начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам, принадлежащим к иному типу. Ибо каждый тип вырабатывает собственную цивилизацию, хотя не исключено большее или меньшее влияние предшествовавших или современных цивилизаций.

Сам ход развития культурно-исторических типов Данилевский уподоблял «многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения – относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу».

Алексея Феофилактовича всегда интересовали естественнонаучные теории, а труд Данилевского представлял собой попытку дать материалистическое объяснение исторического процесса[22]. И хотя отдельные положения трактата вызывали несогласие писателя, главные мысли ученого казались ему убедительными, и он продолжал отчеркивать целые абзацы или даже страницы.

В очередной свой приезд в Петербург писатель познакомился у Кашпиревых и с самим автором трактата. О Данилевском Алексей Феофилактович и прежде много слышал в редакции «Зари», и теперь, заинтригованный этими рассказами, он придирчиво оглядывал плотного господина с открытым, несколько простонародным лицом. Неужели этот человек, похожий на рассудительного крестьянина-"питерщика", был одним из главных толкователей Фурье в кружке Петрашевского? Хорошо зная Достоевского, Писемский представлял себе всех петрашевцев именно такими, как Федор Михайлович – страстно увлеченными, пылкими ораторами, тонко чувствующими искусство, глубоко проницающими людскую душу...

Когда разговорились, оказалось, что у них есть общие знакомые, и – повернись судьба немного иначе – могли бы быть общие воспоминания. Данилевский в середине пятидесятых годов работал на Нижней Волге вместе с академиком Бэром, изучая рыбные запасы реки и способы улучшения рыболовства.

– Экая досада! – воскликнул Писемский. – Ведь и я там занимался почти тем же самым делом.

Он поведал о своей командировке в Астрахань, о зарисовках быта рыбаков, о поездке с Бэром на Тюб-Караганский полуостров. Данилевский сказал, что он и теперь иногда встречается с добряком академиком, пообещал при случае передать привет от Алексея Феофилактовича.

– Николай Яковлевич, – проговорил Писемский и замолк, собираясь с мыслями. – Я ведь начало вашей работы в журнале с истым прилежанием читаю – с давних времен меня естественные науки занимают. А вы, как вижу, во всеоружии положительного знания решили подойти к такой тонкой материи, как душа человеческая, как народный тип. Повергаюсь к вашим стопам с превеликою просьбой: я в романе моем теперь дошел до того, чтобы группировать и поименовывать перед читателем те положительные и хорошие стороны русского человека, которые я в массе фактов разбросал по всему роману, о том же или почти о том же самом придется говорить и вам, как это можно судить по ходу статей. Не можете ли вы хоть вкратце намекнуть мне о тех идеалах, которые, как вы полагаете, живут в русском народе, и о тех нравственных силах, которые, по преимуществу, хранятся в нем, чтобы нам поспеться на этот предмет и дружнее ударить для выражения направления журнала.

Данилевский улыбнулся – ему казалось, будет непросто перевести выводы его теории на язык художественного произведения. Да и изложение учения в двух словах представлялось ему делом непростым. Однако, поразмыслив, он решил помочь писателю.

– Поелику начало трактата вам знакомо, Алексей Феофилактович, не стану повторять выведенных мною законов развития цивилизаций. Не буду детально обосновывать и главную мысль своего труда: принадлежит ли Россия к Европе? К сожалению или к удовольствию, к счастию или к несчастию – нет, не принадлежит. Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разрушенного древнего мира, – не питалась и теми корнями, которые почерпали пищу из глубины германского духа, она не причастна ни европейскому добру, ни европейскому злу; как же может она принадлежать Европе? Ни истинная скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Европой. Она не заслужила этой чести и, если хочет заслужить иную, не должна изъявлять претензии на ту, которая ей не принадлежит. Только выскочки, не знающие ни скромности, ни благородной гордости, втираются в круг, который считается ими за высший; понимающие же свое достоинство люди остаются в своем кругу, не считая его (ни в каком случае) для себя унизительным, а стараются его облагородить так, чтобы некому и нечему было завидовать.

– Но как же быть тогда с великим историческим призванием нашим – нести свет цивилизации и христианское просвещение диким народам? – вмешался один из присутствовавших на вечере

– студент духовной академии.

Данилевский повернулся к нему с саркастической усмешкой:

– Тысячу лет строиться, обливаясь потом и кровью, и составить одно из величайших государств в восемьдесят миллионов для того, чтобы потчевать европейскою цивилизацией пять или шесть миллионов кочевников? Ведь именно таков настоящий смысл громких фраз о распространении цивилизации в глубь Азиатского материка. Ведь именно в этом и состоит, если всмотреться в суть позиции наших «культуртрегеров», то великое назначение, та всемирно-историческая роль, которая предстоит России как носительнице европейского просвещения? Нечего сказать: завидная роль, – стоило из-за этого жить, царство строить, государственную тяготу нести, выносить крепостную долю, петровскую реформу, бироновщину и прочие эксперименты! Уж лучше было бы в виде древлян и полян, вятичей и радимичей по степям и лесам скитаться, пользуясь племенною волею, пока милостью божией ноги носят.

При этих словах Алексей Феофилактович вспомнил своего астраханского собутыльника в засаленном гусарском мундире – калмыцкого князя Тюменя. И залился смехом. Когда он рассказал о своем давнишнем приятеле присутствующим, все также развеселились.

После знакомства с Данилевским Писемский с еще большим вниманием прочитывал каждый новый номер «Зари» с продолжением трактата. Книга философа имела для него теперь особую цену – в «России и Европе» отразились убеждения, за которые автор едва не заплатил жизнью. Но не только в этом было дело – многое в сочинении Данилевского отвечало заветным мыслям писателя, подтверждало, точно формулировало его житейские наблюдения. А некоторые высказывания ученого попросту открывали Писемскому глаза на сущность многих явлений, черт народного характера.

«Россия и Европа» настолько сильно воздействовала на воображение писателя, что он даже решил «на ходу» кое-что переделать в своем романе в соответствии с основными тезисами трактата. Согласно взглядам Данилевского, прозаик «подправлял» высказывания Павла Вихрова и его товарищей, а те главы, в которых говорилось об убеждениях основных героев романа, во многом навеяны чтением «России и Европы».

Но не только построения Данилевского вдохновляли Писемского. Многое из того, что говорилось в кашпиревском кружке его главным идеологом Страховым, тоже нашло отражение в романе. Московские приятели даже корили Алексея Феофилактовича за то, что он опять, как и во «Взбаламученном

море», поддается искушению напрямую, публицистически говорить о волнующих его вопросах.

– Ладно, – ворчал Алексей Феофилактович в ответ на замечания критика Алмазова, с которым он часто советовался. – Ладно, Боря, я в Москве только твоему суду и верю, так и быть, выкину самое забористое. Но кое-что не могу – дороги мне эти мысли. Обязательно надо сказать, что гений нашего народа пока выразился только в необыкновенно здравом уме – и вследствие этого в сильной устойчивости; в нас нет ни французской галантерейности, ни глубокомыслия немецкого, ни предприимчивости английской, но мы очень благоразумны и рассудительны: нас ничем нельзя очень порадовать, но зато ничем и не запугаешь. Мы строим наше государство медленно, но из хорошего материала; удерживаем только настоящее, и все ложное и фальшивое выкидываем. Что наш аристократизм и демократизм совершенно миражные все явления, в этом сомневаться нечего; сколько вот я ни ездил по России и ни прислушивался к коренным и любимым понятиям народа, по моему мнению, в ней не должно быть никакого деления на сословия – и она должна быть, если можно так выразиться, по преимуществу государством хоровым, где каждый пел бы во весь свой полный, естественный голос, и в совокупности выходило бы все это согласно... Этому свойству русского народа мы видим беспрестанное подтверждение в жизни: у нас есть хоровые песни, хоровые пляски, хоровые гулянья... У нас нет, например, единичных хороших голосов, но зато у нас хор русской оперы, я думаю, первый в мире.

– А кто же это говорить-то будет, Алексей Феофилактович?

– Вихров, кто же еще...

Роман, начатый летом 1868 года, был давно задуман Писемским. Еще во время службы в Костроме он сообщал Краевскому, что намеревается написать для «Отечественных записок» «Автобиографию обыкновенного человека»: «Начну с рождения и буду следить за постепенным развитием человека. Обстоятельствами жизни обставлю его самыми обыкновенными, препятствие со стороны цензуры вижу в одном только, что он должен еще в школе влюбиться, влюбиться невинно, наивно или даже глупо, прослежу потом все замашки юности, горькие уроки, постепенное охлаждение, в период которого он оглянулся на прошедшее и пишет записки». Но тогда замысел не был осуществлен. «Люди сороковых годов» в известной степени представляют собой художественную автобиографию Писемского – главный герой писатель Вихров прошел примерно ту же жизненную школу, что и Алексей Феофилактович. В основном

совпадают вехи становления автора и его героя. Однако внешнее сходство не значит, что можно отождествлять Писемского с Вихровым, как это делали многие критики. В чем-то романист и осмеивал своего «двойника», придавая ему сходство с печоринцами сороковых годов, кое-что из вихровских взглядов явно контрастировало с воззрениям и самого Алексея Феофилактовича. Но высказываниям героя в заключительной части романа можно доверять – они весьма близки к мнениям Писемского, не раз высказывавшимся в 60-х годах. Антилиберальный пафос, издевка над крайностями нигилизма, над несамостоятельностью мышления восторженных господ, живущих убеждениями автора последней прочитанной книжки, – все это, несомненно, препоручил Вихрову сам Писемский, считавший, что все беды России – от болтовни и неумения сосредоточенно работать на раз избранном поприще. Вихров «почти согласен» со своим другом губернатором Абреевым, когда тот говорит: «Мы имеем обыкновение повально обвинять во всем правительство; но что же это такое за абстрактное правительство, скажите, пожалуйста? Оно берет своих агентов из того общества, и если они являются в службе негодяями, лентяями, дураками, то они таковыми же были и в частной своей жизни, и поэтому обществу нечего кивать на Петра, надобно посмотреть на себя, каково оно! Я вот очень желаю иметь умного правителя канцелярии и распорядительного полицеймейстера, но где же я их возьму? В Петербурге нуждаются в людях, не то что в провинциях».

Несколько лет исторических изысканий Писемского, работавшего над сюжетами из русского прошлого, также нашли отражение в «Людях сороковых годов» – никогда раньше его герои не высказывались столь определенно, как в этом романе, о явлениях общественной жизни Древней Руси. Вихров в совершенно славянофильском духе оспаривает слова одного из юных реформаторов о том, что постоянная ненависть к власть предержащим у образованного общества – «историческая, за разных прежних воевод и наместников»: «Вряд ли те воеводы и наместники были так дурны. Я, когда вышел из университета, то много занимался русской историей, и меня всегда и больше всего поражала эпоха междуцарствия: страшная пора – Москва без царя, неприятель и неприятель всякий – поляки, украинцы и даже черкесы, – в самом центре государства; Москва приказывает, грозит, молит к Казани, к Вологде, к Новгороду, – отовсюду молчание, потом вдруг, как бы мгновенно, пробудилось сознание опасности; все разом встало, сплотилось, в год какой-нибудь вышвырнули неприятеля; и покуда, заметьте, шла вся эта

неурядица, самым правильным образом происходил суд, собирались подати, формировались новые рати, и вряд ли это не народная наша черта: мы не любим приказаний; нам не по сердцу чересчур бдительная опека правительства; отпусти нас посвободнее, может быть, мы и сами пойдем по тому же пути, который нам указывают; но если же заставят нас идти, то непременно возопием; оттуда же, мне кажется, происходит и ненависть ко всякого рода воеводам». Страхов и Данилевский могли быть довольны таким беллетристическим подкреплением своих теорий, хотя многое в романе Писемского и вызывало их несогласие. Особенно это касалось религиозных воззрений автора романа. Алексей Феофилактович, довольно равнодушный к вопросам веры, только и смог предложить жаждущему духовного окормления читателю «Зари», что расплывчатый пантеизм, то есть, говоря по-русски, всебожие: божество пребывает в каждом явлении живой и неживой природы.

В кружке Кашпирева, где все более или менее истово исповедовали славянофильский символ веры, Алексей Феофилактович был, пожалуй, наиболее свободомыслящей фигурой. Рядом с поэтом Федором Бергом, щеголявшим в красной рубахе, рядом с благостным Страховым насмешливый Писемский с его «скоромными» анекдотцами смотрелся ёрой. Но с наибольшей законченностью тип «бытового славянофила» выразился в издателе журнала Кашпиреве – миловидном голубоглазом блондине, весьма ленивом и добром, настоящем Илье Ильиче Обломове по внешности и повадкам. Он был небогатым самарским помещиком и заложил свое имение, чтобы издавать журнал – ему непременно хотелось подарить России настоящий русский ежемесячник, какого, по мнению Василия Владимировича, до тех пор не было. Но у Кашпирева имелось только возвышенное желание сделаться издателем, способностей же к тому – никаких. Если б не расторопный лакей Аристарх и подвижная как ртуть супруга Кашпирева Софья Сергеевна, то владелец «Зари» вряд ли выбирался бы из постели к обеду, а журнал и подавно не смог бы исправно выходить в начале месяца. Писемский говорил, что у Кашпиревой торговый ум – это в его устах звучало как похвала. Софья Сергеевна вела все дела с типографщиками, с книготорговцами, договаривалась о закупках бумаги, ездила в цензуру, писала авторам. Позднее предприимчивая дама сделалась издательницей детского журнала «Семейные вечера» и успешно руководила им двадцать лет.

Писемскому, глядевшему русаком, как тогда говорили, приятно было появляться в этом чисто русском доме – одном из

немногих в казенно-немецкой столице, где все и вся куда-то неслось в погоне за удачей. Даже перестав сотрудничать в «Заре», Алексей Феофилактович постоянно поддерживал связи с Кашпиревыми, а когда через несколько лет Василий Владимирович умер, для писателя это было немалой утратой. «Я сам любил душевно вашего мужа, – писал Алексей Феофилактович вдове, – он был из этого небольшого числа чистых людей, которых все менее и менее становится; на могиле его можно написать, что он был человеком 40-х, а не 70-х годов». А для него человек 40-х годов значило – чистый сердцем идеалист, человек 70-х годов – торгаш, делец, готовый ради выгоды поступиться убеждениями...

Появляясь после долгого отсутствия в Петербурге (обычно это случалось в конце года, когда шла подписка и в конторах журналов были деньги, можно было, следовательно, получить сполна причитающийся гонорар), Алексей Феофилактович шумно вваливался к Кашпиревым в своей необъятной бобровой шубе, с тяжелой суковатой тростью в руке. Разоблачившись, он с пыхтением устраивался на диване, с какой-то настороженностью переводя свои выпученные глаза с одного участника среды на другого – тут бывало немало лощеных светских молодых людей, к которым вообще-то писатель относился с некоторым недоверием: с иголочки одетый Константин Леонтьев, щеголеватый Всеволод Крестовский в уланском мундире, аристократически невозмутимый Василий Авсеенко с моноклем в глазу. Но все эти светские господа с такой неподдельной радостью встречали появление Писемского, что он вскоре успокаивался и начинал балагурить в своем обычном тоне. Когда же возникали отвлеченные споры о современной литературе, он морщился и ворчал, что изящная словесность пребывает в упадке и теперешнее ее оскудение связано со стремительным ростом железных дорог, которые полезны лишь для торговли.

– Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, – говорил Писемский, – оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, – все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому «на долгих», в общем тарантасе или «на сдаточных», – да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, – изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ – вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, – ну, разумеется, густо и в

сочинении выходило; а нынче все это по-железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай; ешь – пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда.

Такие парадоксальные мнения сразу уводили разговор на другой, более плодотворный путь. Или уж, во всяком случае, прерывался всем надоевший спор записных аналитиков Аверкиева и Страхова.

Из старых питерских друзей ближе всего были Писемскому Гончаров, Анненков, Горбунов, Майков и Максимов. Однако в свои приезды в столицу Алексей Феофилактович нечасто останавливался у кого-нибудь из них, он предпочитал комфортабельный нумер гостиницы «Париж». Зато любовь этих раблезианцев к хорошей кухне нередко сводила их всех вместе «чрева ради» у Донона, у Палкина или в Балабинском трактире.

В Петербурге Писемский познакомился с Лесковым, тогда нашумевшим своими антинигилистическими романами (они печатались под псевдонимом М.Стебницкий). За них Николай Семенович также был подвергнут всеобщему остракизму, и двери крупнейших журналов захлопнулись перед ним. Лесков ставил очень высоко творчество Писемского. Уважительно-ласково называя его Алексеем Филатычем, младший годами писатель утверждал, что автор «Взбаламученного моря» – решительно жертва критического террора. Это, несомненно, сблизило обоих литераторов, они стали переписываться. Когда в 1871 году в новом славянофильском журнале «Беседа» стал печататься роман Писемского «В водовороте», Лесков, дочитав его едва до половины, прислал автору восторженное письмо:

«Не мне писать вам похвальные листы и давать „книги в руки“, но по нетерпячести своей не могу не крикнуть Вам, что Вы богатырь! Прочел я 3-ю книжку „Беседы“... молодчина Вы! Помимо мастерства, Вы никогда не достигали такой силы в работе. Это все из матерой бронзы; этому всему века не будет! Подвизайтесь и не гнушайтесь похвал „молодших людей“, радующихся торжеству Ваших сил и желающих Вам бодрости и долгоденствия».

На это Писемский отозвался с привычной скорбью по поводу отсутствия благожелательности со стороны законодателей мнений окололитературной публики: «Путь наш тернист, и похвалами мы не избалованы. Отсутствие хоть сколько-нибудь понимающего критика и в то же время крики разных газетных бумагомарателей сбивают с толку публику, далеко еще не привыкшую иметь собственное мнение; но авось в горниле

времени все это поочистится и правда возьмет свое: я, собственно, уже на склоне дней моих и, может быть, скоро совсем покину литературную арену, но за молодые дарования невольно приходится скорбеть душой: где для них ободряющая и поучающая школа, где бы они могли развиться и окрепнуть; всюду только и читаешь или голословную брань, когда вы не из наших, или пристрастную похвалу, если вы наш; а между тем роман, видимо, все более и более становится художественной статистикой времени и ближайшим помощником истории – критики же полоумные наши на перерыв кричат романистам: „Не смейте говорить правды, а лгите и лгите, чтобы не повредить нашим высокоизбранным направлениям“ – к счастью только, что избранные им агенты желаемой им лжи являются очень слабыми и незубастыми: ни юмор, ни поэзия как-то не роднятся с ложью!»

И в своем пессимизме относительно современных мнений писатель оказался прав – критика в очередной раз в штыки приняла новое его сочинение. Например, «Санкт-Петербургские ведомости» поместили статейку В.П.Буренина, тогда, по слову Ивана Аксакова, сидевшего в либералах. Критик без всяких церемоний заявил: «По окончании романа я должен сказать, что более бесцельного и тупого беллетристического произведения в настоящем году я не знаю. Это просто сплетение сцен, без лада и смысла, набор лиц и происшествий, не имеющих за собой никакой серьезной подкладки, никаких авторских намерений, кроме разве клубничных. Разумеется, при опытности г.Писемского в сочинительстве, при остатках его таланта, в романе несколько страниц встречаются живых; но в целом – это просто нескладица, грубая и местами неприличная». Да что говорить о современниках, когда даже после смерти Писемского находились «ценители» вроде Венгерова, вещавшего: «Положительно, если б „В водовороте“ было написано немцем, в нем едва ли было бы больше несоответствия с живою русскою действительностью. Этот небывалый князь-нигилист Григоров, этот Миклаков, которому как что нужно, так это по щучьему велению тотчас исполняется, наконец эта выдуманная от начала до конца „нигилистка“ Елена – все они точно с луны пришли».

Редкие голоса, пытавшиеся дать объективную оценку творчества Писемского, тонули во враждебном гвалте. И потому отрицательная оценка новых вещей писателя закреплялась в сознании публики. Именно на это невыносимое положение сетовала крупная петербургская газета «Голос»: "Новый роман г.Писемского («В водовороте». – С.П.) не уступает нисколько лучшим его произведениям прежнего времени. При иных, более благоприятных для нашей изящной словесности условиях, при

более здравом взгляде на художественные произведения этот роман встретил бы такой же почетный успех, какой в свое время имел его прекрасный роман «Тысяча душ».

Алексею Феофилактовичу, конечно, обидно было читать про «грубую нескладицу». Ведь начав свой новый роман в феврале 1870 года, он закончил последнюю главу только к лету следующего. На сей раз писатель не спешил – друзья сразу заявили, что это заметно и по тщательной отделке стиля, и по изумительной продуманности композиции. И они оказались правы – «В водовороте», без сомнения, самая изящная «постройка» романиста...

Чудак и либерал князь Григоров влюбляется в нигилистку Елену Жиглинскую. Правда, ее «практический нигилизм» составляет какой-то бледный, а местами едва различимый фон. Она, как говорит автор, принадлежала «к разряду тех существ, про которых лермонтовский Демон сказал, что для них нет раскаяния, нет в жизни уроков».

Елена нигилистка, но в ней нет ничего карикатурного, что обычно сопутствовало изображению эмансипированных женщин в романах писателей консервативного юлка. Напротив, Писемский набрасывал ее портрет с каким-то восторгом, любуясь недюжинным характером, ясным и сильным умом героини. Елена красива, нравственно безупречна и ко всему очень женственна. Она любит самозабвенно, но если что-то против ее убеждений, готова оставить любимого человека, отринуть все житейские блага. Дьявольская гордыня Жиглинской заставляет ее покинуть богача князя и влачить нищенское существование в холодном сыром подвале. Разошлись они не из-за охлаждения друг к другу, а по идейным соображениям, как и подобает «новым людям».

Григоров, который поначалу мог показаться еще одной вариацией на тему богатого лентяя, способного только сотрясать воздух, постепенно вырисовывается как крупная, оригинальная личность. Хоть он и слаб, мягкосердечен, это не Эльчанинов, не Бакланов, убеждения его действительно искренни и глубоки. Князь прекрасно сознает, что его непоследовательность, неумение упорно трудиться – результат дурного воспитания, избалованности, поверхностного образования. Но это человек с добрым, горячим сердцем, чистый человек. Он, в сущности, большой идеалист, романтик – его социалистические увлечения, поездки к лондонским эмигрантам, связи с революционерами результат возвышенных мечтаний о всеобщем счастье и равенстве. Григоров куда менее последователен в своем нигилизме, чем его возлюбленная. Во всяком случае, в бытовой сфере он вполне человек традиции, в нем нет того фанатизма, что

постоянно проглядывает в Жиглинской, которая готова очевидные глупости делать, лишь бы поступать в соответствии с затверженными ею догмами. Елена готовится стать матерью, и между нею и князем возникает спор относительно принципов воспитания будущего ребенка. Когда Жиглинская не на шутку разволновалась, Григоров пытается успокоить ее и говорит: прежде всего надо позаботиться, чтобы родить младенца здоровым.

Но Елена встречает это примирительное заявление в штыки: «Ах... женщина прежде всего должна думать, что она самка и что первая ее обязанность – родить здоровых детей, здоровой грудью кормить их, потом снова беременеть...» Нет, она не хочет такой доли. Ребенка прекрасно может воспитать и «община».

Роман богат теоретическими спорами. Писемский более или менее верно отображал взгляды нигилистов на различные стороны общественной и семейной жизни. Но его все равно продолжали обвинять в искажении действительности, в незнании молодежи, как сделал это, к примеру, С.С.Окрейц на страницах журнала «Дело» (он писал о «Людях сороковых годов»). Но если сравнить изложение взглядов Елены на воспитание своего дитяти с тем, что рассказывал о «людях 60-х годов» тот же Окрейц, то окажется, что Писемский вовсе не сгущал краски, скорее наоборот. Автор грозного разбора описал впоследствии в своих мемуарах типичную сходку шестидесятников, на которой сам присутствовал:

"Комната большая, сильно накурено. В табачных облаках едва можно различить людей. На столе самовар, колбаса, водка. Толпится много студентов, женщин-слушательниц из акушерских курсов, стриженых, в черных и серых кофтах, с грязными подолами. Мелькают и наивные детские личики. Жаль, что они, бедные, попали в такой водоворот. Но главные тараторки и коноводки – все из так называемых мимоз: прикоснись и уколешься. Немолодые, некрасивые, щеголявшие своею развязностью.

Сумбур речей: десяток говорит в одно время. Мимозы, не успев перекричать, бранятся. Идет обсуждение капитального вопроса: как уравнять людские отношения, чтобы не было ни родительского пристрастия к детям, ни пристрастия мужчин и женщин к тем, кто им нравится...

Очевидно, стоит только ввести общественное воспитание, и родительское пристрастие исчезнет.

Но возникали затруднения: при общественном воспитании кормилицы, выкармливая младенцев, все же привяжутся к ним.

На сцену выступил П-й – человек уже немолодой – и

предложил, чтобы няньки общественного пансиона брали ребят без выбора и подносили к перегородке, в которой будут прорезаны отверстия. Чрез эти отверстия кормилицы просунут свои сосцы и будут питать детей, не зная, кого кормят. Никакой родительской любви тогда не зародится. Вырастет поколение только сограждан, и собственность понемногу упразднится, утратив важнейший стимул: стремление накопить и оставить накопленное близким. Все наследства будут выморочные, общественные.

П-й очень гордился своим проектом".

Это свидетельство может показаться куда более тенденциозным, чем «теоретические» споры между героями романа. Да, кстати сказать, независимые от чужих мнений читатели подчеркивали впечатление правдивости, реалистичности новой книги Писемского.

Среди этих читателей был и Лев Толстой, приславший автору хвалебное письмо. Для Алексея Феофилактовича, давным-давно не получавшего ни строчки от своего старого знакомого, этот листок бумаги был дороже целых томов панегириков, коими баловала его критика в начале писательского пути. Чуть не каждому из своих гостей он давал подержать в руках коротенькую эпистолу Толстого.

– Ну, кому вы больше веры дадите – анониму из газетенки или величайшему русскому романисту?! Вот тут читайте: «От всей души благодарю вас за ваше письмо и присылку книги. Кроме удовольствия вашего письма, это сделало то, что я второй раз прочел ваш роман, и второе чтение только усилило то впечатление, о котором я говорил вам. Третья часть, которой я еще не читал тогда, – так же прекрасна, как первые главы, которые меня при первом чтении привели в восторг». Автор «Войны и мира» пришел в восторг, а какой-то господин Буренин объявил мой «Водоворот» сплетением сцен без лада и смысла...

Письмо из Ясной Поляны вдвойне обрадовало его потому еще, что Толстой впервые за последние десять лет так высоко отозвался о его новом сочинении. А ведь Алексей Феофилактович посылал ему все свои книги, выходившие в эти годы. Значит, на этот раз роман действительно удался, и при свидании со Львом Николаевичем – он обещал в первый же приезд свой в Москву объявиться у Писемского – значит, при этой давно ожидаемой встрече они смогут, как бывало встарь, поговорить о литературе, о том, что творится вокруг. Ведь за те несколько раз, когда Писемскому удавалось увидеть Толстого с тех пор, как тот «затворился» в Ясной Поляне в конце 50-х годов, они общались как-то мимоходом, да и чувствовал себя Алексей Феофилактович

при этом каким-то литературным неудачником – то отхлестали за Безрылова, то прогнали сквозь строй после «Взбаламученного моря», то издевались над драмами... И хотя Толстой, случалось, присылал ему хвалебные отзывы о посланных ему Алексеем Феофилактовичем произведениях, чувствовалось, что это обычные выражения вежливости. Но в тоне последнего письма, в самой размашистости его строк сквозило совсем иное отношение – на сей раз Лев Николаевич был вполне искренен...

Неисповедимы пути провидения, думал писатель, поглядывая на фотографический портрет Толстого у себя над столом. Кто бы мог подумать тогда, в середине 50-х годов, как далеко разведет друг от друга судьба всех членов «современниковского» братства. С Некрасовым почти никто из них теперь не знается, да и между собой они не очень-то дружны, всяк по себе. По-настоящему сердечные отношения у Алексея Феофилактовича теперь только с Тургеневым, Островским и Анненковым. А Григоровича для него будто и на свете не существует. Будь жив Дружинин, и с ним они вряд ли теперь хлеб-соль водили бы. С Боткиным, умершим два года назад, тоже почти не виделись, хотя жили неподалеку один от другого... Нет, не всех он назвал, еще с Гончаровым Алексей Феофилактович остался по-прежнему в добрых отношениях. Каждый раз, приезжая в Питер, старается повидаться с Иваном Александровичем. Никогда он не забудет, сколь многим обязан ему – и «Тысяча душ», и «Горькая судьбина» без его заступничества не вышли бы в своем истинном виде, да и в «Библиотеке для чтения» приходилось прибегать к покровительству Гончарова-цензора. Он искренне радуется каждой творческой удаче Писемского, и Алексей Феофилактович привык доверять его безошибочному вкусу. Как-то отнесется он к «Водовороту»?..

Когда пришло письмо от Тургенева с высокой оценкой романа, Писемский ощутил, что к нему наконец-то возвращается спокойствие, уверенность в своих силах, желание работать. Он окончательно решил не давать никакой цены писаниям критиков, не услыхав прежде суждений истинных знатоков изящной словесности...

«В водовороте» – не только одно из самых совершенных творений писателя. В нем с наибольшей отчетливостью проявились взгляды Писемского на тогдашнюю общественную ситуацию. После появления «Взбаламученного моря» его безоговорочно причислили к правому лагерю, и следующие два романа как будто подтверждали такой вывод. Но это было поверхностное прочтение. Алексей Феофилактович вовсе не имел целью унизить радикальную молодежь. Законность ее протеста

как бы обосновывалась самим материалом его произведений – в той их части, где речь шла о быте дореформенной России, породившем многочисленные злоупотребления властей. Но Писемский не мог спокойно созерцать левацкие завихрения части молодежи. Он хотел показать своими критическими изображениями крайностей нигилизма, что это опасный путь, ведущий в никуда. Стремление жить заемным умом, верхушками модных учений представлялось ему пагубным для всего общества. В одном из писем автора «Людей сороковых годов» содержится любопытная характеристика молодого поколения: «Теперь несколько слов о людях сороковых годов: говорят, испокон веков ведется, что старики хвалят себя и бранят молодое поколение, и в том и в другом случае, разумеется, несправедливо; но вряд ли это так в отношении людей сороковых годов: они в самом деле были лучше или, по крайней мере, поэтичнее нынешних юношей, которых очень много портит (вы, вероятно, удивитесь моей мысли, но я совершенно убежден в справедливости ее), очень много портит развитие газетчества, и вообще-то газета, сделавшаяся в последнее время царицею и правительницею всего мира, если и приносит человечеству пользу, то решительно только с материальной стороны, но никак не для умственного или какого-либо иного духовного развития, но для нашего же русского, молодого общества, для нашей все-таки бывшей до последних годов весьма честной литературы она явилась безусловно пагубною: наши газеты и газетишки всевозможных направлений опошлили толки и суждения об литературе до гадости, унижают истины науки, произнося их своим фельетонным, изболтавшимся язычишком, распространяют в обществе страсть к сплетням, к скандалу, ко вздору, и, что печальнее всего, всему этому и конца не предвидится, а, напротив, все больше и больше будет распространяться, и есть надежда, что со временем все наше общество поглупеет до умственного уровня фельетона – зрелище почти страшное!»

Так что не серьезные мыслители-демократы вызывали неприязнь Писемского, а самонадеянные недоучки, убежденные в своем праве навязывать обществу ими самими не очень переваренные догмы.

Писемский еще во времена редакторства в «Библиотеке для чтения» живо интересовался социалистическими теориями, и множество статей, посвященных им, появилось тогда на страницах журнала. Так что он неплохо знал то, о чем писал. Потому-то в его романах нет никаких клеветнических искажений революционных учений – созвучных взглядам обывателя на «скубентов» – иначе критика несомненно указала бы их.

Все три романа, написанные за десятилетие (1862 – 1871), могут быть причислены к антинигилистической беллетристике лишь с большой долей условности. Потому что не теории развенчивал писатель, а крайности поведения отдельных личностей, в чем эти теории далеко не всегда были повинны...

Журнал «Беседа», где печатался роман «В водовороте», издававшийся однокашником Алексея Феофилактовича по Московскому университету Сергеем Андреевичем Юрьевым, занимал два нумера в небогатых меблирашках на Сретенке. Изредка заезжая сюда, чтобы порасспросить об отзывах публики на печатаемый «Водоворот», узнать о московских новостях, Писемский просиживал за разговорами по нескольку часов, ибо словоизвержения редактора – страшно подвижного господина с внешностью короля Лира – трудно бывало остановить. Юрьев без умолку излагал свои взгляды на славянский вопрос, на актерскую игру в недавней постановке очередной гениальной пьесы, на результаты франко-прусской войны... Впоследствии Алексей Феофилактович изобразит своего друга в романе «Мещане» под именем Долгова, который «в каждый момент своей жизни был увлечен чем-нибудь возвышенным: видел ли он, как это было с ним в молодости, искусную танцовщицу на сцене, – он всюду кричал, что это не женщина, а оживленная статуя греческая; прочитывал ли какую-нибудь книгу, пришедшуюся ему по вкусу, – он дни и ночи бредил ею и даже прибавлял к ней свое, чего там вовсе и не было; захватывал ли во Франции власть Людовик-Наполеон, – Долгов приходил в отчаяние и говорил, что это узурпатор, интриган; решался ли у вас крестьянский вопрос, – Долгов ожидал обновления всей русской жизни». Понятно, что у этого увлекающегося идеалиста не могло быть такой хватки, как у акул журнально-газетного рынка вроде Краевского, Каткова и Вольфа. Но Алексею Феофилактовичу хотелось поддержать симпатичное ему издание, в котором печатались А.К.Толстой, Аполлон Майков, Яков Полонский, Иван Аксаков. Да и личность редактора, бывшего белой вороной в среде торгашей от прессы, вызывала особое расположение Писемского к «практическому славянофильству». Вообще не любивший болтунов, Алексей Феофилактович не считал многоглаголание Сергея Андреевича дурной чертой. Если говорили умно, он любил послушать. Когда через несколько лет Юрьева решили выбрать в члены Общества любителей российской словесности и стали наводить справки о том, что он написал, Писемский заявил:

– Что вы пристаете со своими расспросами – написал, напечатал?.. Да он наговорил о литературе больше всех нас.

«Беседа» была изданием бедным, как, впрочем, и все иные

славянофильские печатные органы. Собрать большую подписку журналу оказывалось нелегко из-за его спокойно-незлобивого отношения к существующему порядку вещей, а публика предпочитала иную позицию. Возникала даже парадоксальная, почти, как говорил Достоевский, фантастическая ситуация: охранитель (весьма, конечно, условный) Юрьев ходил в дешевеньком сюртуке с вытертыми локтями, а издатель крайне оппозиционного «Дела» Благосветлов имел княжеский выезд. Нищему Сергею Андреевичу посему нелегко было выложить Писемскому кучу денег за роман, и он уже не рад был, что закупил «туза». Даже достоинства приобретенного романа его не радовали, об одном он молил: чтоб поскорей кончилось дорогостоящее сочинение, чтоб поменьше листов вышло. Даже знакомым своим Юрьев плакался:

– Злоупотребляет Алексей Феофилактович терпением и читателей и редакции. Давно пора бы «Водовороту» кончиться. Я принял его продолжение на веру, познакомившись только с проспектом его содержания, а он тянет его без конца, и, печатая этот нескончаемый «Водоворот», редакция ставит себя в положение рассказчика, передающего нескончаемую сказку про белого бычка".

Но Алексей Феофилактович ничего об этом не ведал, и в то время, когда Юрьев метался по Москве в поисках богатых филантропов или мечтал о грядущих подписчиках, Писемский придирчиво приглядывал за рабочими, выкладывавшими новый флигелек во дворе дома близ Поварской. И когда находил, что все идет чинно, без дурного спеху, напевал себе под нос что-то бравурное. Он представлял себе, как в очередную среду, когда к нему приедут почти непременные участники его посиделок Алмазов и Островский, он проведет их по строящемуся домику, покажет заготовленные для росписи потолков эскизы плафонов, закупленную для новых печей изразцовую плитку.

А потом, после изобильного, истинно московского обеда мужчины уединятся в кабинете и там, вооружившись сигарами и пахитосами, примутся рассуждать о последней речи Бисмарка, о шансах графа Шамборского занять осиротевший французский престол. Но Алексей Феофилактович непременно сведет разговор на «домашние» происшествия, станет едко высмеивать своих литературных «супостатов».

Но подобные замечания становились раз от разу реже, да и сам тон их делался скорее юмористическим, вполне добродушным. Времена менялись, уходили в прошлое крайности отрицания, пропадали с исторической сцены классические нигилисты, не очень начитанные и потому могущие договориться

до нелепостей. Новое поколение радикальной молодежи было явно глубже, оно сосредоточенно изучало книги философов, экономистов, социологов. Алексей Феофилактович нередко разговаривал с заходившими к ним друзьями старшего сына Павлуши – студентами юридического факультета университета, с молодыми учеными и журналистами, бывавшими на средах, и убеждался, что пора оставить насмешки и серьезно присмотреться к «новым людям». «В водовороте» – результат переосмысления Алексеем Феофилактовичем своих взглядов на молодежь. Он не говорил об этом вслух, но сам себе признавался, что с «Взбаламученным морем» он явно поспешил. Слишком торопился принять участие в идейной борьбе, высказать свои взгляды. Выступить выступил, а обосновать свои воззрения как следует не удосужился. Оттого его и не поняли, приняли его обеспокоенность за брюзжание реакционера. Нет, не о написанном он жалел, а о том, что не сумел сказать о наболевшем убедительно, ярко. Теперь, по прошествии времени, он видел, что многое показалось ему в пылу полемики слишком однозначным. А ведь не так уж смешны были юные бунтари конца 50-х – начала 60-х годов. Если отбросить благоглупости, которые говорили они, – а кто не грешен был по этой части в свои двадцать – двадцать пять лет? – если посмотреть на дело через призму прожитых годов, в восторженности поклонников Чернышевского и Добролюбова, даже в «топорных» прокламациях было гораздо больше симпатичного, чем в кутежах дворянских сынков сороковых годов. Да и глупо было бы сетовать на то или иное поколение – зачем оно такое, а не иное, какое нам бы хотелось видеть... Каждая эпоха вырастает из предыдущей, она родственно связана со всей предшествующей историей. Значит, и в нигилизме надо видеть плод российского прошлого – прав, наверное, Лесков, как-то написавший Алексею Феофилактовичу о том, что крайние отрицатели – питомцы крепостных нравов. Так что и все нестроения, все недуги общества вызваны какими-то собственными его ошибками в прошлом. Стало быть, поделом вору и мука? Нет, так тоже нельзя, это уж нигилизм навыворот. Не в том долг писателя, чтобы позаористей отхлестать своих идейных супостатов. Не рассориваться, а мириться нам надобно! Кому будет польза от того, что русское общество распадется на враждующие клики, остервенело нападающие друг на друга? Трудное, переходное время, ни зги не видать в туманном грядущем. Но можно угадать его, если найти в сегодняшней жизни какие-то идеалы. Ибо они определят строй души завтрашнего поколения. Искать идеал... Но где, в какой среде? Как искать, не зная адреса?

Ваал

Бесконечные хвори – частью подлинные, а больше мнимые – делали службу невыносимой для Писемского. В самом деле, вам представляется, что у вас острейший катар кишок, по три раза на дню накатывает озноб или нападает колотье в боках, так что приходится обкладываться горчичниками (любимое средство Алексея Феофилактовича), – все равно извольте всякое утро облачаться в вицмундир, и в дождь, в жару, в стужу ехать в губернское правление. Писатель не раз жаловался друзьям, что сидение в присутствии решительно его умучило. Но он все-таки выдержал шесть лет, и в отставку подал только весной 1872 года.

Тогда же Писемский принялся за первую свою пьесу из чиновничьей жизни, словно желая совсем рассчитаться с казенным миром, к которому сам принадлежал почти двадцать лет. Название этого нового произведения – «Хищники» – говорит само за себя. Сюжетная основа комедии – взаимные интриги высокопоставленных чинов петербургского министерства. Уже в процессе работы Алексей Феофилактович испытывал опасения насчет будущей судьбы пьесы и все же не старался сгладить углы, шел напролом. И когда начались читки в кругу близких знакомых, первый и всех озадачивший вопрос был: а пройдет? Что же касается достоинств сочинения, то слушатели согласно провозглашали его лучшим творением писателя. Фабула, веденная твердой рукой мастера, действительно захватывала, а психологическая выразительность персонажей позволяла увидеть каждого из них даже в чтении, до сцепы. Впрочем, много зависело от того, кто читает. А.В.Никитенко записал в дневнике: «Писемский превосходно читает, и мне кажется, что кто слышал его комедию из его уст, тому не следует идти в театр на ее представление: она, наверное, будет сыграна там гораздо хуже, чем в чтении автора».

Одним из первых слушателей «Хищников» был Лесков, гостивший у Писемского в августе 1872 года. Пьеса показалась ему решительно шедевром, и он взялся предложить ее князю В.П.Мещерскому, незадолго до того получившему разрешение на издание еженедельника «Гражданин» и собиравшемуся выпускать приложением к нему сборники художественных произведений. Написав мнительному Алексею Феофилактовичу, что в столице «лихих болестей нет», Николай Семенович пригласил его приехать для личных переговоров с Мещерским.

Прибыв в Петербург, Писемский остановился по своему обыкновению в гостинице «Париж» и, отлежавшись в нумере

после тягот странствия, стал опасливо выбираться на люди. Даже если идти было недалеко, он предпочитал кликнуть «ваньку» и доехать за гривенник, чем тащиться по тротуару, рискуя здоровьем. Алексей Феофилактович находил весьма опасными такие переходы, ибо стоящие вдоль тротуара упряжные лошади «могут фыркнуть», и как тут ни берегись, в одночасье подхватишь сап.

«Хищников» слушали в нескольких литературных кружках и принимали с восторгом. Мещерский, познакомившись с пьесой, сразу согласился взять ее для второго сборника «Гражданина», уже готовившегося к сдаче в набор. Вот только название его смущало – слишком обнаженно, нельзя ли смягчить, «запрятать» авторское отношение к делу?..

Алексей Феофилактович стал раздумывать над другим заглавием. «Большие замыслы»? Нет, ничего не говорящие слова, тускло. «Бескровная битва»? «Битва гражданская»? Еще хуже... Завернувший в «Париж» Лесков оказался весьма кстати.

– Николай Семеныч, я родил, брат, и умираю. Предаю дух мой. Мне силы нет подумать об имени этого ребенка... Я изнемог в муках рождения... Ты по поповской части очень усерден – ты нареки сему чадищу имя. Только смотри, чтобы кличка была по шерсти.

Приехали еще знакомые, и пьесу наконец «окрестили собором» – в цензуру она пошла с именем «Подкопы». Но худшие опасения Алексея Феофилактовича оправдались – комедию не пропустили. Писатель имел объяснение с министром внутренних дел Тимашевым и получил от него совет «спустить действующих лиц пониже», то есть разжаловать директоров департаментов и товарища министра в менее значительные чины. Ездил Писемский к начальнику главного управления по делам печати Лонгинову, пытался доказать, что пьеса ни на какие лица не намекает, ничего не собирается ниспровергать. Но обер-шеф литературы был непоколебим.

– Как же и о чем писать тогда? – возопил Алексей Феофилактович.

– Лучше вовсе не писать, – был ответ.

Кто-то интригует против пьесы, решил Писемский. Кто-то распространяет слухи о будто бы имеющихся в ней аналогиях с действительными событиями и реальным ведомством. Скорей всего тут не обошлось без Григория Данилевского, известного литературного сплетника. Он слышал чтение «Хищников» у Лескова, он же наверняка и напел Лонгинову. Свои подозрения Алексей Феофилактович высказал Николаю Семеновичу, на что тот с укором заметил:

– Как вам не стыдно всего так бояться? Это в таком крупном человеке, как вы, даже противно!

Упадок духа продолжался, и в один из сереньких осенних дней, явившись в «Париж», Лесков нашел Писемского в жесточайшей хандре. Алексей Феофилактович мрачным голосом объявил о своей предстоящей кончине и, зябко закутавшись в плед, скрючился на необъятном диване. Попросив Николая Семеновича взять перо и бумагу, он приготовился продиктовать ему свое завещание.

– Но, может быть, сходить лучше за доктором, в аптеку? – робко начал Лесков.

– Нет таких лекарей, таких снадобий, – слабея на глазах, проговорил страдалец. – Душа уязвлена, и все кишки попутались в утробе...

Гость скорбно молчал, и тогда Алексей Феофилактович неожиданно прикрикнул:

– Что же ты молчишь, будто черт знает чем рот набил?! Гадость какая у вас, питерцев, на сердце: никогда вы человеку утешения на скажете; хоть сейчас на ваших глазах испущай дух.

Лесков был первый раз при «кончине» Писемского и, не поняв его предсмертной истомы, сказал:

– Чем мне вас утешить? Скажу разве одно, что всем будет чрезвычайно прискорбно, если театрально-литературный комитет своим суровым определением прекратит драгоценную жизнь вашу, но...

– Ты недурно начал, – перебил писатель, – продолжай, пожалуйста, говорить, а я, может быть, усну.

– Извольте, – отвечал Николай Семенович, – итак, уверены ли вы, что вы теперь умираете?

– Уверен ли? Говорю тебе, что помираю!

– Прекрасно, но обдумали ли вы хорошенько; стоит ли это огорчение того, чтобы вы кончились?

– Разумеется, стоит; это стоит тысячу рублей, – простонал умирающий.

– Да, к сожалению, пьеса едва принесла бы вам более тысячи рублей, и потому...

Но умирающий не дал ему окончить; он быстро приподнялся с дивана и вскричал:

– Это еще что за гнусное рассуждение! Подари мне, пожалуйста, тысячу рублей и тогда рассуждай, как знаешь.

– Да я почему же обязан платить за чужой грех?

– А я за что должен терять?

– За то, что вы, зная наши театральные порядки, описали в своей пьесе всех титулованных лиц и всех их представили одно

другого хуже и пошлее.

– Да-а, так вот каково ваше утешение. По-вашему небось, все надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости.

– Это у вас болезнь зрения.

– Может быть, – отвечал, совсем обозлясь, умирающий, – но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу, и за то суще мне господь бог и поможет теперь от тебя отворотиться к стене и заснуть со спокойной совестью, а завтра уехать, презирая всю мою родину и твои утешения.

Отведя душу в беседе, Писемский покойно уснул. А на другой день Николай Семенович проводил посвежевшего «Филатыча» на вокзал.

После небольших, чисто косметических исправлений «Подкопы» вновь поступили к Мещерскому и были напечатаны во втором сборнике «Гражданина». Однако цензура оказалась настороже – пьесу пришлось вырезать из отпечатанного тиража. Последовала новая доработка, и многострадальное сочинение появилось только в феврале – марте 1873 года в нескольких номерах еженедельника.

Как раз в это время на место редактора «Гражданина» заступил приглашенный Мещерским Федор Михайлович Достоевский. Когда в очередной свой приезд в Петербург Алексей Феофилактович появился в типографии Траншеля, где печатался журнал, с тем чтобы надиктовать кое-какие вставки в готовую корректуру «Подкопов», он увидел возле окна знакомую фигуру – характерно ссутуленная спина, мешковато сидящий сюртук, голова, как бы несколько втянутая в плечи...

Давно они не виделись вот так tete-a-tete. Встречались больше в многолюдных местах, поговорить не удавалось. В тот раз они просидели долго – Федор Михайлович говорил о задуманном им «Дневнике писателя», о том, что силы художественного слова недостаточно, надо прямо заявлять о своих взглядах, смело идти в публицистику – писатель на Руси всегда воспринимался как пророк. Алексей Феофилактович сокрушенно качал головой – это не для него, попробовал раз да оконфузился. Нет, его заботит сейчас другое: он видит, как на страну надвигается страшная, разрушительная сила – служитель золотого тельца... Да-да, подхватил Достоевский, это и его волнует, это, может быть, главная сейчас опасность для России. Он вот-вот закончит новый роман «Бесы», в котором доскажет все, что не досказал в других своих книгах о нигилизме, и тогда уж непременно возьмется за новоявленных ротшильдов, денно и нощно грезящих миллионом.

Но ведь такой роман уже написан, заметил Писемский, – это «Преступление и наказание»... Нет, там он только «застолбил» тему денег, тему наполеона на мешке с золотом... Алексей Феофилактович сказал, что и сам начал работу над романом, думает назвать его «Мещане». Как раз на этих днях он собирался почитать первые главы у Кашпиревых. Если Федор Михайлович приедет к Василию Владимировичу, он, Писемский, будет ему весьма признателен, особенно если редактор достопочтенного «Гражданина» выскажется по поводу услышанного...

На этом вечере в редакции «Зари» Алексей Феофилактович впервые увидел молоденькую жену Достоевского. Ему надолго запомнился серьезный, задумчивый взгляд Анны Григорьевны, низковатый приятный голос. Несколько кратких замечаний ее о прочитанном Писемским романе свидетельствовали о недюжинном вкусе супруги Федора Михайловича. «Ну, послал наконец бог хорошему человеку достойную его подругу жизни», – говорил Алексей Феофилактович своим московским друзьям, которые утверждали совсем недавно, что Достоевскому, видно, на роду написано несчастие в семейной жизни...

«Подкопы», увидевшие наконец свет после стольких мытарств, не были, как и опасался Писемский, пропущены на сцену – театральная цензура оказалась еще суровей.

Но неудача не обескуражила Писемского. Уже в начале года, когда ожидалась публикация «Подкопов», он пишет пьесу, открывшую новый период в его творчестве. В письме академику Никитенко, датированном серединой марта, Алексей Феофилактович сообщил: «...я написал еще новую пиесу „Ваал“. Из самого заглавия вы уже, конечно, усматриваете, что в пиесе этой затронут вряд ли не главнейший мотив в жизни современного общества: все ныне поклоняется Ваалу – этому богу денег и материальных преуспеяний и который, как некогда греческая Судьба, тяготеет над миром и все заранее предрекает!.. Под гнетом его люди совершают мерзости и великие дела, страдают и торжествуют».

Миллионер Бургмейер на краю банкротства – если сделанная им по подряду работа не будет принята, для него нет спасения. Депутат от земства Мирович отказывается поставить свою подпись под актом приемки, ибо строительство проведено кое-как, с жульническими отступлениями от договора. Только молодая жена богача Клеопатра Сергеевна, в которую влюблен Мирович, может уговорить его не губить мужа. И Бургмейер просит ее «пококетничать» с молодым депутатом. Возмущенная женщина оставляет дельца, готового пожертвовать ее честью, и уходит к Мировичу. Но миллионер спасен, ибо Клеопатра

Сергеевна ставит своему возлюбленному условие: «Сделай по его, как он просит, заплати ему этим за меня и возьми меня к себе!»

И одинокий донкихот исполняет ее просьбу, прочитав предварительно эпитафию своему идеализму: "Если бы ты только знала, какую я адскую и мучительную борьбу переживаю теперь!.. Тут этот манящий меня рай любви, а там – шуточка! – я поступком моим должен буду изменить тому знамени, под которым думал век идти! Все наше поколение, то есть я и мои сверстники, еще со школьных скамеек хвастливо стали порицать и проклинать наших отцов и дедов за то, что они взяточники, казнокрады, кривосуды, что в них нет ни чести, ни доблести гражданской! Мы только тому симпатизировали, только то и читали, где их позорили и осмеивали! Наконец, мы сами вот выходим на общественное служение, и я, один из этих деятелей, прямо начинаю с того, что делали и отцы наши, именно с того же лицеприятия и неправды, лишь несколько из более поэтических причин, и не даю ли я тем права всему отрепью старому со злорадством указать на меня и сказать: «Вот, посмотри, каковы эти наши строгие порицатели, как они честно и благородно поступают».

Мирович – белая ворона в мире купли-продажи. Даже его приятель и однокашник по университету Куницын и тот смотрит на жизнь с сугубым цинизмом. Это трубадур торгашеской морали, с усмешкой осаживающий далекого от реальности идеалиста:

"Мирович. Но что такое ты за благополучие особенное видишь в деньгах?.. Нельзя же на деньги купить всего.

Куницын (подбочениваясь обеими руками и становясь пред приятелем фертом). Чего нельзя купить на деньги?.. Чего?.. В наш век пара, железных дорог и электричества там, что ли, черт его знает!

Мирович. Да хоть бы любви женщины – настоящей, искренней! Таланту себе художественного!.. Славы честной!

Куницын. Любви-то нельзя купить? О-хо-хо-хо, мой милый!.. Еще какую куплю-то!.. Прелесть что такое!.. Пламенеть, гореть... обожать меня будет!.. А слава-то, брат, тоже нынче вся от героев к купцам перешла... Вот на днях этому самому Бургмейеру в акционерном собрании так хлопали, что почище короля всякого; насчет же талантов... это на фортепьянчиках, что ли, наподобие твое, играть или вон, как наш общий товарищ, дурак Муромцев, стишки кропать, так мне этого даром не надо!.."

То, что вещал Куницын, носилось в воздухе. Пореформенная Россия стремительно капитализировалась. На глазах у всех родился тип беззастенчивого дельца, горделиво потрясающего своим бумажником, как дворянской грамотой. Не ум, не заслуги

перед обществом, не слава предков, не красота – только количество денег на банковском счете стало почитаться украсой «настоящею человека». Мораль презренных ростовщиков и менял, считавшихся за париев в дворянской империи, теперь стремительно теснила нравственные представления, зародившиеся в военном сословии. Честь и отвага, благородство и рыцарство – эти понятия сделались только реквизитом исторических драм и романов. Хитрый, пронырливый шейлок вылез в люди, купил княжеский особняк, завел ливрейных лакеев и стал приглядывать себе литературную обслугу, которая воспела бы подвиги новоявленного благодетеля рода человеческого.

Когда пьеса Писемского была поставлена в Александринском театре, газетная челядь буржуазии обрушила на писателя водопад ругани. Издатель «Петербургского листка» А.А.Соколов, укрывшийся под псевдонимом «Театральный нигилист», неистовствовал: «Писемский живет, таким образом, задним числом. Заднее число для него наступило вместе с романом „Взбаламученное море“, после которого он, подобно корове, занимается „отрыганием жвачки“, то есть, не всматриваясь в жизнь как наблюдатель, он продолжает пережевывать свой роман, несмотря на то, что мы ушли от его романа очень далеко, и с его точки зрения, если бы он только наблюдал, конечно, пали еще глубже». Некий Баскин, спрятавшийся под литерой Л, картинно возмущался в «Петербургской газете»: «В комедии „Ваал“ среди четырех капитальных подлецов выставлены три лица из молодого поколения, в течение всей пьесы искренно толкующие о честности и в то же время делающие подлости. Предвзятая идея обругания современной молодежи введена в пьесу самым топорным образом». В подобном духе были выдержаны почти все отклики прессы. Исключение составила газета «Русский мир», издававшаяся известным генералом М.Г.Черняевым. Да еще «Голос» Краевского поместил более или менее объективный разбор, хотя и не обошелся без упреков по адресу автора.

Писемский никогда не отличался четкостью мировоззрения. Его стихийный демократизм, его симпатии к молодым социалистам были причудливо переплетены с консерватизмом взглядов по некоторым вопросам (семейный быт, художественные вкусы). Поэтому его неприятие действительности часто воспринимали как враждебность к прогрессу, а парадоксальные утверждения истолковывали как реакционные, хотя в них отражалась скорее политическая наивность. Вот и после постановки «Ваала» суть претензий сводилась к тому, что писатель вновь «оклеветал» молодое поколение – это дежурное обвинение раздавалось со времен «Взбаламученного моря»

каждый раз, когда Писемский касался вопросов общественной жизни. Но всякий беспристрастный читатель и зритель «Ваала» мог увидеть в пьесе скорей сочувствие к молодым людям, судьбы и души которых корежила мораль торжествующих гешефтмахеров. Да, кроме того, в тексте драмы имелись недвусмысленные высказывания, явно отражающие позицию самого писателя:

"Мирович... Знаешь ли ты, что такое купец в человеческом обществе?.. Это паразит и заедатель денег работника и потребителя.

Клеопатра Сергеевна. Но нельзя же обществу быть совсем без купцов. Они тоже пользу приносят.

Мирович. Никакой! Все усилия теперь лучших и честных умов направлены на то, чтобы купцов не было и чтоб отнять у капитала всякую силу! Для этих господ скоро придет их час, и с ними, вероятно, рассчитаются еще почище, чем некогда рассчитались с феодальными дворянами".

Глухой, казалось бы, поймет. И отдаст должное взглядам драматурга. Но его продолжали именовать клеветником, несмотря на грандиозный успех «Ваала» как на петербургской, так и на московской сцене. Исступленная травля «Ваала» и его автора в немалой степени объясняется тем, что Писемский задел истинных хозяев прессы.

Но в семидесятые годы публика еще не была дезориентирована шулерами от прессы – в людях глубоко сидело отвращение к грязным дельцам, обиравшим народ. Много мелких чиновников, вдов и сирот было поставлено на грань нищеты в результате громких скандалов с дутыми акционерными компаниями и банками. К примеру, в 1875 году в Москве лопнул коммерческий ссудный банк, руководимый мошенниками Полянским и Ландау. В результате тысячи людей, потерявшие свои скромные сбережения, были обречены на полуголодную старость. Алексей Феофилактович писал в одном из своих писем Тургеневу: «...продажная и глупая печать, фальшивые телеграммы, безденежные векселя, видно, слишком уже намерзили в глазах публики, так что меня неоднократно и с громкими рукоплесканьями вызывают и затем словесно благодарят, что я всех сих гадин хоть на сцене по крайней мере казню, так как, к сожалению, прокурорский надзор и суд не до многих еще из них находит юридическую возможность добраться». Гигантский успех «Ваала» и других антикапиталистических драм Писемского показывал, что зритель еще не совсем одурманен лживой прессой.

Когда Писемский сообщал академику Никитенко, что избрал

темой своей работы торжество Ваала, он задумывал новый роман, в котором собирался дать бой наступающим акулам биржи. Противопоставив столбового дворянина Бегушева и обуржуазившихся мещан как носителей двух взаимоисключающих нравственных начал, романист избрал довольно точную систему идейных координат, благодаря чему поражение благородного Бегушева становилось неизбежным, а торжество служителей Маммоны предрешалось. Однако, написав несколько первых глав, в которых была намечена диспозиция, Алексей Феофилактович отложил «Мещан».

Вообще у писателя не было обыкновения прерывать начатую работу. С этим новым романом, валявшимся в столе несколько лет, тоже, вероятно, не было бы задержек, если бы не семейная трагедия Писемских, надолго выбившая писателя из колеи...

Оба сына Алексея Феофилактовича выросли на радость отцу большими умницами. И Павел и Николай блестяще закончили гимназический и университетский курс; будущее, открывавшееся перед молодыми людьми, казалось безоблачным. В конце 1873 года Павел по направлению министерства народного просвещения уехал на два года в Германию усовершенствоваться в науках, после чего должен был занять место профессора Московского университета по юридическому факультету. А двадцатидвухлетний Николай определился в министерство путей сообщения. Блестящие способности открыли молодому человеку путь в лучшие дома Петербурга, и до начала своей службы он преподавал частным образом математику отпрыскам аристократических фамилий. Когда Алексей Феофилактович побывал в столице в первой половине октября 1873 года, он нашел сына в добром здравии и хорошем расположении духа. Милый Коля рассуждал обо всем очень трезво, в его настроениях не было заметно никакого романтического исступления или религиозной экзальтации. Он явно готовил себя к долгой борьбе за место под солнцем. Слова отца о том, что жизнь есть не сад, наполненный всевозможными удовольствиями, а подвиг, и вдобавок еще трудный подвиг, Николай почитал своим девизом.

И вот 13 февраля 1874 года почтальон доставил в дом по Борисоглебскому переулку телеграмму от Аполлона Николаевича Майкова, в которой сообщалось о самоубийстве Николая Алексеевича Писемского. Удар был столь неожидан, что Алексей Феофилактович и Екатерина Павловна несколько дней пребывали в полном оцепенении. Они не нашли даже сил, чтобы добраться на станцию и ехать в Петербург. Сына хоронили без них...

Где он теперь? Тьма, кромешная тьма, вереницы огней, какие-то странные, заунывные голоса. Или просто серое безмолвие,

туман, лежащий слоями. Невозможно представить себе... Снова перед глазами Колина комнатка окнами на Фонтанку. Горит лампа. Строки ложатся на бумагу: список ничтожных долгов. Холодный вороненый ствол у виска... Снова впять газету – как там пропечатал в своих «Полицейских ведомостях» Сережа Максимов? «...в меблированных комнатах кандидат математических наук выстрелом из револьвера нанес себе рану в правый висок и в бессознательном состоянии отправлен в Обуховскую больницу. Рана смертельна. Поступок этот совершен им в припадке меланхолии». Вереницы огней – что это такое? Души? Куда отправится душа самоубийцы? Хоть и исхлопотал Аполлон Николаевич христианское погребение – по... В деревнях тех, кто наложил на себя руки, хоронят за кладбищенской оградой, поп не отпевает смертию согрешившего... Коля! Почему, зачем это?.. Жить больше невозможно, рука словно ватная, нет сил удержать перо. Не надо зажигать свет, уберите! Ничего не надо говорить!.. Нет, подождите: написали, чтобы врач провел испытание – доподлинно ли наступила смерть? Может быть, просто паралич из-за повреждения каких-то мозговых центров? В параличе люди живут по тридцать-сорок лет! Да, живут, и если дать хорошую сиделку... Нет, что же все-таки там? Что это за вереницы огней? Никак не поймешь, что тянут эти детские голоса...

Много месяцев спустя, едва приходила мысль о сыне, на Алексея Феофилактовича наваливалось какое-то свинцовое изнеможение, и он погружался в многодневную хандру. Снова и снова думалось о причинах этой нелепой смерти, и объяснения не было. Писемский в который раз перечитывал письма Майкова – может, в его словах есть ответ? «...В нем не было заметно никаких стремлений к чему-нибудь высшему, и вообще господствовало в нем более материалистическое направление, впрочем, без фанфаронства, а какое-то, по-видимому, спокойное. Мне кажется, у него был такой силлогизм: счастье – удовлетворение материальных потребностей; для этого надобно работать – в сущности – стоит ли? Пулю в лоб – и конец». Но ведь Коля стихи писал, он был чистый, честный мальчик! Какие там силлогизмы? Несчастная любовь? Да нет, чепуха, никаких признаков... Впрочем, Аполлон и к тому подводил, что не в душевных склонностях дело... «В первом письме я писал вам, что у него был материалистический образ мыслей, непризнавание никаких идеалов. Это, точно, было, но это было не в натуре его, судя по тому, что он страстно любил поэзию, знал наизусть множество стихов и понимал поэзию прекрасно. В последнем скорее сказывалась натура, а то материалистическое принадлежит веку, современной науке и вечному самодовольству и вере в свою

папскую непогрешимость ученых, которые хуже детей, играют с детьми, рисуясь перед ними авторитетами истины. Следствие этого в детях – внутренний разлад; как на кого падет семя – и он все-таки натура серьезная; он отдавал, как видно, строгий отчет себе в том, что принимал. Ум, начиненный наукой, оголил жизнь – до скотских отправлений – „если так“, говорил сбитый с толку инстинкт высших стремлений, – „то зачем жить?“. Вот как мне теперь (то есть в сию минуту) представляется ответ на вопрос: что за причина?» Надо было воспитать его в вере – тогда хотя бы страх перед Наказанием за грех удержал бы Колю. А они запустили это – в церкви Алексей Феофилактович и сам-то редко бывает, какой из него религиозный наставник…

Перенесенное потрясение окончательно превратило Писемского в болезненно-подозрительного ипохондрика. Мелкие и большие страхи стали переполнять его жизнь, каждую минуту он ожидал дурных вестей. Особенно волновала его теперь судьба старшего сына. Едва оправившись после самоубийства Николая, Алексей Феофилактович и Екатерина Павловна выехали в Геттинген к Павлу. Они провели подле драгоценного чада около двух месяцев, причем разом постаревший отец то и дело порывался сопровождать сына в университет, следовать за ним в мелких поездках. Когда родители перебрались в Баден-Баден к Анненковым, а Павел остался на несколько дней в Геттингене завершить свои дела, Алексей Феофилактович места себе не находил в ожидании его приезда. А едва минул срок, назначенный сыном, безутешный отец, проведя бессонную ночь, бросился утром на станцию, чтобы справиться о месте, где произошла железнодорожная катастрофа, и узнать о том, как получить тело погибшего…

Анненков, увидевший своего старого друга после пережитой им утраты, нашел, что Алексей Феофилактович разительно переменился. «С первого раза поразил меня вид разрушения, произведенного на моем посетителе горем и временем. Писемский походил на руину… Грустно было видеть, как все существо его приходило в трепет от воображаемых, близко грядущих бедствий, и искало спасения вокруг себя с покорностью и беспомощностью ребенка. Мир был уже населен для него одними страхами, предчувствиями бедствий, грозными событиями, которые при всяком случае возникали в его уме, облекаясь плотью, и стояли, как живые, да еще и во всеоружии, придуманном для них болезненным воображением страдальца».

И жена и сын, хорошо понимая состояние Алексея Феофилактовича, никогда не позволяли себе как-то подтрунивать над его страхами. Павел с самой серьезной миной на лице

выслушивал подробнейшие наставления отца о том, как следует переходить улицу, на какой лошади можно ехать, как выбирать извозчика... Друзья также тактично относились к причудам Писемского, зная, что всякое несогласие, кривая улыбка могут вызвать приступ тоски.

На следующий год Алексей Феофилактович снова несколько месяцев провел за границей. И подле сына хотелось побыть, и из собственного дома его словно какая-то сила выталкивала – все здесь напоминало Николеньку, то и дело встречались в книгах его закладки, пометки, попадались старые игрушки младшего Писемского, тетрадки гимназические...

Немецкие курорты не только давали писателю возможность подлечиться, отвлечься от своего горя. То на одном из них, то на другом Алексей Феофилактович встречал старых знакомых – в летний сезон тут легче было столкнуться со столичными литераторами, артистами, сановниками, чем в самом Петербурге. Кроме постоянного общения с любезными его сердцу Анненковым и Тургеневым, приводилось побеседовать и с теми, с кем в Питере по десять лет не общался, – все-таки встреча на чужбине даже литературных противников примиряла друг с другом, как бы обязывала к перемене привычного тона... В Баден-Бадене Алексей Феофилактович увиделся с Михаилом Евграфовичем Салтыковым. Знаменитый сатирик, много раз язвивший в печати по адресу автора «Взбаламученного моря», на этот раз с непритворной радостью жал руку Писемскому, участливо расспрашивал его о здоровье. Они совершили прогулку в Эберштейн, во время которой Салтыков рассказывал о планах «Отечественных записок» на ближайшее время, а потом вдруг предложил что-нибудь дать для журнала.

Алексей Феофилактович немало удивился – ведь еще в конце прошлого, 1874 года он просил Островского позондировать почву у Некрасова относительно его, Писемского, возможного сотрудничества в журнале.

– Не ведаю, Михаил Евграфович, каковы ваши внутриредакционные отношения, но боюсь, Николай Алексеевич меня по старой памяти все так же не жалует. Дошел до меня слушок, что Александр Николаевич Островский подъезжал к нему с письмишком насчет моих новых сочинений, да тот вежливенько отказал – сильно дорожится-де ваш Писемский, боюсь, обременит наш бюджет.

– Оставьте ваши подозрения, Алексей Феофилактович, скажу по секрету, что у нас с Николаем Алексеевичем даже переписка насчет вас завязалась... Забудьте ваши несогласия – чуть не двадцать лет друг на друга дуетесь, да и аз многогрешный к

вашим новым вещам совсем не так отношусь, как к «Морю» злополучному...

Но, несмотря на эти беседы, имя Писемского на страницах «Отечественных записок» так и не появилось – сам Алексей Феофилактович ничего не предложил в журнал, а редакция прямо к нему не обратилась.

На возвратном пути из Германии Писемский с женой и сопровождавший их Анненков встретились в поезде с Достоевским, также добиравшимся с курорта домой. Они подолгу беседовали, сидя в купе, во время обедов на больших станциях. Федор Михайлович много рассказывал о новом своем романе «Подросток», о замысле которого когда-то говорил Алексею Феофилактовичу в типографии Траншеля.

– А я своих «Мещан» забросил, – печально вздохнул Писемский. – Все из рук валится после несчастья – вы, наверное, слыхали...

Достоевский порывисто обнял Алексея Феофилактовича и, с болью глядя в его страдальческое лицо, произнес:

– Я сам отец... Всем сердцем сочувствую вам, Алексей Феофилактович...

После смерти сына писатель слышал много слов участия и утешения, однако бесхитростная фраза Достоевского долго еще звучала у него в памяти...

Но что могло примирить Писемского с жизнью после страшной потери? Вся его литературная деятельность долго казалась ему лишенной смысла. Он даже не хотел никаких торжеств по случаю двадцатипятилетия своего писательства. Только настоятельные просьбы Алмазова да увещевания Островского заставили Алексея Феофилактовича уступить и согласиться сказать несколько слов на публичном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном этой дате, а потом участвовать в организованном друзьями парадном обеде. Теперь, вспомнив об этих зимних торжествах, о целом ворохе телеграмм, полученных по случаю юбилея, Писемский поблагодарил Достоевского за присланное в январе поздравление, попросил, хоть и с запозданием, передать благодарность тем петербургским писателям и ученым, подписавшим юбилейные адреса, которым он не смог письменно ответить, – Костомарову, Милюкову. Оресту Миллеру, Вейнбергу, Полонскому...

По возвращении в Москву жизнь стала понемногу входить в привычную колею. Двери дома в Борисоглебском переулке были по-прежнему гостеприимно открыты для всех желающих, по-старому собирались на среды писатели и артисты, как раньше,

слышался по временам хохоток хозяина, если удавалось отвлечь его от мрачных мыслей. Но все видели, что жизнь его неотвратимо идет к закату. Сам писатель постоянно повторял, что чувствует себя стариком, что ничто уже не может по-настоящему занять его. Только общение с дорогими его сердцу людьми – Тургеневым, Анненковым, Островским. Алмазовым, с Пелагеей Стрепетовой и ее мужем Модестом Писаревым – могло согреть поплакавшуюся душу Алексея Феофилактовича.

Майков в одном из своих утешительных писем советовал Писемскому побольше работать, но как раз к этому-то целительному средству писатель долго не мог прибегнуть. Даже письма он набрасывал карандашом – сил не было водить пером. Только спустя полгода он взялся за новую вещь, но это был не оставленный роман, а пьеса «Просвещенное время», продолжавшая тему «Ваала», тему губительного всевластия денег. Исковерканная мораль, изуродованные души, трагедия бескорыстного сердца – снова и снова писатель обращается к сюжетам, поставленным самой жизнью. Жажда обогащения, плотского комфорта, руководившая еще Калиновичем, стала теперь господствующим стремлением в обществе. Где найти выход, кто спасет Россию, погрязающую в скверне буржуазности?.. Мучительные раздумья Писемского предвосхитили антикапиталистическую публицистику Глеба Успенского, горькие, трезвые драмы Чехова...

В последней из своих законченных пьес (конец 1875 г.) писатель снова обратился к теме денег. «Финансовый гений» – горькая усмешка над «благодетелями» России, несущими ей железнодрожно-газетную цивилизацию. В комедии Писемский показал всходы американизма – лет за тридцать до того, как обличение его сделалось литературной модой. Обуржуазивание, омещанивание по европейскому образцу происходило все-таки в каких-то культурных рамках, с соблюдением некоторых приличий. Заокеанское хамство еще и в Европе-то вызывало протест, а в России глядели на него совсем с оторопью. Но писатель точно почуял, что в Америке буржуазия расцветает в своем истинном виде, никакими условностями (от феодализма оставшимися) не связанном.

Финансовый «гений» Сосипатов в полном соответствии с убеждениями выскочек с Уолл-стрита декламирует: «В век громадных предприятий и муссировки оных мы живем!.. Хорошо это, ей-богу! Все-таки это показывает, что человечество живет, стремится к чему-то, надеется чего-то!.. Нет этого поганого восточного застоя!» Для них то, что было прежде, – не века сосредоточенной работы бесчисленных поколений по созданию

высочайших духовных ценностей, а время глупой деятельности задаром. Только они, облаченные в клетчатые штаны и гамаши, в манишки с целлулоидными манжетами, создадут подлинную культуру. И при этом без зазрения совести объявляют себя наследниками благородных родичей: «...я первый двинул в русской жизни спекулятивный дух!.. По-настоящему, биржа должна мне памятник воздвигнуть, как начинателю великого дела! Ломоносов справедливо писал, что может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рождать!»

В романе «Мещане», за который Писемский принимался несколько раз, но смог по-настоящему заставить себя работать только спустя три года после смерти сына, протест против «века без идеалов, без чаяний и надежд, века медных рублей и фальшивых бумаг» достигает предела. Процитированные слова Мировича из заключительной сцены «Ваала» могли бы стать эпиграфом к этой пессимистической книге Писемского.

Еще в начале 60-х годов, когда Алексей Феофилактович посетил лондонскую Всемирную выставку с ее знаменитым «хрустальным дворцом», сделавшимся символом прогресса и счастья почти для всей тогдашней пишущей братии, его стал занимать вопрос о грядущем торжестве торгаша. Бегушев, главный герои «Мещан», говорит: «Все-с сплошь и кругом превращается в мещанство!.. я эту песню начал петь после Лондонской еще выставки, когда все чудеса искусств и изобретений свезли и стали их показывать за шиллинг... Я тут же сказал: „Умерли и поэзия, и мысль, и искусство“... Ищите всего этого теперь на кладбищах, а живые люди будут только торговать тем, что наследовали от предков».

«Да, прав, видно, Федор Михайлович, надо, наверное, и в публицистике выговариваться. Иначе так и тянет прокричать устами героя, что самого тебя печет и гложет», – вздыхал Писемский. Прекрасно понимал он, что изображенный им представитель уходящего барства не годится в серьезные противники торжествующего хамства – Бегушев может третировать его лишь постольку, поскольку обладает экономической независимостью. Столбового дворянина возмущают грубые вкусы мещан, их аляповатые дома, мебель, одежда, их неумение утонченно питаться. Но ведь это дело наживное – у отпрысков дельцов, выбившихся из самых низов, появятся совсем иные вкусы, они быстро приобретут светские манеры. Нет, не по линии гастрономической проходит черта разделения между «рыцарями» и «чернью». Так что не заносись, Бегушев, признавайся, что "московские Сент-Жермены, то есть

Тверские бульвары, Большие и Малые Никитские[23], о том только и мечтают, к тому только и стремятся, чтобы как-нибудь уподобиться и сравниться с Таганкой и Якиманкой[24]. Даром что для тебя, бездельника, эти улицы символом мировой пошлости и подлости служат... «Разные рыцари, – что бы там про них ни говорили, – и всевозможные воины ломали себе ребра и головы, утучняли целые поля своею кровью, чтобы добыть своей родине какую-нибудь новую страну, а Таганка и Якиманка поехали туда и нажили себе там денег... Великие мыслители иссушили свои тяжеловесные мозги, чтобы дать миру новые открытия, а Таганка, эксплуатируя эти открытия и обсчитывая при этом работника, зашибла и тут себе копейку и теперь комфортабельнейшим образом разъезжает в вагонах первого класса и поздравляет своих знакомых по телеграфу со всяким вздором... Наконец, сам Бетховен и божественный Рафаэль как будто бы затем только и горели своим вдохновением, чтобы развлекать Таганку и Якиманку или, лучше сказать, механически раздражать их слух и зрение и услаждать их чехвальство». А сам-то ты, дворянский сын, чего в сокровищницу мысли вложил? Тоже ведь в свое пузо живешь...

И Писемский вывел в своем романе историю любви «рыцаря» к типичной дочери Таганки. Он – стареющий идеалист, ничего особенного не совершивший, она – весьма расчетливая и мелочная красавица последней молодости. Как же возник столь необычный союз двух непохожих сердец? Писемский не очень позаботился о психологическом обосновании привязанности Бегушева к Домне Осиповне, и оттого противопоставления романа вышли несколько заданными, малоубедительными. Жгла Алексея Феофилактовича ненависть к толстобрюхим, и оттого, наверное, в «Мещанах», много памфлетности, обнаженной театральности. Несомненно, и влияние драматургического мышления Писемского сказалось, ведь несколько лет до этого он писал исключительно для сцены. Случилось примерно то же, что когда-то с первой пьесой Алексея Феофилактовича. «Ипохондрик» вышел статичным, так как автор не преодолел инерцию прозаической разработки житейского материала, теперь получилось наоборот – роман «разыгрывался» по законам действа, то есть с большой долей условности в мотивировках поступков.

В сравнении с предыдущим романом «В водовороте» «Мещане» заметно уступают как в отношении композиционном, так и в отделке образов героев. Если кто-то из персонажей несимпатичен автору – это сразу и видно. Мошенник Янсутский с первого появления своего рекомендуется мошенником, шарамыга

граф Хвостиков тоже понятен с первого взгляда. Есть в романе и насилие над сюжетом, внезапное сведение таких лиц, которое противно логике развития образов. Но при всем том читатели с живым интересом ждали каждого номера тонкого иллюстрированного журнала «Пчела», где с мая по декабрь 1877 года печатался роман. Тургенев, познакомившись с новым произведением своего друга, писал: "Чтение «Мещан» доставило мне много удовольствия, хотя, конечно, поставить этот роман на одну высоту с «Тысячью душ»... и другими вашими крупными вещами – нельзя; но вы сохранили ту силу, жизненность и правдивость таланта, которые особенно свойственны вам и составляют вашу литературную физиономию. Виден мастер, хоть и несколько усталый, думая о котором, все еще хочется повторить: «Вы, нынешние – ну-тка!»

Критика отозвалась на появление «Мещан» довольно сдержанно. Кое-кто отмечал актуальность и важность избранной темы. Однако позиция Писемского представлялась уязвимой, ибо противопоставляя Бегушева и буржуазную публику, романист сводил дело к «эстетической несовместимости». Так что, помимо воли романиста выходило: если б мещане вдруг по щучьему велению научились вести себя в обществе и ценить тонкости хорошей кухни, то немедленно наступило бы примирение рыцаря и парвеню. Особенно язвительным показалось Алексею Феофилактовичу выступление Н.К.Михайловского в «Отечественных записках». Критик с иронией пересказал сцену, в которой Бегушев доказывает Домне Осиповне, что выскочка Янсутский ничего не понимает в трюфелях, а вот он, напротив, в деле смыслит. «Вообще мысль противопоставить последнего могикана растущей силе мещанства нельзя признать неудачною. Напротив, эта тема очень благодарная. Но при разработке ее надо иметь в виду следующее... Рыцарями Бегушевых можно называть только в шутку, а в сущности они рыцари трюфельного права. Значит, вся борьба идет, собственно, из-за того, кому принадлежит право есть трюфели: разбогатевшим мещанам или родовым дворянам. Борьба, без сомнения, любопытная, достойная внимания мыслящего художника. Но так как обе стороны стоят на одной и той же почве, то ни та, ни другая не могут выставить идеального типа... Положительным типом, героем романа „Мещане“, романа, действительно заслуживающего этого заглавия, мог бы быть только такой человек, который не борется за трюфельное право, а отрицает его». Писемскому трудно было не согласиться с этим мнением.

Да, он прекрасно понимал, что мир может спастись от мещанского потопа только в том случае, если исчезнет власть

золотого тельца. Гешефтмахер только тогда и страшен, когда может покупать убеждения, но где силы, способные положить конец могуществу Ваала? Не видел их Алексей Феофилактович и потому вполне разделял пессимизм Бегушева, заявлявшего: «Существовавшее некогда рыцарство по своему деспотизму ничто в сравнении с капиталом. Кроме того, это кулачное рыцарское право было весьма ощутимо; стоило только против него набрать тоже кулаков – и его не стало! Но пусть теперь попробуют бороться с капиталом, с этими миллиардами денежных знаков! Это вода, которая всюду просачивается и которую ничем нельзя остановить: в одном месте захватят, в другом просочится!» Ведь даже те, кто некогда сотрясал воздух своими филиппиками по адресу деспотизма, оказались нестойки перед соблазном обогащения: «...разные ваши либералы и демагоги, шапки обыкновенно не хотевшие поднять ни перед каким абсолютизмом, с наслаждением, говорят, с восторгом приемлют разные субсидии и службишки от Таганки!»

И когда однажды в доме поэта и переводчика Козлова его молоденькая жена Ольга Алексеевна придвинула к Писемскому тяжелый альбом с просьбой вписать что-нибудь, Алексей Феофилактович неожиданно для себя разразился стихотворением – он, давно про такое баловство позабывший!

Когда Марлинского фрегат
Попал на мель, и в бричке скромной
Изволит Чичиков катать,
Что в этот век в листок альбомный,
Скажите – может написать
Наш брат, в сатире закоснелый,
Как только разве восклицать,
Что гений века – жулик смелый!

– Но позвольте, почтеннейший Алексей Феофилактович! – вскричал экспансивный поэт. – А как же наши храбрые русские воины, освободившие миллионы славян? Разве это не герои века?

– Э-эх, – вздохнул Писемский. – То-то и оно, что нет. Два года бились наши орлы, почти что самый Царьград взяли. А результаты войны? Опять обжулили нашу Русь-матушку... Нет, везде жулик нынче правит...

Думается, знаменитая ипохондрия Писемского вызывалась не только причинами личного свойства, даже не семейными обстоятельствами. Ведь еще тогда, когда все, казалось, было в порядке, он начал хандрить. Травля критики только усилила пессимизм Алексея Феофилактовича в отношении окружающей

действительности. Главное же, что удручало его, – стремительное выветривание идеального духа, свойственного людям сороковых годов. Лезущие из всех щелей галкины, янсутские, вся эта буржуазная накипь соединялась, по представлению Писемского, с нечесаным ражим малым, потрясающим разрезанной лягушкой как знаменем не ведающего душевных тайн рационализма. Плоть восстала против духа – считал равнодушный ко всяким магическим обрядам писатель. И, может быть, поэтому по примеру многих других попытался разрешить свои сомнения около церковных стен. Но они остались холодны и мертвы, в христианстве и его родоначальнике писатель увидел очень симпатичные намерения, но проникнуться духом религии, возжечься от пламени веры не смог. Откуда придет спасение? Кто восстанет на вездесущего духа злобы, духа купли-продажи чувств и убеждений? Долгогривый поп? Желтый от старости схимник, колеблемый ветром? Или соборная молитва миллионов православных душ вдруг разом разрушит оковы, наложенные на мир служителями Ваала? Он не верил в это. И когда приходившие к нему гости замечали на шее у Писемского голубой шнурок, он отрицательно качал головой – нет, я все тот же, не меняюсь – и вытягивал из-за пазухи не крест – мундштук. «Памятью ослаб, так вот, чтоб не терять поминутно...»

Вопросы, которые продолжали мучить Писемского, волновали и других посетителей его сред. В гостеприимном флигеле по-прежнему собирались философы, богословы, поэты. «Грозное» слово Константина Леонтьева звучало здесь: подморозить Россию, остановить бег времени, силою православного креста запечатать глаголющие скверну уста! Академик Федор Иванович Буслаев кротко возражал трубадуру порфироносного, меченосного христианства: просвещение, глубокое и подлинное, спасет Отечество. Долой аристократическое изуверство, долой эстетическое православие, да здравствуют чуйки и сибирки, дондеже в них почиет дух божий, кричал огромный Юрьев, своей всклокоченной бородой и диким взглядом путавший впечатлительную Пелагею Стрепетову и очень милую, изящную Елену Ивановну Бларамберг, авторшу недурных романов. Тургенев, Мельников-Печерский, Островский, богач славянофил А.И.Кошелев – люди самых разных взглядов и темпераментов присутствовали на этих ристаниях, иногда не выдерживая и разражаясь речью, а иногда вовремя поданным замечанием переводя беседу в иное русло. Тихое, уютное православие со щами и кашами постом, с упитанными тельцами, жирными кулебяками и селянками по дням скоромным было всею милее Алексею Феофилактовичу, как и прочим участникам сред,

но вот величия подвига, меча духовного им недоставало. Они ведь были людьми эстетической складки и в религии хотели зреть грандиозное. Не все, конечно, в таких словах выражали свою алчбу духовную, но тяга к необычному, невиданному сказывалась и в писаниях их, и в интересах. Мельников-Печерский рылся в тайнах бесчисленных сект, другие ходили в старообрядческие церкви, третьи с любопытством заглядывали в кирхи да костелы, зазывали к себе заезжих спиритов, устраивали сеансы столоверчения.

В конце 60-х годов стало появляться много материалов о масонстве. Как крупнейший знаток этой тайной доктрины перед русским читателем неожиданно предстал двоюродный брат Чернышевского известный историк и этнограф А.Н.Пыпин; на протяжении нескольких лет он печатал в журнале «Вестник Европы» очерки по истории «вольных каменщиков» в России. Факт публикации таких материалов в массовом издании говорит, с одной стороны, о том, что имелись силы, заинтересованные в популяризации масонства, а с другой, что редактор мог рассчитывать на успех пыпинских писаний – публика ждала чего-нибудь этакого.

Одна за другой выходили книги о масонстве – русских авторов и переводные. Взялись за популяризацию темы и беллетристы. Молодой, но уже известный романист Всеволод Соловьев (сын историка) написал «Волхвов» и «Великого розенкрейцера». Алексею ли Феофилактовичу было не заняться «вольными каменщиками»! Он-то их лично знавал, расспрашивал когда-то о тайнах братства своего дядюшку Юрия Никитича Бартенева, видел у него дома ковры со странными изображениями, необычные безделушки на письменном столе – миниатюрный мастерок, брелок с циркулем...

Интерес к масонству заметен уже в первых вещах писателя. Во всяком случае, упоминания о масонском прошлом его героев постоянно встречаются даже в повестях, написанных в молодые годы. «Сподвижник был большой... звание вольного каменщика имел... Сперанский лучшим другом считал его себе...» – говорит князь Сецкий об отце Веры Ензаевой, невесты Шамилова («Богатый жених», 1853 г.). «Смолоду... он известен был как масон» – сообщается о губернаторе из романа «Боярщина» (1844-1857 гг.). Даже в одном из фельетонов начала шестидесятых годов герой Писемского заявляет: «...в молодости моей служа при полиции, я был масон». Во «Взбаламученном море» появляются вольные каменщики в натуре: Евсевий Осипович Ливанов и его протеже Емельян Фомич Нетопоренко. Мелькает старый масон и в «Мещанах» – правда, за сценой. Но все

это были слабые касания, не предвещавшие обращения писателя всерьез к теме масонства.

В период угасания жизненных сил и обостренного ожидания скорого конца неудовлетворенная духовная жажда с закономерностью приводила Писемского к раздумьям о масонстве. И Алексей Феофилактович с увлечением, мало свойственным ему в пору преждевременно наступившей дряхлости, берется за новый труд. Писатель перечитывает массу документов, книг, просит друзей присылать ему доступные им материалы. В декабре 1878 года он пишет своему французскому переводчику Дерели: «Начавшаяся уже зима у нас несколько облегчила мои недуги, что и дало мне возможность приняться за мое дело, которое я уже предначертал себе давно, но принялся за него последнее только время, а именно: написать большой роман под названием „Масон“. В настоящее время их нет в России ни одного, но в моем еще детстве и даже отрочестве я лично знал их многих, из которых некоторые были весьма близкими нам родственниками; но этого знакомства, конечно, было недостаточно, чтобы приняться за роман, и так как в настоящее время в разных наших книгохранилищах стеклось множество материалов о русских масонах, бывших по преимуществу мартинистами; их ритуалы, речи, работы, сочинения, и всем этим я теперь напитываюсь и насасываюсь, а вместе хоть и медленно, пододвигаю и самый роман мой».

Работа над романом пошла споро – Писемского захватила эпоха, которой он теперь занимался. Уходя каждый день на несколько часов в двадцатые-тридцатые годы, он словно бы молодел душой, это лучшее, честнейшее, по его мнению, время напоминало ему об идеальных стремлениях давно ушедшей юности. Исторический, по сути дела, роман требовал большой точности описаний, и само изучение старинного быта увлекало, заставляло забыть о хворях...

Задумывая новый роман, Алексей Феофилактович не очень точно представлял себе русское масонство как целостное явление, а его историю знал отрывочно. Единственное, что он хорошо запомнил из рассказов дяди, это то, что тайный орден начал действовать в России почти одновременно с явным возникновением масонства на Западе в начале XVIII века. Неявно же, как утверждал Бартенев, оно существовало несколько тысячелетий, по временам всплывая в форме различных сект, учений, орденов.

Засел в памяти у Алексея Феофилактовича и рассказ Юрия Никитича о том, что первая масонская ложа в России заседала в Сухаревой башне в Москве, и под началом петровского любимца

Лефорта здесь собиралось «Общество Нептуна», членом коего был, между прочим, и сам Петр.

Мало-помалу, вчитываясь в масонские тексты, писатель начинал осознавать, что успехи тайного общества объяснялись отнюдь не проповедью самосовершенствования и человеколюбия, значившихся на знамени масонов. Все действия «братьев» говорили, что на самом деле эта организация представляла собой сообщество взаимного возвышения. На первых порах орден завоевывал верность вновь вступившего члена, оказывая ему немедленную помощь: чиновнику, ищущему хорошего места, предоставлялась вакансия, студенту – стипендия, заводчику – верный сбыт продукции по предприятиям, принадлежащим членам ордена. Под страхом лишиться полученных выгод все облагодетельствованные делались послушными своим таинственным покровителям. Те же из них, кто обнаруживал особую способность отрешиться от таких «предрассудков», как верность присяге, получали от руководства все более соблазнительные и выгодные протекции и, соответственно, поднимались вверх по иерархической лестнице братства. «Ты – мне, я – тебе» – оказывается, этот торгашеский принцип давным-давно утвердился в ложах. А железная спайка между дельцами всех профессий и убеждений служит гарантией сохранения тайны – так что, заключал Писемский, даже в тот «идеальный» век хватало жуликов...

Когда документы оказывались разноречивыми, Писемский отдавал предпочтение сведениям Бартенева, бывшего наперсником опального министра и даже оставившего обширную рукопись «Рассказы князя А.Н.Голицына».

Осведомленность Писемского «из первых рук» позволила ему представить в романе весьма достоверную и подробную картину русского масонства. Писатель с большим знанием дела изобразил не только обряды и «материальную часть» ордена, но и самих ведущих деятелей тайных лож – экс-министров, губернаторов, губернских предводителей дворянства, актеров, писателей (Сперанский, Мочалов, директор института слепых Пилецкий, Щепкин и т.д.). Московский почт-директор Булгаков (в романе Углаков) и почтамтские чиновники, молящиеся в масонском храме архангела Гавриила (в том самом, где когда-то побывал Алексей Писемский со своим дядей), священники-масоны в сельских приходах, посаженные туда «братьями» – владельцами тамошних имений, – это очень точно, «в лицах» показанные области внедрения фармазонов. Вся связь в империи, перлюстрация переписки, контроль над движением денег находились в руках почтового ведомства, подчиненного тому же

Голицыну. Именно эта важнейшая часть государственного аппарата первой попала во власть ордена, здесь же очаги масонства тлели во все долгие десятилетия, пока масонство находилось под формальным запретом. Писемский ничего не выдумывал, да у него и нужды в этом не было – благодаря рассказам дяди (умершего в 1866 году) он располагал обширной информацией, а главное, знал недавнюю историю даже в бытовом плане. Поэтому упреки в беллетризации, вскоре посыпавшиеся с газетных и журнальных страниц, не могли умалить того факта, что с фактической стороны «Масоны» – достоверный исторический документ...

Подавляющее большинство современников Писемского было убеждено в добрых намерениях тайного братства. Лев Толстой и тот провел своего Пьера Безухова по закоулкам масонских лож.

Алексей Феофилактович начал работу над своим последним романом через десять лет после того, как прочел «Войну и мир», и ему хотелось рассказать о масонстве так, чтобы это открывало читателям какие-то неведомые еще стороны, показать не только внешнюю, обрядовую оболочку, но и попытаться дать представление о самой мистической доктрине тайного ордена.

Писемский с недоверием относился к тем отвлеченностям, коими переполнены масонские трактаты, а напыщенная символика, присутствующая в них, вызывала у него только усмешку. Из его первоначального намерения показать нравственную высоту масонства тоже ничего не вышло. Подсознательно писатель все те ощущал, что декларации тайного братства весьма существенно расходятся с его истинными целями. Об этом свидетельствует хотя бы то, что многие масоны в романе оказались на поверку расчетливыми дельцами. Но противоречие между объявленными принципами и реальными действиями «вольных каменщиков» можно было только почувствовать художническим инстинктом – ничего конкретного, что раскрывало бы истинные цели масонов, писатель не находил в тогдашней литературе; в России были известны в основном сочинения, прославляющие орден.

Многовато в романе проповедей и бесед «во спасение души». Критикам пространные изложения вероучения тайного общества представлялись тяжеловесными – и уже по мере печатания «Масонов» в журнале Писемского стали упрекать за то, что он много цитирует мистические тексты вместо того, чтобы двигать действие романа.

Претензии эти были основательны, и писателя не утешали мнения знатоков о том, что ему удалось дать представление о сути масонства, о его методах и идеологии. Но не мог же он

ограничиться тем, что во «Взбаламученном море» изобразил тип беззастенчивого карьериста Нетопоренко, примкнувшего к «вольным каменщикам» ради благ мира сего. В «Масонах», казалось Писемскому, ему удалось создать более впечатляющий образ такого дельца – губернского предводителя дворянства Крапчика, рвущегося в губернаторы; его связи в ордене представлялись ему залогом будущего возвышения...

Когда роман стал печататься в еженедельном журнале, автор лихорадочно дописывал главу за главой, на ходу переправлял уже набранные части. Переписка этого времени почти вся связана с хлопотами о романе. А настроение писателя делалось все мрачнее – не радовали его ни прекрасные иллюстрации огоньковских художников, ни явный успех «Масонов» у публики. Где уж тут веселиться, если домашняя жизнь превратилась в сущий ад – с сыном отношения натянулись до предела. Ведь что сделал окаянный – быть профессором университета и сойтись с какой-то белошвейкой.

Единственное, что развеяло его, было предложение Общества любителей российской словесности принять участие в пушкинских торжествах. В одном из писем той весны Алексей Феофилактович сообщал: «Я лично весь поглощен предстоящим празднованием открытия памятника Пушкину. Это, положа руку на сердце, могу я сказать, мой праздник, и такого уж для меня больше в жизни не повторится». Всем, кто видел его на торжественных заседаниях в начале июня, показалось, что Писемский был оживлен более обычного. Два прочитанных им стихотворения Пушкина «Гусар» и «Полководец» вызвали овации.

Только вот речь его «Пушкин как исторический романист» как-то не прозвучала на фоне гениального откровения о поэте-пророке, сказанного Достоевским. Всех затмил Федор Михайлович – и Тургенева, и Ивана Аксакова, и Островского, Глеба Успенского, Полонского, Майкова.

На эстраде, устроенной на Тверском бульваре, сидели рядом с Алексеем Феофилактовичем славнейшие сыны России – кроме помянутых писателей, Чайковский, Ключевский, ученые, юристы. Современник, видевший эту эстраду, поднимавшуюся невдалеке от только что сооруженного памятника, писал: «Недоставало только Льва Толстого и М.Е.Салтыкова-Щедрина, чтобы в живой выставке лиц представлены были полностью литературные „люди сороковых годов“ и „шестидесятники“. Живой иконостас святых русской культуры».

Это последнее крупное событие в общественной жизни России, участником которого стал Писемский. Прощальным светом озарил конец писательского пути великий праздник

русской культуры.

Алексей Феофилактович чувствовал: немного ему отпущено дней. И поэтому все чаще задумывался о том, что же он сделал как художник, чем будет памятен для истинных ценителей изящной словесности. Да и станут ли вспоминать, переиздавать?..

В один из жарких июльских вечеров, сев отвечать на письма, он машинально пролистывал объемистый брульон – тетрадь, в которой набрасывал черновики своих эпистол. Внимание его привлек большой текст, испещренный пометками. О чем это он размахался? Он, в последние годы писавший все больше краткие записочки и деловые послания в редакции. Евгений Сю... Чернышевский... Сервантес... Э-э, да это же ответ академику Буслаеву, писанный почти три года назад.

«Лично меня все считают реалистом-писателем, и я именно таков, хотя в то же время с самых ранних лет искренно и глубоко сочувствовал писателям и другого пошиба, только желал бы одного, чтобы это дело было в умелых руках». Да-да, он никогда никому не навязывал своих пристрастий, только бы не размазывали романтические слюни – а там пишите, о чем хотите, в какой угодно манере... "Вы мне как-то говорили: «Вы, романисты, должны нас учить, как жить: ни религия, ни философия, ни науки вообще для этого не годятся»; а мы, романисты, с своей стороны, можем сказать: «А вы, господа критики и историки литературы, должны нас учить, как писать!» В сущности, ни то, ни другое не нужно, а желательно, чтобы это шло рука об руку, как это и было при Белинском и продолжалось некоторое время после него. Белинский в этом случае был замечательное явление: он не столько любил свои писания, сколько то, о чем он писал, и как сам, говорят, выражался про себя, что он «недоносок-художник...» (он, как известно, написал драму, и, по слухам, неудавшуюся), и потому так высоко ценил «доносков-художников». Эх, были б силы, он бы мог обо всем этом книгу написать или хоть солидную статью на худой конец. А так что от него останется, как от теоретика – несколько статей и рецензий двадцати-тридцатилетней давности?

Он пролистал несколько страниц. Вот позапрошлогоднее письмо переводчику-французу Дерели – здесь он тоже расстарался на целый лист – о себе рассказывал. «...Время вещь многознаменательная: меняя все в мире, оно кладет, разумеется, печать этих перемен и на труды авторов. Сначала я обличал глупость, предрассудочность, невежество, смеялся над детским романтизмом и пустозвонными фразами, боролся против крепостного права, преследовал чиновничьи злоупотребления, обрисовывал цветки нашего нигилизма, посевы которого теперь

уж созревают в плоды; и в конце концов принялся теперь за сильнейшего, может быть, врага человеческого, за Ваала и за поклонение Золотому тельцу». Да, много чего прошло перед глазами за шесть десятков лет, и только малая толика виденного осела в его романах... Вот напел он Дерели, что обличал тех-то и тех-то, а ведь если вдуматься, то писал всю жизнь о себе самом. Никто, наверное, из собратьев по перу – ни Гончаров, ни Тургенев, ни Толстой – не были такими себятниками. Плохо это? Дурно ли, что в каждой его повести, в каждом романе явлен он сам – хотя бы одной какой-то стороной души?.. Но, может, и все другие писатели такие же автобиографы, как и сам он?..

Если лет этак через полсотни придет кому-то блажь взять в руки его Собрание сочинений, станет ли этот еще не родившийся русский человек читать его, не откинет на первых страницах? А если прочтет, что поразит его, что покажется своебышным, его, Писемского, несомненным достоянием? Скорее всего человеческие типы, не им впервые замеченные, но художественно им открытые. Фразер, болтун, все носящийся с наполеоновскими замыслами и ничего сделать не способный. Фанфарон, всю жизнь тужащийся казаться побольше своего росточка – тот, что, по пословице, на овчине сидит, а с соболей бьет. Умный подлец, ради комфорта, ради брюха бога в себе забывший. Скажет ли кто-нибудь через полсотни лет – поглядите-поглядите, вон Калинович какой выискался? Так как сейчас про кого-то: Хлестаков, Молчалин, Манилов...

А может быть, сказал он и какое-то всечеловеческое слово? Может быть, запомнят его книги не только в России? Может быть, и там, где нет дела до кипевших вокруг него страстей, оценят его как художника? Вот прислал же Иван Сергеевич из Баден-Бадена вырезки – и немецкие критики, и англичане, и французы переводы его романов хвалят. Как там Макс Ринг писал про «Тысячу душ»?..

Алексей Феофилактович порылся в портфеле, достал листок с переводом статьи.

«...его роман представляет более чем национальный и этнографический интерес: он в высшей степени занимателен и с общечеловеческой точки зрения. Автор, видно, глубокий и тонкий знаток людского сердца; он исследует его в самых темных углах и глубинах, беспощадно обнажая его слабости и недостатки».

Это лучший критик Германии пишет! Ну-те-ка, господин Буренин, что вы на это возразите?.. Нет, определенно надо взяться за осмысление прожитого, перечувствованного – может быть, ряд рассказов-воспоминаний написать вроде «Капитана Рухнева». А лучше – начистоту с критиками своими объясниться...

Но перенести на бумагу свои раздумья о творчестве Писемскому не привелось – вскоре случилось несчастье, да худшее, чем те, что поминутно ожидал Алексей Феофилактович...

Писемские жили на даче, сын все время был на глазах у родителей. После одного из тяжелых разговоров, когда у отца словно обручем сжало сердце, Павел сделался каким-то потерянным, речь его стала сумбурной, он то и дело срывался на высокие тона. Пришлось звать врача.

Несколько месяцев спустя Алексей Феофилактович рассказал писательнице Бларамберг об этой последней в его жизни драме:

«Меня постигло новое семейное горе. Павел, сын мой, все нынешнее лето находился в умственном расстройстве, так называемом маниакальном возбуждении, которое теперь хотя и прекратилось, но осталось еще апатичное состояние, так что он не читает лекций и не будет их читать весь нынешний год. Что касается до меня, то я, сломленный трудами моими и еще более того совершенно неожиданным и невыносимым горем, свалился, наконец, в постель. Из сего письма моего вы усмотрите, что сколь оно ни коротко, но тем не менее красноречиво!»

В тот же день (15 ноября) он известил пользовавшего его доктора Флерова:

«Бога ради посетите меня сегодня: мне очень нехорошо».

Это была предпоследняя записка в его жизни.

21 января 1881 года в Пушкинском театре играли полулюбительский спектакль – сцены из «Каменного гостя» Пушкина, что-то еще... В фойе публику встречал бюст Писемского, увенчанный лаврами, окутанными траурным флером. «Как, неужели?..» – "Да-да, было извещение в «Московском листке». – «Вы идете хоронить?..» – «Да уж больно холод-то собачий...»

Толпа за катафалком шла не особенно густая – все больше люд в годах, молодых лиц было совсем мало. Ветер швырял в иззябшихся факельщиков колючую ледяную крупу, рвал кисти гроба. В открытую могилу на кладбище Новодевичьего монастыря успело нанести снега, и казалось, что кто-то застелил для усопшего белоснежную постель...

1978-1984

Основные даты жизни и творчества А.Ф.Писемского

1820, 10 марта – В усадьбе Раменье Чухломского уезда Костромской губернии в семье отставного подполковника Феофилакта Гавриловича Писемского родился сын Алексей.

1821-1830 – Жизнь в г.Ветлуге, где отец Алексея Феофилактовича служил городничим.

1830-1834 – Жизнь в Раменье после отставки отца.

1834, сентябрь – Поступление во второй класс Костромской губернской гимназии.

1840, август – По окончании гимназии Алексей Феофилактович зачислен на математическое отделение философского факультета Московского университета.

1843 – Смерть отца.

1844 – Окончание университета и отъезд на родину.

Лето – Работа над первым романом «Виновата ли она?».

1845, январь – Поступление канцелярским чиновником в Костромскую губернскую палату государственных имуществ.

Октябрь – Переход в Московскую губернскую палату государственных имуществ.

1847, февраль – Выход в отставку и переезд на жительство в Раменье.

1848 – Работа над повестью «Тюфяк».

Июнь – Первая публикация – рассказ «Нина» в петербургском журнале «Сын Отечества».

6 октября – Определен младшим чиновником особых поручений при Костромском губернаторе.

11 октября – Женитьба на Екатерине Павловне Свиньиной, дочери известного писателя и дипломата.

1850, июль – Определен асессором Костромского губернского правления.

Октябрь – ноябрь – В «Москвитянине» напечатан «Тюфяк».

1851, февраль – март – В «Москвитянине» публикуется повесть «Брак по страсти».

Ноябрь – В «Москвитянине» появляется рассказ «Комик».

С октября 1851-го по нюнь 1852-го – В «Современнике» печатается роман «Богатый жених».

1852, январь – В «Москвитянине» напечатана комедия «Ипохондрик».

Сентябрь – В «Москвитянине» опубликована повесть «М-r Батманов».

Октябрь – Назначен советником губернского правления.

1853, январь – В «Современнике» напечатана комедия «Раздел».

Весна – Выход трехтомного Собрания сочинений, подготовленного М.П.Погодиным.

Декабрь – Писемский оставляет службу и переселяется в Раменье.

1854, весна – Написана пьеса «Ветеран и новобранец».

Лето – Начало работы над «Тысячью душ». «Очерки из крестьянского быта».

Декабрь – Отъезд в Петербург.

1855, февраль – Определен в Департамент Уделов.

1856, январь – Отъезд в «литературную экспедицию», организованную военно-морским ведомством.

Февраль – август – Пребывание в Астрахани, поездки по окрестностям города, в Баку, на Тюб-Караганский полуостров. Встреча в Ново-Петровском укреплении с Т.Г.Шевченко.

Октябрь – Возвращение в Петербург из «литературной экспедиции».

1857, апрель – Выход в отставку.

Октябрь – Становится соредактором А.В.Дружинина по журналу «Библиотека для чтения».

1858 – В «Отечественных записках» (январь – июнь) публикуется «Тысяча душ». В «Библиотеке для чтения» (январь – февраль) печатается «Боярщина».

1859, август – Закончена драма «Горькая судьбина».

Ноябрь – Публикация «Горькой судьбины» в «Библиотеке для чтения».

1860, сентябрь – Присуждение Уваровской премии за драму «Горькая судьбина».

Ноябрь – Становится единоличным редактором «Библиотеки для чтения».

1861, январь – март – Публикация фельетонов статского советника Салатушки.

Декабрь – В «Библиотеке для чтения» появляется фельетон Писемского, подписанный «Старая фельетонная кляча Никита Безрылов».

1862, январь – февраль – Громкий литературный скандал, вызванный безрыловскими фельетонами. Издатели журнала «Искра» В.С.Курочкин и Н.А.Степанов вызывают Писемского на дуэль.

Май – август – Путешествие Писемского по Европе (Германия, Швейцария, Франция, Англия), во время которого состоялась встреча с Герценом и Бакуниным (Лондон, 19 июня).

Сентябрь – Начало работы над романом «Взбаламученное море».

1863, январь – Переезд из Петербурга в Москву, где Писемский становится заведующим беллетристическим отделом журнала «Русский вестник».

Март – август – «Русский вестник» публикует «Взбаламученное море».

1864, лето – Уходит из «Русского вестника», начинает работу над циклом рассказов «Русские лгуны»; покупка дома в Борисоглебском переулке, близ Поварской. Написаны пьесы «Бывые соколы», «Бойцы и выжидатели».

1865, октябрь – Закончена пьеса «Самоуправцы».

1866, январь – Громадный успех «Самоуправцев» на сцене Малого театра в Москве.

Апрель – Определился на службу в Московское губернское правление.

Декабрь – Завершена работа над пьесой «Поручик Гладков».

1867, февраль – «Самоуправцы» напечатаны в журнале «Всемирный труд».

Март – В том же журнале опубликован «Поручик Гладков». Написана пьеса «Милославские и Нарышкины».

1868, июнь – Начало работы над романом «Люди сороковых годов».

Июль – читает первые главы романа В.В.Кашпиреву и договаривается о передаче ему «Людей сороковых годов» для печатания во вновь организуемом славянофильском журнале «Заря».

1869, январь – сентябрь – Публикация "Людей сороковых годов в «Заре».

1870, февраль – Начало работы над романом «В водовороте».

1871, январь – июнь – Публикация романа «В водовороте» в журнале «Беседа».

1872, май – Окончательный выход в отставку в чине надворного советника.

Сентябрь – Закопчена пьеса «Хищники».

1873, февраль – март – Публикация «Хищников» (под измененным названием «Подкопы») в журнале «Гражданин».

Март – Закончена пьеса «Ваал».

Октябрь – Постановка «Ваала» на сцене Александринского театра; огромный успех драмы.

1874, 13 февраля – Самоубийство в Петербурге младшего сына писателя – Николая.

Май – август – Пребывание за границей (Германия, Швейцария, Франция).

Октябрь – Закончена пьеса «Просвещенное время».

1875, январь – Общество любителей российской словесности торжественно отметило 25-летний юбилей литературной деятельности Писемского.

Январь – Огромный успех постановки «Просвещенного времени» в Малом театре.

Апрель – июнь – Пребывание за границей (Франция, Германия).

Декабрь – Закончена пьеса «Финансовый гений».

1876, январь – «Финансовый гений» поставлен в Малом театре, тогда же пьеса напечатана в «Газете Гатцука».

Октябрь – Закончена первая часть романа «Мещане», начатого еще в 1873 г.

1877, май – декабрь – В еженедельном иллюстрированном журнале «Пчела» печатается роман «Мещане».

1878, ноябрь – Начало работы над романом «Масоны».

1880, январь – октябрь – Публикация романа «Масоны» в еженедельном иллюстрированном журнале «Огонек».

Июнь – Участие в торжествах по случаю открытия в Москве памятника Пушкину.

Ноябрь – Начало предсмертной болезни.

1881, 21 января – Кончина писателя. Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.

Краткая библиография

I. Произведения А.Ф.Писемского

Повести и рассказы, ч. I-III. М., 1853. Изд. М.П.Погодина.

Сочинения, тт. I-III. Спб., 1861. Изд. Ф.Стелловского.

Сочинения, тт. I-XX. Полное издание М.О.Вольф. Спб. – М., 1883-1886.

Полное собрание сочинений, тт. I-XXIV. Спб.-М., М.О.Вольф, 1895-1896.

Полное собрание сочинений, тт. I-VIII. Спб., А.Ф.Маркс, 1910-1911.

Собрание сочинений, тт. I-IX. М., «Правда», 1959.

Собрание сочинений. В 5-ти тт. М., Художественная литература, 1982-1984.

Письма. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1936.

Письма А.Ф.Писемского (1855-1879) И.С.Тургеневу. – В кн.: Литературное наследство, No 73. Из парижского архива И.С.Тургенева, кн. 2. М., Наука, 1964.

II. Литература об А.Ф.Писемском

Алмазов Б.Н. А.Ф.Писемский и его 25-летняя литературная деятельность. – Русский архив, 1875, No 4.

Анненков П.В. Художник и простой человек (Из воспоминаний об А.Ф.Писемском). – В кн.: П.В.Анненков. Литературные воспоминания. – М., 1983.

Венгеров С.А. А.Ф.Писемский (Критико-биографический очерк). – Спб., М.О.Вольф, 1884.

Зелинский В.В. А.Ф.Писемский, его жизнь, литературная деятельность и значение его в истории русской письменности. Спб., 1895.

Иванов И.И. Писемский. Спб., 1898.

Кирпичников А.И. Достоевский и Писемский (опыт сравнительной характеристики). Одесса, 1894.

Кони А.Ф. А.Ф.Писемский. – В кн.: А.Ф.Кони. Собрание сочинений в 8-ми тт. Т. 6. М., 1968.

Лобов Л.П. Славянофильство и его литературные представители (Писемский). – Славянские известия, 1905, No 7.

Писарев Д.И. Стоячая вода. (Литературная критика в 3-х тт. Т. 1. Л., 1981, с. 93-131.)

Писарев Д.И. Писемский, Тургенев и Гончаров. (Там же, с. 132-178.)

Писарев Д.И. Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова. (Там же, с. 179-229.)

Скабичевский А.М. А.Ф.Писемский, его жизнь и литературная деятельность. Спб., 1894.

Чернышевский Н.Г. Очерки из крестьянского быта А.Ф.Писемского. (Литературная критика в 2-х тт. Т. 2. М., 1981, с. 64-77.)

Шелгунов Н.В. Люди сороковых и шестидесятых годов. (Литературная критика. Л., 1974, с. 39-209.)

Еремин М.П. А.Ф.Писемский. М., Знание, 1956.

Козьмин Б.П. Писемский и Герцен (К истории их взаимоотношений). Звенья, т. VIII. М., Культпросветиздат, 1950.

Лотман Л.М. Писемский-романист. – В кн.: История русского романа, ч. 2. М., Наука, 1964.

Пустовойт П.Г. А.Ф.Писемский в истории русского романа. Изд-во Московского университета, 1969.

Рошаль А.А. Писемский и революционная демократия. Баку" 1971.

notes

Примечания

1

Город в северной части Азербайджана.

2

Под именем Николая Силыча Дрозденко писатель изобразил Самойловича.

3

Погодина и Шевырева, как представителей так называемой официальной народности, принято отделять от «классических» славянофилов, выступавших зачастую с позиций отрицания господствовавших в то время социально-экономических порядков. Однако тот факт, что под обложкой «Москвитянина» уживались те и другие, говорит о том, что расхождения в позициях университетских профессоров и «дружины» Хомякова, Аксаковых, Киреевских не были принципиальными. Так понимали это и представители демократическою лагеря.

Это выражение принято было в ту пору для обозначения сторонников тех или иных взглядов, идейных течений (партий).

5

Ночная песня путника (нем.).

6

Помни о смерти (лат.).

7

Парижский портной (франц.).

8

В начале Крымской кампании, пока не стала очевидной неподготовленность России к войне, неспособность высшего политического и военного руководства, в русском обществе господствовали ура-патриотические настроения. Даже те, кто совсем недавно резко критически оценивал режим Николая I, солидаризовались с проправительственной пропагандой, выдвинувшей тезис о новой «Отечественной войне». Какое-то время казалось, что противостояние интеллигенции и правящих верхов исчезло – весь 1854 год прошел под знаком патриотического подъема, объединившего людей всех сословий и взглядов. Никогда прежде не появлялось такого количества сочинений, восхваляющих армию, самодержца, империю. Аполлон Майков слагал на страницах петербургской печати монархические оды, в которых император представал как «вождь и судия, России промыслитель и первый труженик народа своего». Стоит да удивляться тому факту, что оторванный от общественной жизни Писемский, черпавший сведения о настроениях в столице из бравурных статей, тоже принес свою лепту на алтарь победы.

9

Среднего (итал.).

10

Первой, весьма приблизительной прорисовкой образа жадного до комфорта сына века был Шамаев из «Фанфарона», написанного в раменское лето 1854 года.

В.И.Ленин определил характерные черты этой переходной эпохи, когда «классовые антагонизмы буржуазного общества были совершенно еще не развиты, подавленные крепостничеством, когда это последнее порождало солидарный протест и борьбу всей интеллигенции, создавая иллюзию об особом демократизме нашей интеллигенции, об отсутствии глубокой розни между идеями либералов и социалистов». (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 305.)

12

Отмена крепостного права, задуманная правительством как средство успокоения, умиротворения страны, вызвала всеобщее недовольство. Именно поэтому, по определению В.И.Ленина, «1861 год породил 1905». (Полн. собр. соч., т. 20, с. 177.)

13

Редактор-издатель консервативного журнала «Домашняя беседа», в одном из своих выступлений утверждавший, что систематическая порча «обнаженных» статуй в Летнем саду неизвестными лицами вызвана нравственными побуждениями.

Это был Г.З.Елисеев, один из ведущих сотрудников редакции «Искры», входивший также в число наиболее активных и радикально настроенных публицистов некрасовского «Современника».

15

В одном из первых выпусков «Полярной звезды» Герцен писал: «Нам надобно освободиться от нравственного ига Европы, той Европы, на которую до сих пор обращены наши глаза... Нашу особенность, самобытность составляет деревня с своей общинной самозаконностью, с мирскою сходкой, с выборными, с отсутствием личной поземельной собственности, с разделом полей по числу тягол».

16

Современная историческая наука, оценивая тот период, когда наметился переход «Русского вестника» из лагеря либералов на сторону правительства, дает объяснение того, почему виднейшие представители русской литературы еще долго связывали с Катковым представления о прогрессивности и даже оппозиционности:

«Русский вестник» претендовал не иначе как на роль органа «независимой и всесторонней оценки». Непомерное самомнение Каткова дополняло в этих рассуждениях (...) стремление либерала обеспечить себе свободу сползания к охранительству. Под флагом «внепартийности» реформизм в структуре либеральной идеологии все более уравновешивался охранительным началом. «Живая, великая сила» консерватизма объявлялась Катковым самой мудрой и самой надежной хранительницей прогресса. Предметом охранения должны быть не «формы», а «дорогие» начала, которые назывались тут же. «Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в деспотизме диктатуры, – писал Катков, – уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, место его не останется пусто, оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархией самого дурного свойства». (Китаев В.А. От фронды к охранительству (из истории русской либеральной мысли 50-60-х годов XIX века). М., 1972, с. 265-266).

17

Ах, это ужасно (франц.).

18

Сотрудник «Современника» М.А.Антонович в вульгаризаторском духе истолковывал положения эстетики революционных демократов. Это приводило к неверной оценке многих произведений русских писателей, ставших классическими.

19

Кстати сказать, наиболее выдающиеся представители революционной демократии не сочли тургеневскую сатиру пасквилем. По прочтении «Дыма» Писарев писал автору романа: «Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не раздражают. Есть русская пословица: дураков в алтаре бьют. Вы действуете по этой пословице, и я, с своей стороны, ничего не могу возразить против такого образа действий. Я сам глубоко ненавижу всех дураков вообще, и особенно глубоко ненавижу тех дураков, которые прикидываются моими друзьями, единомышленниками и союзниками...»

Единственное исключение – «Русские лгуны».

21

Середина 1860-х годов была для Писемского не только временем тяжелых раздумий, неуверенности в своих силах, вызванной неприятием его прозы со стороны критики и значительной части читателей. Писатель напряженно искал новых путей. Его творческая мысль открывала в русской жизни еще не ведомые драматическому искусству глубины. Пытаясь «прорваться» в новые для него области человеческого бытия, Писемский обращался к опыту мировой культуры. В одном из его писем той поры изложены творческие принципы, важные для понимания как драматургии Писемского, так и его прозаических произведений, созданных в конце жизни:

«...беру на себя смелость изложить некоторые свои соображения касательно русского трагизма: мнение мое по этому поводу, может быть, на первый взгляд покажется несколько странным, но, вдумавшись, вряд ли кто не согласится с ним. Оно состоит в том, что два только народа могут по праву считаться хранителями и проявителями простого древнего трагизма – это русские и англичане, так, по крайней мере, говорит в нас наше народное чувство и понимание. Кому из русских мыслящих людей, если только он не изломан окончательно воспитанием, не покажется всякий французский трагический герой театральным и фразистым, а немецкий чересчур уж думчивым и рефлексивным: органических и активных страстей человеческих, на которых только и зиждется истинная трагедия, в них нет; но представляются они в героях Шекспира, Смолета, Байрона, Шелли (в его знаменитой трагедии „Ченчи“) и наконец в некоторых лицах Диккенса. Наш народ, смело можно сказать, носит в своей душе и в своем организме и в своей истории семена настоящего трагизма, далеко еще в нашей литературе не проявленного и не разработанного; все произведения Княжнина, Сумарокова, Озерова, Катенина, Кукольника и Полевого, несмотря на все их достоинства, по своему времени никак не могут быть названы настоящими трагедиями, и тем более трагедиями русскими. И только в позднейшее время г-н Островский и другие более даровитые писатели пытались выйти на путь русского трагизма. Настоящее мое произведение тоже попытка в этом роде... (Речь идет о пьесе „Самоуправцы“. – С.П.). Главной задачей своей я имел, взяв в основание страсть человека, выразить вместе и самое время».

22

Н. Я. Данилевский (1822-1885) был вскоре после окончания курса в Петербургском университете арестован за участие в кружке Петрашевского. Во время пребывания в Петропавловской крепости он написал по предложению следственной комиссии подробное изложение учения французского социалиста-утописта Фурье. Это небольшое сочинение, «не потерявшее ценности и до сегодняшнего дня», по мнению советских историков, подготовивших к печати документы по делу петрашевцев. В следственном деле Данилевского сохранилось его свидетельство о том, что он «решился посвятить себя изучению естественных наук, к которым с самого детства чувствовал непреодолимую склонность, которая с новою силою возбудилась во мне, когда я начал проходить в лицее немногие преподаваемые в нем естественные науки».

Впоследствии он стал крупнейшим специалистом-ихтиологом, много занимался вопросами сельского хозяйства, написал ряд трудов по естествознанию.

«Россия и Европа» – главное философское сочинение Данилевского – носит явный отпечаток увлечения ученого позитивистскими теориями второй половины XIX века. Его построения носят биологизаторский характер – законы общественного развития уподобляются законам роста живых организмов. Панслависты считали этот трактат одним из основополагающих сочинений своей теории.

Антизападническая позиция Данилевского, во многом согласного со славянофилами, вызвала резкое неприятие его идей в лагере революционных демократов. Высмеивая основной пафос «России и Европы», М.Е.Салтыков-Щедрин писал: «Мнения, что Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой, что западная наука поражена бесплодием, что общественные и политические формы Запада представляют бесконечную цепь лжей, в которой одна ложь исчезает, чтобы дать место другой, – вот мнения, наиболее любезные Митрофану».

23

Улицы, где находились дома родовитых фамилий.

24

Районы, населенные купечеством.